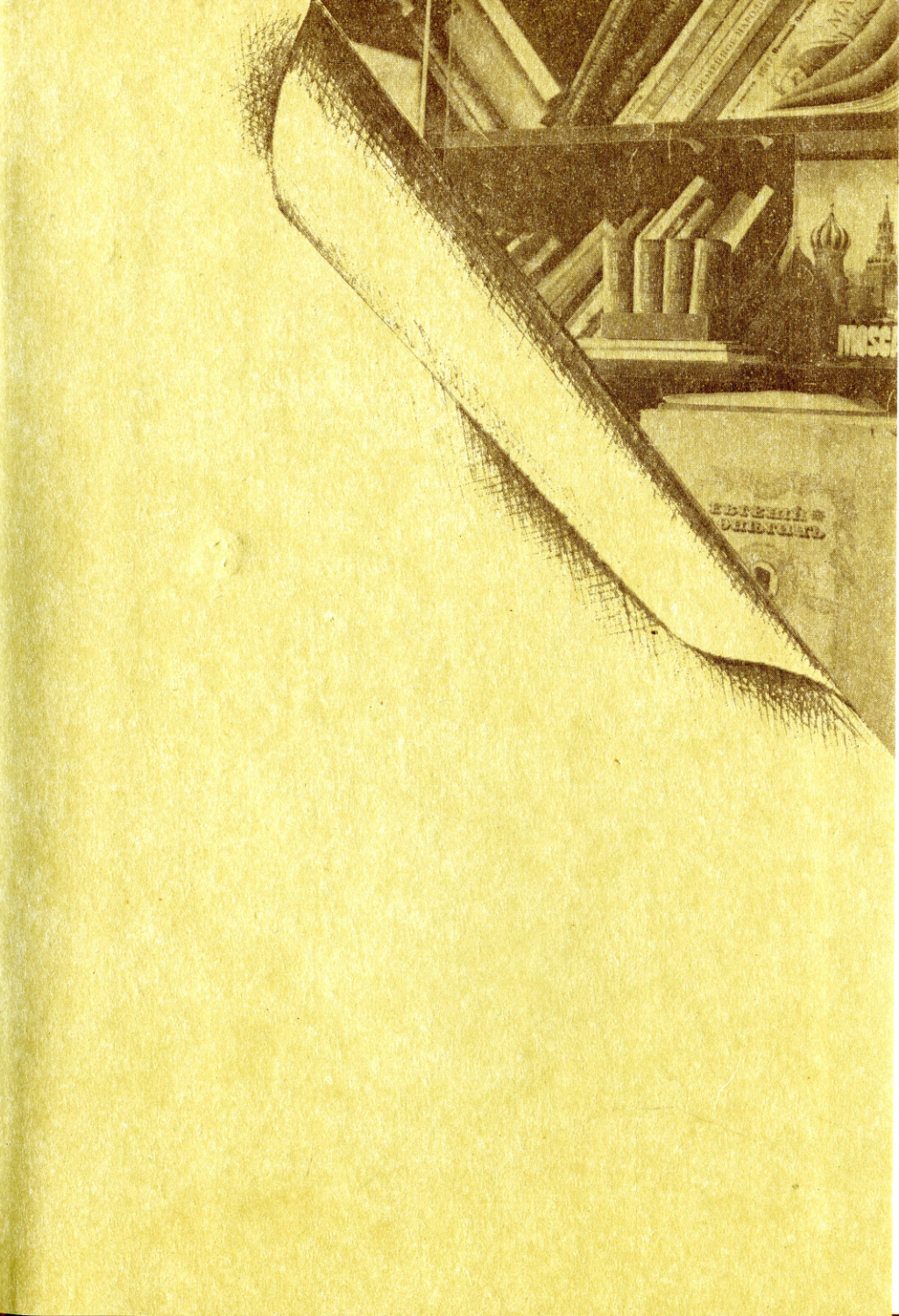




Альманах XIV
библиофила

АБ
XIV

Альманах библиофила



Всесоюзное добровольное общество любителей книги



«Альманах библиофила»
рассказывает о книгах и книжниках
прошлого и настоящего,
о многогранной роли книги
в жизни советского общества,
о наиболее актуальных проблемах
современного движения книголюбов
в нашей стране и за рубежом.
На страницах продолжающегося издания
публикуются выступления
известных советских и зарубежных
писателей, деятелей книги,
выдающихся представителей науки и культуры.
«Альманах библиофила»
рассчитан на широкий круг читателей—
всех, кто интересуется культурным феноменом,
именуемым
Книга

Альманах АБ библиофила

Альманах библиофила

Выпуск 14

Главный редактор
Е. И. ОСЕТРОВ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

И. В. Абашидзе, К. С. Айти, Н. Х. Еселев,
Е. А. Исаев, А. И. Калашников,
Е. П. Кириллук, В. В. Кожинов,
Б. А. Корчагин, В. Я. Лазарев, А. Э. Мильчин,
Ю. П. Некрошюс, Е. Л. Немировский, А. И. Овсянников,
Л. А. Озеров, П. В. Палиевский, В. А. Петрицкий,
В. Г. Утков, И. И. Чхиквишвили

Художник
В. В. Вагин

*Книга
и
журнал*



Валерий Ганичев
ИЗДАНИЕ ДЛЯ НАРОДА

Беседу вел Сергей Плеханов

Документом огромного значения явилось для всех работников печати постановление ЦК КПСС «О творческих связях литературно-художественных журналов с практикой коммунистического строительства». В нем сформулирована основная цель как литературного, так и издательского дела — «...обогащение искусства актуальным жизненным содержанием, создание высокохудожественных произведений современности»; в нем еще раз напоминает о неразрывной связи задач книгоиздательства с борьбой советского народа за построение коммунистического общества. Этот документ был воспринят как боевая программа действия литераторами, журналистами, работниками книжного цеха страны.

Среди многих журналов, сборников, альманахов особой популярностью у читателей пользуется «Роман-газета». Ее главный редактор — Валерий Николаевич Ганичев — известен как писатель, автор книг по истории советской печати. Вот что рассказал В. Н. Ганичев об актуальных задачах, стоящих перед «Роман-газетой», корреспонденту «Альманаха библиофила».

— *Валерий Николаевич, как вы определили бы своеобразие «Роман-газеты», ее место среди прочих периодических изданий?*

— «Роман-газета», так же как и другие наши издания, стремится представить на своих страницах произведения, связанные с практикой коммунистического строительства, способствующие воспитанию высоких нравственных качеств гражданина социалистического отечества. Своеобразие «Роман-газеты» состоит прежде всего в том, что это массовое издание, самое массовое из тех, которые публикуют произведения современной художественной словесности. Оно адресовано миллионам читателей. Отсюда особая, я бы сказал, демократичность «Роман-газеты»; она является подлинно народным чтением.

— *Определив «Роман-газету» как народное чтение, вы как бы предварили следующий мой вопрос: о составе подписчиков, о социальном лице их.*

— Да, это обстоятельство важно учесть при оценке места «Роман-газеты» среди прочих периодических изданий. Примерно половина наших подписчиков — около миллиона двухсот тысяч — живут за Уралом. Сибирь, Дальний Восток, Крайний Север — вот районы особого распространения «Роман-газеты». Что касается социального состава подписчиков, их профессиональной принадлежности, то указать на явное предпочтение «Роман-газеты» какой-то одной группой читателей нелегко. Очень много рабочих, крестьян, военнослужащих. Впрочем, некоторые слои народа представлены особо широко. Прежде всего — сельские учителя и — шире — сельская интеллигенция. Мы в редакции ощущаем это и по количеству писем из деревни, и по их настрою. Большая группа подписчиков — пенсионеры, люди, прошедшие большую трудовую школу; часто они заняты воспитанием внуков, так что вкупе с учителями они составляют своего рода канал педагогического воздействия «Роман-газеты» на молодое поколение. Таким образом, нравственные ценности, отстаиваемые авторами нашего издания, в опосредованном виде находят путь к душе подрастающего гражданина.

— *Итак, современная сельская интеллигенция — крупный социальный заказчик. Вероятно, редакция каким-то образом ориентируется в своей работе на этот слой народа, который вместе с остальным сельским населением призван решать крупнейшие социально-политические задачи, выдвинутые на передний план сегодняшними потребностями страны, задачи, в решении которых сельская интеллигенция принимает самое активное участие.*

— Сельская тема занимает у нас обширное место. Проблемы деревни находят отражение во многих произведениях, опубликованных «Роман-газетой», а также запланированных к изданию. Возьмем для примера недавно изданные вещи. Вышел новый роман Михаила Алексева «Драчуны». Герои прозаика действуют в драматической обстановке первой половины тридцатых годов. Начинается повествование с небольшого, несерьезного вроде столкновения мальчишек, но потом оно переводится в более широкий план деревенской жизни того времени. Жизнь современного села нашла отражение и в другом интересном романе года — «Годы без войны» Анатолия Ананьева. Борьба колхозного крестьянства, деревенских коммунистов за подъем сельского хозяйства в середине шестидесятых годов — вот событийный фон повествования. Среди наших

авторов появилось новое имя — Владимир Личутин. Это также писатель сельской темы. Место действия его книг — русский Север. Казалось бы, трудно после Федора Абрамова, Василия Белова сказать что-то новое о северной деревне, но вот Личутин нашел свою дорогу, открыл новые грани народного характера. Герои его — поморы — рыбаки, землепашцы, сельские интеллигенты. Не прошли мимо этой темы и Чингиз Айтматов в «Буранном полустанке», и Михаил Стельмах в романе «Четыре брода»... Роман «Кологривский волок» ярославского писателя Юрия Бородкина, впервые выступающего на наших страницах, несомненно представит интерес для читателя, интересующегося жизнью современной деревни. Автору удалось создать полнокровный художественный образ положительного героя наших дней, «корневого» рабочего человека, преобразователя и защитника земли. Недаром автор, по представлению «Роман-газеты», получил первую премию СП СССР и ВЦСПС за произведение, отражающее трудовой подвиг сельского труженика.

— Вы охарактеризовали «Роман-газету» как народное чтение. В известном смысле можно, вероятно, говорить о наследовании традиций старой русской книги для народа. В этой связи вспоминаются Толстой с его «Кругом чтения», демократические издатели Сытин, Павленков, Сойкины — еще в дореволюционную пору все они искали пути популяризации лучших произведений писателей-современников.

— Известна сытинская идея «книжки-копейки», то есть такой книжки, которая, так сказать, идет в народ, несет ему правду о мире. В нашей практике эта идея, конечно, преобразовалась — цена у «Роман-газеты», прямо скажем, не копеечная, хотя и достаточно доступная. Но тираж — гигантский, и это обеспечивает широчайшее распространение тех произведений, которые мы печатаем.

Причем роль нашего издания как народной книги обусловлена не только этими, по сути дела, внешними обстоятельствами. Читатель диктует нам известную линию — и его жанровые пристрастия, предпочтение тех или иных тем определяет лицо «Роман-газеты». Например, в последнее время все заметнее становится тяга людей к историческому роману. При определении круга тем «Роман-газеты» такой интерес не был предусмотрен, и произведения исторического жанра в него не включались. Теперь мы пошли навстречу пожеланиям, высказывавшимся во множестве писем: издать роман-эссе Владимира Чивилихина «Память», посвященный историческим судьбам нашей Родины.

— Подъем исторического романа в последние десятилетия, видимо, связан с желанием народа познать свои корни,

духовные истоки нашей культуры. Каждому поколению свойственны поиски ответа на вопрос: «Откуда мы?» Вот чем, пожалуй, объясняется всеобщий интерес к романам молодых прозаиков, посвятивших интересные произведения эпохе Куликовской битвы. Не думает ли редакция расширить издание этой литературы, которая, по сути дела, уже достигла уровня самых значительных книг нашей сегодняшней художественной словесности?

— Интересы читателя всегда учитывались редакцией. Вот и теперь на повестку дня поставлен вопрос о расширении жанровых рамок «Роман-газеты» за счет включения в них наиболее значительных книг исторического жанра. Роман Чивилихина «Память» можно посему рассматривать как первую ласточку.

Вообще историческая тема в качестве дополнительного фона нередко присутствует во многих романах, посвященных сегодняшнему дню нашей страны. Особенно большое место уделяется истории Великой Отечественной войны, революции. Собственно, историко-революционный роман всегда стоял в центре внимания читателей «Роман-газеты», и нынешнее «углубление» в прошлое является естественным продолжением давней традиции. Недавно в одном номере опубликованы «Зеленая брама» Евгения Долматовского и «Ожоги сердца» Ивана Падерина. Первая повесть о героическом сопротивлении врагу советских воинов, попавших в окружение в 1941 году, вторая посвящена памяти героев Сталинграда. Становлению революционной советской дипломатии посвящен роман Саввы Дангулова «Заутреня в Рапалло». В портфеле редакции имеется еще ряд произведений на историко-революционную тему.

Впрочем, не только за счет сочинений исторического содержания происходит расширение жанровых рамок нашего издания. Всякое крупное, интересное, самобытное явление в сегодняшней литературе становится предметом рассмотрения редколлегии...

— Не собирается ли «Роман-газета» рассмотреть возможность издания таких книг, как беллетризованные биографии, выходящие в серии «Жизнь замечательных людей»? Они становятся в последнее время практически недоступными по тиражам, а спрос на них гигантский. Говорят, одних только коллекционеров серии «ЖЗЛ» насчитывается около 30 тысяч. Но главное — очень высок художественный уровень жизнеописаний, появившихся в течение последних десяти лет. Крупнейшие деятели отечественной истории и культуры, ставшие героями этих книг, всегда вызывали широчайший интерес в народе...

— Говорить об этом пока рано — редакция не рассматривала возможность издания биографических романов. Хотя, согласен с вами, лучшие книги серии «ЖЗЛ» стоят на уровне наиболее совершенных образцов современной художественной литературы. Наши возможности серьезно ограничены хотя бы количеством номеров «Роман-газеты». Но в принципе, видимо, нужно подумать и об издании художественных биографий — тем более что первый опыт у нас уже есть: в прошлом году мы выпустили книгу Дмитрия Жукова «Владимир Иванович», посвященную личности выдающегося ученого — собирателя памятников древнерусской культуры.

— *Ось нашей беседы — мысль о том, что главное отличает «Роман-газету» от всех аналогичных изданий. Это — ее небывалая массовость. В этой связи невольно приходит на ум часто поминаемый в печати термин «массовая культура». Применяется это понятие по отношению к определенному кругу явлений духовной жизни современного Запада. Аудитория произведений, появившихся в контексте «массовой культуры», очень обширна, да и социальный состав ее весьма демократичен. Нельзя ли провести параллель (хотя бы и достаточно условную) между «Роман-газетой» и западными массовыми изданиями? В чем сходство, в чем различие? Можно ли в каком-то плане сближать эти понятия: «народная книга» и «массовая культура»? Потребитель-то ведь и там и здесь — широкая масса...*

— Я думаю, речь идет о вещах несопоставимых. Массовость «Роман-газеты» обеспечивается тщательным качественным отбором, в программу издания попадают произведения, уже апробированные в журнальных и книжных публикациях, высоко оцененные и критикой и читателями. Сам состав нашей редакционной коллегии служит известной гарантией высоты чисто художественных требований, предъявляемых к нашим авторам. Достаточно сказать, что в редколлегии «Роман-газеты» представлены виднейшие наши прозаики и критики: Юрий Бондарев, Сергей Залыгин, Даниил Гранин, Олесь Гончар, Феликс Кузнецов, Александр Овчаренко, Петр Проскурин...

Таким образом, нужно говорить не об аналогиях — их просто нет, — а о коренных различиях между народной книгой и массовой культурой. И дело даже не только в качественном уровне наших публикаций и массовой печатной продукции оборотистых издательских дельцов буржуазного Запада. Наши писатели стремятся приобщить читателя к высочайшим духовным ценностям, рожденным в ходе тысячелетней истории народа, к его трудовым, ратным традициям, нравственным

устоям. А массовая культура в миллионах экземпляров тиражирует образы «антигероев», олицетворяющих представления о жизненном успехе, сложившиеся в душном мирке торгашей и дельцов. Не самопожертвование, не преданность высоким идеалам отличают излюбленных персонажей такой, с позволения сказать, литературы, а себялюбие,—внешний лоск, презрительно-ироническое отношение к национальным идеалам, жадность к деньгам, внешним знакам преуспевания.

Надо сказать, что роль такого чтива не так уж невинна — его издают не ради того, чтобы поразвлечь современное западное мещанство. Те, кто стоит на вершине социальной пирамиды в странах капитала — банкиры, биржевые спекулянты, купленные ими политики,—все они заинтересованы в том, чтобы у читателя как бы «отшибло память», чтобы он забыл о прошлом, не думал о будущем, а жил одним днем. Манипуляторам общественным сознанием важно добиться, чтобы люди потеряли представление о социальных реальностях, об исторической перспективе, а значит, и о своем месте в историческом движении человечества к социальной справедливости. Оберегать власть слугителей золотого тельца — вот основная задача массовой культуры.

— *«Роман-газета», как мне представляется, ориентируется на добротного реалистического слога прозу. Вероятно, это является отражением действительного господства реалистического стиля в литературе? Но может быть, у редакции есть планы публикации произведений спорных, так называемой экспериментальной прозы?*

— Мы действительно ориентируемся на роман в его классической форме, на произведения, отличающиеся верностью жизненной правде. Но при этом руководствуемся не только собственным вкусом. Закон для нас — мнение широкого читателя. А он предпочитает как раз традиционную романную форму, ждет от писателя доверительного разговора о важнейших проблемах действительности, о тех ценностях, которые определяют жизнь общества. Загадки, ребусы, шарады он привык разгадывать на последней странице иллюстрированных журналов, а не в прозаических произведениях. Сказанное не означает, однако, что редакция принципиально против любых новаций. Нет, мы с удовольствием напечатает и произведения так называемой экспериментальной прозы — в том случае, если они получат признание нашей критики, широких читательских масс. Но пока, как мне кажется, говорить об этом рано — я, признаться, ничего не слышал о значительных достижениях этой самой прозы...

— *Сейчас много говорится и пишется о молодых лите-*

раторах, и «Роман-газета» посвятила отдельные свои выпуски творчеству молодых прозаиков. Есть ли у редакции намерение и в дальнейшем знакомить читателей с книгами писателей, еще не успевших приобрести широкую известность?..

— Мы не ставим своей целью печатать молодых только потому, что они молодые. Не секрет, что иные издатели идут на это только из боязни упреков: вы-де не даете дорогу начинающим. «Роман-газета» видит главную задачу в том, чтобы выпускать наиболее совершенные, содержательные книги, независимо от возраста их авторов. Если молодой писатель напишет что-то действительно интересное, общественно значительное, мы с удовольствием напечатает его. Скажем, упомянутый выше Личутин принадлежит к тому поколению, которое пришло в литературу в последнее десятилетие. Юрий Скоп, роман которого «Техника безопасности» вышел у нас в прошлом году, также стал широко известен совсем недавно. Среди молодых писателей, которых печатает «Роман-газета», — азербайджанский прозаик Сабир Азри, выступающий с повестью «Первый толчок»...

— Итак, главный критерий, которым руководствуется редакция при отборе произведений, — литературное мастерство автора, значительность созданных им образов, тех идей, которые развиваются в романе. Если учесть при этом, что ваше издание адресовано широкому массам, то можно говорить, вероятно, и о том, что «Роман-газета» при всем ее уважении к читательским запросам не стремится подлаживаться ко вкусам какого-то среднестатистического потребителя печатной продукции.

— Главное для нас то, в какой мере данное произведение способствует решению задач коммунистического строительства, помогает высокой нравственности, воспитывает подлинного борца за передовые идеалы.

Если же быть совсем точным в оценках, то надо сказать, что процесс взаимодействия периодического издания и его подписчиков — двусторонний. При отборе авторов, как я сказал, учитываются пожелания читателей, но в то же время и редакционная коллегия, обладающая, так сказать, коллективным вкусом, стремится сделать достоянием массы произведения, выражающие наши представления о художественном, идейном совершенстве. Ибо мы никогда не забываем о главной своей задаче — дать народу лучшие книги писателей-современников, те книги, по которым мы измеряем высоту нашей социалистической культуры.

ПАМЯТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Беседу вел Сергей Бычков

Владимир Алексеевич Солоухин работает в литературе почти тридцать лет. Повести «Владимирские проселки», «Капля росы», «Черные доски», роман «Мать и мачеха», стихи и публицистика принесли ему известность не только в России, но и за рубежом. «Письма из Русского музея» составили писателю репутацию защитника памятников старины, человека, умеющего ценить народное богатство. В своей публицистике он часто размышляет о путях русской культуры, ее значении, затрагивает вопросы и нашего времени. В нашей беседе Владимир Алексеевич рассказал о некоторых особенностях своего писательского труда.

— По-видимому, с детских лет вы, Владимир Алексеевич, были окружены атмосферой подлинной русской культуры. Мир народной сказки, русской песни — все это знакомо вам, видимо, с детства?

— Сразу замечу, что своей Арины Родионовны у меня не было. Мать, Степанида Ивановна, знала наизусть много стихов Некрасова, Никитина, А. К. Толстого. Вспоминаю зиму тридцатого года, когда сестра Екатерина после падения с лошади лежала, не вставая, и читала вслух Лермонтова, Пушкина, Гоголя. Мне тогда было четыре года. Я внимательно слушал. В ту же зиму выучился читать сам.

— Как повлияла на вас русская литература?

— Трудно однозначно ответить на этот вопрос. Прежде всего скажу о формировании вкуса. Вкус — это таинственное, неуловимое свойство. Читаешь кого-нибудь из литераторов — и... что-то не то. Ощутимо чего-то недостает, хотя вроде бы все реалистично. Обнаруживается, что недостает художнику вкуса. Тот перебарщивает — вязнет в описаниях, они затеяют основное развитие сюжета. Другой худосочен — голые схемы, читать неинтересно. Третий пишет до того натужно, что и читать трудно, словно целину пашешь. Четвертый возомнил,

что ему незачем трудиться над текстом — читаешь две-три страницы и закрываешь книгу.

Думаю, что роль хорошей книги в детстве еще недостаточно изучена. Если говорить обо мне, то я благодарен русской классике — именно она привила любовь к «униженным и оскорбленным», научила трезво смотреть на жизнь. Ей я обязан той борьбе за культурные ценности, которую веду не один год против верхоглядства и воинствующего невежества.

— *Наряду с книгой на ваше формирование влиял и окружающий мир?*

— Ни один человек не рождается с мыслью стать писателем... В пору детства он не думает ни о каких профессиях и призваниях. Разве что — в играх, когда идет первоначальное накопление материала, который, неся печать непосредственности, ложится потом в основу ранних книг, отчего столь часто получаются они яркими и обаятельными. Первые впечатления обнаруживаются и в других книгах писателя. Бывает, что, став уже мастером, он так и не создает ничего, что могло бы сравниться с первой его книгой.

— *Владимир Алексеевич, если я правильно вас понял — книга должна быть мудрым воспитателем, старшим другом?*

— Безусловно. Все накопленное нашими предками, весь этот бесценный опыт вложен в книгу. Книга становится памятью человечества. И не только памятью. Герои литературных произведений — существа вымышленные, но они в нашей жизни на правах реально существовавших личностей. Вы замечали, что часто, стараясь кратко охарактеризовать человека, мы называем его Онегиным или Хлестаковым. И собеседник, достаточно сведущий в литературе, понимает нас с полуслова.

Литература обогащает нашу жизнь живыми типами. История сохраняет факты, события, даты. Все это доходит до нас, если можно так выразиться, в «засушенном состоянии». Тургенев, Толстой, Достоевский, Лесков дали бессмертные живым типам современников. С ними я сроднился.

— *Чем обьяснить, что одни литературные произведения умирают, а другие живут и по сей день?*

— Ученые долго не догадывались о существовании витаминов. Неуловимые таинственные вещества. Точно так же я вначале не ведал о «витаминах», благодаря которым книги обретают жизнь. Наконец обнаружил — главным «витамином» была и остается Любовь! Любовь диктует слова! Если вы любите — будет взволнован ваш читатель. Не говорите ему высоких слов, не кричите о своей любви. Он прочтет о ней меж

строк. Она будет как благоуханный аромат цветка, который нельзя ни увидеть, ни потрогать. На Востоке есть мудрость, гласящая: «Имеющий мускус в кармане не кричит об этом — запах мускуса говорит за него».

— Да, но как художник сможет воплотить свое видение мира?

— Поясню примером: великий русский художник Суриков мог бы написать несколько десятков портретов, типов старой Москвы, множество церквушек и теремов, но он пошел иным путем — он добился фокуса. Он создал «Боярыню Морозову». Каждый персонаж картины показан в отношении к протесту боярыни. Все связано с ней нерасторжимой внутренней связью. Безусловно, гораздо интереснее увидеть московские типы в таком положении, нежели просто галерею портретов, как бы велика она ни была.

Очень важно, чтобы художник владел законами мастерства. В наши дни это правило, к сожалению, часто забывается. Как часто встречаются стихотворные и прозаические опусы, доказывающие, что их авторы не подозревают о необходимости долгих лет учения.

У искусства свои законы. Они подмечены давно. «Поэтическое искусство» Буало, «Лаокоон» Лессинга, статьи В. Белинского, И. Киреевского, А. Григорьева, братьев Аксаковых — там многое блистательно описано. Деятнадцатый век в России славен именами. Кое-чему могут научить Надеждин и другие. Нельзя безнаказанно пренебрегать изучением нашего прошлого. Мы часто похожи на тех людей, которые жаждут и голодают, забыв о том, что их сундуки доверху набиты чистейшим золотом.

Хочу подробнее рассказать о том, как создавалась повесть «Владимирские проселки». Иногда считают, что, странствуя пешком по владимирской земле, я шел на поводу у путешествия. Это не так. Одновременно увидел я, как над старым липовым парком вьется стая грачей и то, что в парке четыре свежих пня; мне рассказали, что над селом утром пролетел самолет и что в селе утром же в навозной жиже утонула свинья; в городе разрушили фабричную трубу и храм шестнадцатого века. Вот шесть разнообразных фактов. Из каждой пары можно выбрать. Естественно, не все они вошли в повесть.

Отправляясь в поход, я имел более или менее четкую конструкцию книги. Например, знал, что, рассказывая о владимирской земле, нельзя обойти ее замечательные древности, памятники русской архитектуры. Я заранее решил, что раскрою эту тему в Юрьеве-Польском и Суздале.

В мой план входил замысел показать изменения владимирской природы, когда-то столь прекрасной. Существует важная проблема отравления рек. Как их очистить и облагородить? Я рассчитывал изучить реки Пекшу и Колокшу.

Все соприкасается—чистота рек и высокая поэзия, гражданственное служение художника и твердая рука мастера. На Руси писатель испокон веков был и учителем, и пророком, и гражданином. Как же лучше зажечь сердца читателей?

Писатель должен учитывать все и быть всем. Материал, которым он оперирует,—беспределен, это как бы солнце. Его много, оно везде. Оно обладает различными качествами. Однако, чтобы резче проявить остальные, чтобы показать, что солнце—это огонь, мы должны собрать рассеянные лучи в пучок при помощи линзы. Образуется маленькая, ослепительно яркая точка, от которой тотчас начинает куриться дымок.

Я могу рассказывать вам о солнце очень много. Мы увидим его поднимающимся из-за леса, отраженным в озерной воде, дробящимся в быстром ручье. Но если обозначу, что солнце это огонь, вы вправе не поверить: от его лучей ничто не загорается—ни солома, ни трава, ни сухие деревья, ни тесовые крыши. Нет, солнечные лучи должны быть соответствующим способом собраны в узкий пучок, в одну точку. Только тогда возникнет пламя.

— *Как возникает у вас замысел книги?*

— Известно: если в насыщенный соляной раствор опустить кристаллик соли, начнется бурная кристаллизация. Такими кристалликами для писателя служат какой-нибудь новый факт, свежее наблюдение, высказанная кем-то яркая мысль. Только вчера казалось, что ничего не почерпнуть из глубин души и памяти, а сегодня—широкие горизонты, обилие материала. Словно наткнулся на новый пласт, на нетронутую золотую жилу. Но пласт был всегда. А сегодня такой процесс начался, потому что какой-нибудь толчок извне сыграл роль катализатора. Можно представить себе писателя, едущего в командировку за дополнительными сведениями для романа, но трудно вообразить, чтобы писатель, не знающий, о чем бы написать, поехал в командировку в надежде, не попадет ли по дороге замысел романа или повести.

— *Есть несколько точек зрения на природу таланта. Одни уверяют, что талант—досужая выдумка, что есть лишь каждодневный тяжелый труд. Другие, наоборот, считают, что труд дело второстепенное, главное—талант, искра божия. Что скажете вы по этому поводу, Владимир Алексеевич?*

— Никто не знает, что такое талант. Можно сказать, что

это — особенная способность к творчеству. Но почему она образовалась у деревенского мальчика Сережи Есенина? Откуда она взялась именно у него? Неизвестно. За эту неизвестность обычно хватаются тщетно пытающиеся заниматься поэзией, чьи стихи наводняют отделы писем и консультации журналов и газет.

Я не знаю, что это за дар и откуда он, но знаю, что литературный талант — такая же особенность человека, как, например, голосовые связки у Шаляпина, Козловского, да и у любого другого певца. Без голоса петь не будешь. Человеку дан голос. Он с ним родился. Почему с голосом родился именно Шаляпин, а не соседский мальчишка — об этом не стоит задумываться. Есть данность — голос. Талант. Из этого нужно исходить. И еще: никакой талант не дает человеку права на освобождение от систематического самопринудительного труда.

— *Какова же тогда роль вдохновения?*

— Вдохновение еще более загадочно, чем талант. Можно определить его, как высшую степень сосредоточенности всех духовных сил. Работа мозга ускоряется до лихорадочности. Вместо десяти понятий в минуту в мозгу вспыхивают тысячи, откуда-то возникают и фиксируются слова и сочетания слов, о наличии которых и нельзя было подозревать. Вспыхнувшая мысль освещает другие, сорвавшийся камень обрушивает лавину. В конце концов на бумаге остается то, что потом, в спокойном состоянии, удивляет самого поэта. Но это порыв. Он не может длиться годами.

Трудно представить, чтобы «Война и мир» или «Мастер и Маргарита» были написаны на одном порыве. Именно годы нужны для создания «Евгения Онегина», «Братьев Карамазовых», «Войны и мира».

Видимо, вдохновение — это внутреннее озарение, когда художник видит еще не созданное произведение готовым, каким оно должно быть, чтобы потом он мог следовать образцу. Многие работают только ночью, иные с утра. Толстой говорил, что, читая книгу, можно определить, по ночам или по утрам она писалась. Джек Лондон работал только ночью. Диккенс только днем. Сам Лев Толстой работал только в утренние часы. Писатель-профессионал должен садиться за рабочий стол каждый день, предпочтительно в одно и то же время. Бывает, встанешь не в настроении или в нездоровьи. Нехотя, преодолевая инерцию, перебарывая себя, садишься за стол. И что же? Вырабатывается нечто вроде условного рефлекса. Сел за стол, а чистый лист как бы просит, чтоб на нем писали; незаметно для себя втягиваешься в работу.

Поэту, писателю для роста нужна культурная питательная

среда. Человек никогда не сможет научиться хорошо играть в шахматы, если не будет играть с шахматистами сильнее себя, а напротив—будет играть с приготовишками. Разве мог бы Есенин стать Есениным, если бы всю жизнь он прожил в деревне или в ближайшем городке Спас-Клепиках, если бы он не общался с такими людьми, как Блок, Брюсов, Горький, Шалапин, Айседора Дункан? Кстати, Шалапину Горький советовал петь в Москве: «В московском шуме слышнее».

— *Но ведь городской шум, телефонные звонки, нервный городской ритм—все это мешает работать?*

— Жизнь в столице для меня—каникулы. Хождение в редакции, звонки, встречи с друзьями, кино, театр, выставки живописи. Потом, самое большее через месяц, нужно уезжать. В маленький городок типа Коломны (был бы тихий и теплый номерок в гостинице), в Дом творчества, а лучше всего в родное село. Через несколько дней приходит раздумье, потом строчки, а уж потом пойдет работа. Для того чтобы озерная гладь отражала прекрасный мир, она должна быть устоявшейся и невозмущенной. Стоит бросить камушек, как пойдут круги, и вот уже расплылись и раздробились сосны, солнце и облака. Бурная городская жизнь обогащает, но лишает созерцательности. Иной телефонный звонок—это уже не камушек, вызывающий круги, а бетонная глыба, которая взбаламучивает воду до глубины и донного ила.

— *А какой литературный жанр привлекает вас более всего?*

— У всякого литературного произведения существует емкость. Может быть, это не совсем удачное слово. Лучше сказать, что существует бóльшая или мёньшая концентрация мысли и чувства. Концентрация зависит от таланта, ибо встречаются длинные, занудные и пустые романы, так же, как короткие пустые стихотворения. Одним из самых емких литературных жанров является древняя притча, скажем библейская. В одной притче (несколько строк типографского текста) сказано так много, что хватает на многие века для всех народов любых социальных устройств.

Возьмем хотя бы притчу о блудном сыне. Когда блудный сын, прокутив свою долю наследства, возвратился в родительский дом, отец на радостях зарезал теленка и устроил угощение. Другой сын, не блудный, обиделся: «Отец, я каждый день работаю на твоих полях, однако для меня ты никогда не резал теленка, не устраивал пира. А этот лоботряс, бездельник, развратник и мот не успел возвратиться—ему теленка. За что?»

В пересказе уже получилось длиннее. В нескольких стро-

как раскрыты три характера: отца, блудного сына и его брата. Характеры даны во взаимодействии друг с другом. Кроме того — эта притча, как семечко, в котором чудесным образом заключено будущее дерево с листьями, корнями и плодами. Несколько строк — а какое колоссальное обобщение. Но притчу, думается, невозможно сочинить, как невозможно нарочно, задавшись целью, сочинить пословицу или поговорку. Из нынешних литературных жанров самым емким нужно признать стихотворение.

— *Каково ваше отношение к роману?*

— Очень часто мы называем романом произведение, не имеющее никакого права претендовать на этот сложный литературный жанр. Можно назвать дворцом большой и красивый жилой многоквартирный дом. Или здание театра. Но это все же будет дом или театр. Чехов в письме сетовал, что разучились мы-де, писатели-разночинцы, писать настоящие романы. Один из романов, помнится, он называл не то оглоблей, не то шашлыком, в том смысле, что все действие нанизано на один прямолинейный сюжет. В то время как роман — это сложное архитектурное сооружение. Это не башня, не собор, а именно дворец со множеством интерьеров, с воздухом в них, с галереями, анфиладами комнат, зимними садами, чертогами и подвалами, желательны даже с потайными подземными ходами в отдаленный угол сада, к реке, в ближайший овраг.

— *Для создания столь величественного здания необходимо впитать в себя, усвоить опыт всех предшествующих поколений...*

— Если будем отрицать все то, что накоплено и создано нашими предками, то мы никогда не сумеем достичь головокружительной высоты. Мы никогда не сможем обрести крылья, а будем обречены всегда бродить по земле. Процесс усвоения опыта предков — первостепенная задача, стоящая перед художником. Я уже писал, как много дал мне Аксаков. А ведь познакомился я с его творчеством уже в зрелом возрасте. Поэтому мне смешны все те художники, которые начинают свой творческий путь с того, что призывают «сбросить с парохода современности» Пушкина, Толстого, Достоевского. Помилуйте, тогда вы рухнете в опилки и будете обречены всю жизнь рыться в них.

— *Какова на ваш взгляд роль читателя в написании и появлении книг? Насколько тесна связь между читателем и художником?*

— Связь не прямая, но существует. Читатель — человек социальный. От него, как от точки, идут нити в глубину, в

прошлое и в будущее. Читатель — как узелок. Нити натянуты, и натяжение определяет его пространственное положение. У него есть корень в землю и побег в небо. Я, как писатель, ощущаю в себе присутствие «нужности»: пишу для тех, кому мои книги нужны. Кто-то прочитает написанное мной. Это чувство живет внутри. Литература, как игра в теннис,— обязательно нужен партнер, иначе игра теряет смысл. Это ощущение должно всегда сопровождать писателя.

— *Владимир Алексеевич, а каково ваше мнение относительно свободного стиха?*

— Стихотворение — высшая форма организации человеческой речи. Но подчас за видимой организацией скрывается полная расхлябанность, неряшливость мыслей и чувств, если не пустота. В свободном же стихе за видимой раскованностью формы должна постоянно ощущаться железная дисциплина и чувств, и мыслей, и стихотворной речи. Иначе — провал.

Прекрасно писал об этом забытый ныне поэт, потомок декабристов, наш современник, умерший в 1965 году, Никита Муравьев в своем стихотворении «Комментарий»:

Взволнован ум часа на три
 Поэмой Поля Валери.
 Физиология всесильная.
 Все остальное — бред и дым.
 И прав «бессмертный» — червь могильный
 Единый неопровержим.

Не знаю, как насчет вселилия физиологии, я об этом говорил выше, но важно, чтобы свободный стих волновал не три часа. Прелесть настоящего свободного стиха в том, что внутренняя строгость и четкость, внутренняя дисциплина неожиданны, как бы не продиктованы формой, и оттого поразительны. Мастерски написанные стихи волнуют нас всю жизнь. Что касается меня — жажду освободиться от свободного стиха. Но, к сожалению, ничего в искусстве не бывает нарочно, специально, по заданию, хотя бы и по собственному.

— *Как вы относитесь к книге? Как труженник к инструменту? Как библиофил? С какими книгами вы не расстаетесь?*

— Книги для меня скорее инструмент. Всегда очень строго их отбираю. Беру только то, что сейчас нужно или хочется прочесть. В зависимости от того, буду ли возвращаться к той или иной книге, определяется ее судьба. Не могу понять шкафов, в которых книги стоят в два ряда. Как можно пользоваться книгой, стоящей во втором ряду? Из тех авторов, которые постоянно со мной, назову Пушкина, Лермонтова, Блока, Ахматову, Есенина, постоянно перечитываю «Мастера и Маргариту». В список необходимых книг входят словари...

ОДНО ИЗ САМЫХ ГЛУБОКИХ НАСЛАЖДЕНИЙ В ЖИЗНИ...

Беседу вел Владимир Лазарев

В суровом движении мировой истории, во времена ее разрушительных сдвигов и вихрей, обрушивающихся на земную цивилизацию, в эпоху потрясений всегда с особой надеждой и почтением смотрят на людей, сохраняющих непреходящие ценности человеческой культуры. Они не коллекционеры (хотя и коллекционерам — низкий поклон!), они — живые аккумуляторы культурной энергии, хранители ее священного огня. Вспоминается Иван Алексеевич Бунин: «...Лишь слову жизнь дана: из древней тьмы, на мировом погосте, звучат лишь Письмена...»

Таким человеком, хранителем священного огня вечно живой культуры мне всегда представлялся Алексей Федорович Лосев, филолог и философ, крупнейший исследователь и интерпретатор античной эстетики, ученый с мировым именем, сегодня — один из патриархов отечественной научной философской мысли.

Неустанная зрелость его пытливой и острой мысли, всегда с оттенком молодой дерзости, сочетается со столь свойственной ему глубокой сосредоточенностью на предмете исследования. В. Ф. Асмус в своей «Истории античной философии» называл Лосева «одним из лучших во всем мире знатоков платонизма». Е. М. Мелетинский писал, что «научные достижения А. Ф. Лосева очень велики не только в понимании самой мифологии, но и в истории античной культуры в целом». Неоднократно отмечалось, что он создал «целое терминологическое направление в изучении античной культуры». Но и терминологические исследования всегда у него концептуальны, проводятся на уровне научной теории.

Следует отметить и еще одно весьма редкое качество в работе Лосева: широта в постановке вопросов, размах деятельности сочетаются у него с филигранностью конкретных рассуждений, с необыкновенной тонкостью наблюде-



А. Ф. Лосев

ний. Скажем, говоря о поэмах Гомера как результате развития греческого сознания и представлений, как о некоем соединении «культурных напластований» (в этой концепции у него были предшественники), Лосев в XI песне «Одиссеи» определяет «девять разных эпох древнегреческого представления о судьбе души в царстве Аида».

Добавим, что при такой зоркости и скрупулезности научного анализа Алексей Федорович написал столько книг, что они, можно сказать, составили целую библиотеку. В самом деле, многотомная «История античной эстетики». Это капитальное сочинение продолжает выходить: шесть томов издано, седьмой готовится к печати. А сколько отдельно изданных книг, сколько оригинальных и разнообразных работ: «Музыка как предмет логики» (1927), «Философия имени» (1927), «Диалектика числа у Платона» (1928), «Античная музыкальная эстетика» (1961), «Проблема символа и реалистическое искусство» (1976), «Античная философия истории» (1976), «Эстетика Возрождения» (1978), «Исторический смысл эстетического мировоззрения Рихарда Вагнера» (1978) и многие другие. А если вспомнить, что Лосевым написано несколько десятков статей для двухтомника «Мифы народов мира» и более ста статей для пятитомной «Философской энциклопедии» (1957—1970), если вспомнить, что он переводчик Аристотеля, Платона, Секста Эмпирика, Прокла и Николая Кузанского, то мы поймем, что имеем дело с личностью столь необыкновенной по плодотворности, что аналоги ей можно искать лишь во временах русской и мировой истории.

Мне приходилось не раз и по многу часов беседовать с Алексеем Федоровичем у него дома, на старом Арбате. Вот и сейчас мы находимся в комнате, сплошь заставленной книжными шкафами. Кажется, что книги распирают их, и они порой как-то поскрипывают, поскрипывают. Алексей Федорович, седой, светлый, в неизменной профессорской шапочке. И беседа наша о книжной культуре и о его личной библиотеке не начинается с моего вопроса, а является как бы продолжением наших прежних бесед.

— Я никогда не приобретал книгу ради коллекционерства,— говорит Лосев,— хотя книжное коллекционерство, взятое само по себе,— есть занятие весьма высокое, и мне нравится. Я не был библиофилом в классическом смысле. Моя книжная судьба сложилась так, что я принужден был в первую очередь приобретать только такие книги, которые непосредственно нужны для практики моей научной работы. Это, по преимуществу, потому, что моя основная специальность, классическая филология, никогда не была особенно популярна и всегда требовала особых усилий библиографического и библиофильского характера. В первую очередь я приобретал греческих и латинских авторов, их переводы на русский и другие языки, многочисленные комментарии к ним, словари и грамматики, издания русских и иностранных диссертаций, энцик-

лопедии, специальные журналы, греческие и латинские разговорники. Прямое отношение к моим занятиям античностью имели книги по искусству (живопись, скульптура, архитектура, музыка) и науке, составляющие особые отделы в моей библиотеке. Не раз приходится обращаться в повседневной работе к таким любимым мною изданиям, как «Thesaurus Linguae graecae» («Сокровищница греческого языка»), представляющим собою девять громадных фолиантов, или к мифологической энциклопедии Рошера. Поскольку, однако, кроме классической филологии, я кончал университет еще и по философскому отделению, то собирание классических философов тоже было моей всегдашней задачей. Платон, Аристотель, Плотин, Прокл, Николай Кузанский, Декарт, Спиноза, Лейбниц, Бэкон, Локк, Юм, Кант, Фихте, Гегель, Шеллинг, Шопенгауэр; из новых — Коген и Наторп, Кассирер и Гуссерль, Бергсон, Фрейд еще и теперь, после пережитых мною библиотечных катастроф, занимают почетное место в моей библиотеке — либо в виде полных собраний их сочинений на русском и иностранных языках, либо в виде отдельных трактатов. Есть в моем собрании и книги по марксистско-ленинской философии. Спешу, однако, оговориться, что коллекционерство и собирательство для души никогда не было мне чуждо, так что у меня сейчас в библиотеке множество авторов, которых я теперь почти не читаю, но которых люблю.

— *Алексей Федорович, расскажите, пожалуйста, как собиралась библиотека? Остались ли в ней первоначально приобретенные и, разумеется, не случайные книги? Можете ли вы их назвать? Или та, первоначальная коллекция бесследно исчезла, и ваше нынешнее собрание не имеет с ней, как говорится, никакого «кровного родства»? Ветры времени и библиотечные полки продувают.*

— Этот глубокий и горячий почитатель книги, Лосев, собиравший ее в течение целой жизни и тративший на нее последние средства, пережил за свою жизнь по крайней мере три библиотечных катастрофы. В самом начале революции я безвыездно жил в Москве и сдавал магистерские экзамены, т. е. то, что сейчас называется кандидатским минимумом. Я родом с юга, но, получив работу в Москве, временно оставил там, на юге, библиотеку, собранную в гимназические годы, и свой гимназический архив с ученическими сочинениями, докладами, со всей своей перепиской с тогдашними друзьями, со всеми дневниками и всякого рода интимными записями. В водовороте гражданской войны погиб мой родной дом, погибли родные и целиком моя библиотека. А в ней уже были главнейшие классики мировой литературы, уже были журна-

лы для юношества с их ценнейшими приложениями, уже был весь 8-томный (1-е изд.) Вл. Соловьев, полученный мною в знак отличия при переходе в последний класс гимназии. Эта потеря была для меня так тяжела, что только в 1936 году я собрался с духом и посетил родные места, и это не принесло мне ничего, кроме слез. Замечу, что в моей гимназической библиотеке было уже не менее полутора тысяч книг.

В 1930 году часть моей тогдашней библиотеки (а в ней к тому времени уже было несколько тысяч книг) и архива оказались разворованными. О том, какие книги безвозвратно исчезли, еще и теперь, через 50 лет, невозможно вспоминать с надлежащим спокойствием духа.

В 1941 году я находился на подмосковной даче. Мой хороший знакомый, приехав из Москвы, сообщил мне, что случилось несчастье. Мои близкие в ту же минуту отправились в Москву и увидели, что бомба попала в наш дом. Вся моя библиотека, в которой насчитывалось не менее 10 тысяч книг, взлетела на воздух и оказалась погребенной в гигантской воронке. Мои близкие и друзья не пускали меня в Москву, а сами в течение всего августа выкапывали остатки книг из-под земли.

Целиком погибло не менее 5 тысяч книг. Из остальных 5 тысяч большинство оказалось в земле, в известке, в разодранном, полуобгоревшем виде. Мои друзья, среди которых я благоговейно вспоминаю академика Л. Н. Яснопольского, профессора Н. П. Анцыферова, его супругу Софью Александровну, литературоведа А. И. Кондратьева, художника Н. Н. Соболева, откапывали одну книгу за другой, сушили в сарае на веревках, очищали от известки и грязи, проглаживали утюгами страницы. В результате этих героических усилий из 10 тысяч моей тогдашней библиотеки оказались более или менее спасенными около полутора тысяч книг. Некоторые из обгоревших, разбитых и покрытых известью книг, которыми трудно пользоваться, я сохраняю до сих пор, так как не в силах с ними расстаться, даже в этом их ужасном виде. А иные из них до сих пор мне служат, так как возместить их невозможно. Однако я считаю, что историческая судьба в конце концов оказалась ко мне милостивой.

Неустанно собирая книги, тратя на них огромные средства, выписывая многие из-за границы, я все же в значительной мере восстановил свою библиотеку и в некоторых отношениях даже приумножил ее.

— *Ваша работа, Алексей Федорович, известно, многогранна... Скажите, пожалуйста, есть ли у вас любимые книги, не специального характера, те, с которыми вам и*

сейчас сладостно проводить наедине часы досуга, книги сокровенные, необходимые для души...

— Любимых книг, не относящихся к моей специальности, у меня очень много. Я не мыслю своей библиотеки без Данте, Шекспира, Шиллера, Гете, романтиков, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, русских лириков XIX века и многих символистов. Это — не моя научная специальность, но это моя интимная любовь.

— Платон, как мне представляется, проходит через всю вашу творческую жизнь. Сколь разнообразно представлен он в вашей библиотеке?

— Платон для меня, конечно, высочайший мировой гений, и занимался я им больше всего. Но при всей восторженности моего отношения, я всегда относился к нему строго критически и, в частности, строго исторически. Платон представлен у меня всеми лучшими иностранными изданиями и решительно всеми его русскими переводами, начиная, например, с перевода XVIII века («Творения велемудрого Платона». Пер. Сидоровского. Спб., 1780—1785). Этих изданий у меня так много, что сразу их даже трудно перечислить.

— В этом случае можно уже говорить о вас, как о коллекционере; разумеется, это связано с глубоким вашим исследовательским интересом. Но, судя по всему, ваша «платоника» — уникальна и вряд ли имеет какой-нибудь аналог у нас в отечестве. Но вот, скажите, Алексей Федорович, хватало ли вам книг собственной библиотеки при создании такого фундаментального труда, как «История античной эстетики»?

— Для написания «Истории античной эстетики» (шесть томов издано, готовится седьмой) не только не хватало книг собственной библиотеки, но, можно сказать, что в течение десятков лет я прилагал титанические усилия по розыску, выписке, приобретению труднообозримого множества книг и статей.

— Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о первых ваших изданиях? На некоторых из них мы читаем «издание автора». Помогли ли в дальнейшем эти первые книги при создании главного труда вашей жизни?

— Первые мои большие книги, выпущенные в 20-е годы, значатся как «издание автора». Они были обычными советскими изданиями, проходившими обычный издательский путь подготовки. Однако ввиду слишком большой их специфики, основанной на труднейших греческих и латинских текстах, и отсутствия в то время достаточно квалифицированных редакторов в столь узкой области, возложили и всю ответственность

за научное содержание книг исключительно на меня. Отсюда и происхождение пометки «издание автора». Мои работы 20-х годов по своей тематике резко отличаются от возникшей впоследствии «Истории античной эстетики». Что же касается филологических и историко-философских методов исследования, то этот труд мало чем отличается от моих ранних работ.

— *Была ли «История античной эстетики» главным, заветным замыслом вашей жизни или жизнь скорректировала ваши планы? Помнится, вы несколько раз рассказывали о своей задумке написать историю развития духа?*

— Моя «История...» возникла естественным путем — исключительно потому, что невозможно объять необъятное. Конечно, в первую очередь меня интересовала история духа. А в области античности интересовало решительно все — литература и язык, философия и мифология, наука (в том числе математика и астрономия) и даже музыка (я имею музыкальное образование). Чтобы остаться на позициях точной науки, волей-неволей пришлось сузить все эти интересы и сосредоточиться на античной эстетике, т. е. на такой античной дисциплине, которая и шире отдельных проблем античности и достаточно ярко представлена для специального исследования. В конечном счете все мои исследования разных сторон античности приводят меня в настоящее время к проблемам истории античной культуры вообще, формулировкой которой я сейчас по преимуществу и занимаюсь.

— *Формулирование подлинных ценностей и сложных явлений требует немалых усилий, и все значительное и глубокое пытается как бы ускользнуть от формулировок...*

— Платона, например, я уже давно научился формулировать очень просто. Ведь всякому понятно, что вода замерзает и кипит, а идея воды не замерзает и не кипит. В этом основное содержание платонизма. Что же касается абсолютной истины, то и тут у меня дело обстоит замечательно просто. Если мир действительно существует, то он есть нечто, и все его части сливаются в одно нераздельное целое. Все существующее, взятое в целом и в своей предельной обобщенности, и есть для меня абсолют. Об объективной абсолютной истине Ленин пишет, что «безусловно (подчеркнуто Лениным.— А. Л.) существование этой истины, безусловно то, что мы приближаемся к ней»*. Абсолютную истину отрицают только субъективные идеалисты.

— *Перед вашим мысленным взором прошли жизни многих выдающихся философов прошлого. До нас в той или иной*

* Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 138.

мере дошли черты характера и поступки, скажем, Сократа... Есть основания считать эти сведения подлинными (основываясь на работах Платона) или с оттенком подлинности (основываясь на трактате Диогена Лаэртского). Скажите, пожалуйста, в связи с этим — бесстрашная искренность и элемент трусости в характере философа играют ли роль в самих творческих свершениях, так сказать, влияют ли на саму жизнь идей? Другими словами, — каково значение этих понятий для философа как творческой личности?

— На это я вам должен сказать, что я объят страхом только в отношении тех вещей, которых я не продумал. Но если я их продумал, то при их разъяснении и обнародовании я уже ничего не боюсь.

— Кто из философов нового времени, на ваш взгляд, наиболее полно и последовательно воплотил в подоснове своего творчества античный элемент. Имею в виду не древние сюжеты, а самые корневые ощущения и осмысления античности?

— Гегель.

— Полагаю, читателям было бы интересно узнать о вашем отношении к русским философам и эстетикам...

— Русская философия всегда была мне чрезвычайно близка. Меня не удовлетворяло в ней только то, что она при всем ее стремлении ставить коренные вопросы бытия, избегала абстрактно-понятийных исследований и мало интересовалась логической системой с развитым категориальным аппаратом. В этом отношении Вл. Соловьев, конечно, резко отличался от всех философов истории русской философии, преодолев вышеупомянутый ее недостаток. С другой стороны, Вл. Соловьев был всегда мне близок своим здоровым и реальным чувством жизни, заставившим его находить в сочинениях Чернышевского «первый шаг к положительной эстетике».

Тютчев был мне всегда близок своими космогоническими и космологическими настроениями, которые переживались им к тому же чрезвычайно интимно. Вл. Одоевского я тоже всегда любил за его роскошный романтизм, изысканную фантастику, проникновенную философию музыки и здоровые национальные чувства, доходившие у него до признания величайшей исторической роли России.

В Герцене я ценю его понимание диалектики, его острый глаз, проникающий в исторический процесс, и его умение применять диалектику именно в философии истории.

— Ваше отношение к ясности выражения достаточно известно. Это весьма актуально сейчас, как, впрочем, было актуально всегда, в связи с терминологической путаницей,

встречающейся во множестве исследований. Весьма поучительна с точки зрения глубокой ясности и определенности понятий и формулировок ваша статья «Терминологическая многозначность в существующих теориях знака и символа», опубликованная в сборнике «Языковая практика и теория языка» (изд-во МГУ, 1978). Ясность формулировок, мне кажется, одна из особенностей вашего творчества, так ли это?

— Вы правильно поступили, Владимир Яковлевич, что задали мне вопрос о ясности выражения мысли. Поскольку я всю жизнь сижу за очень трудными и мало кому доступными текстами античных авторов (например, неоплатоников поздней античности), у меня всегда был соблазн передавать в буквальной форме то, что я находил в источниках. Однако при буквальной передаче почти всегда возникает неясность ввиду коренного расхождения современных нам образов мысли и античных. Буквальная передача в данном случае является самой неточной. Я не могу сказать, что в своих анализах античной эстетики повсюду достиг полной ясности мысли. Это очень трудно делается и часто требует огромных усилий. К тому же я всегда много занимался историей термина. Ей посвящены у меня сотни страниц. Длительная работа над текстами привела меня к необходимости прежде всего прибегать к терминологической ясности.

— *Полагаю, что ясность выражения один из необходимых элементов просветительской деятельности.*

— То, что вы называете просветительством, есть, по-видимому, просто популяризация.

— *Я тут с вами не согласен. Лев Николаевич Толстой в письме крестьянскому писателю Сергею Терентьевичу Семёнову заметил, что существуют просветители и «омрачители». Просветительство куда более значительное явление, чем популяризация.*

— По этому поводу я должен сказать, что с молодых лет чувствовал в себе педагога и даже оратора. Достигать не только ясности для себя, но и ясности излагаемого предмета для других — это всегда было частью моей жизни. Поэтому самого трудного и самого отвлеченного мыслителя Платона я, после всех историко-терминологических и филологических изысков, стараюсь излагать доступно и отчасти даже в драматической форме, как это вы можете видеть в моем совместном труде с моей женой А. А. Тахо-Годи под названием «Платон. Жизнеописание» (М., 1977).

— *Как вы, человек сосредоточенной, углубленной индивидуальной работы, относитесь к коллективным трудам?*

— Участие в коллективных трудах я очень люблю. Мною написано более ста статей в пятитомной «Философской энциклопедии», несколько десятков ведущих и ответственных статей по античной мифологии в энциклопедии «Мифы народов мира». Значение этой энциклопедии трудно переоценить, поскольку здесь впервые основные отделы мировой мифологии разрабатываются крупнейшими специалистами без всякого снижения научного уровня в целях так называемой популяризации.

— *Какие книги вы хотели бы видеть переизданными? Может быть, у вас даже есть мечта предпринять какое-нибудь факсимильное издание?*

— Ваш вопрос вызывает множество пожеланий. А. В. Гулыга, известный историк философии, написал для серии «ЖЗЛ» книгу о Шеллинге. Полное собрание сочинений Шеллинга на языке оригинала он нашел в Москве только в моей библиотеке и, пользуясь им, закончил свой труд. Надо обязательно издать полного русского Шеллинга.

— *Ваше отношение к эстетике издания. Довольны ли вы тем, как издадут ваши книги?*

— К сожалению, должен сказать, что издания моих книг не всегда равноценны (иной раз подводит неважная бумага, а то и опечатки и другие типографские ляпсусы), хотя обычно издатели прилагают все усилия для успешного их печатания. В «Истории античной эстетики» (изд-во «Искусство»), например, сохраняется вся моя довольно сложная, но необходимая рубрикация. Моя «Эстетика Возрождения» (изд-во «Мысль») издана во всех отношениях великолепно.

— *Можно ли представить влияние книги на вашу жизнь, так сказать, ретроспективно увидеть истоки?..*

— Вы спрашиваете о книге в жизни человека, для которого книга—это и есть его жизнь. Я и сам не могу в точности различить, где у меня была жизнь и где у меня была книга. Подводя итоги, хочу сказать, что одним из самых высоких, одним из самых глубоких и одним из самых широких наслаждений у меня всегда было искать и приобретать книгу, читать книгу, использовать книгу для работы, обдумывать свою книгу, писать книгу, беседовать о книгах и всегда строить книжные планы. Мне было 5 лет, была первая после букваря книга для чтения под названием «Нева». Мать, бывало, говорила: «И что ты все сидишь над „Невой“? Пойди, побегай со Степкой и Федоркой!» Однако я очень часто и упорно отказывался бегать. И вот за этой своеобразной «Невой» я и сижу до последних дней.

Беседа наша прервалась как бы до следующего раза. Надо

сказать, что вообще беседы с Лосевым, как и чтение его книг, доставляют истинное удовольствие.

Одна из учениц Лосева Валерия Дмитриевна Пришвина в статье «О преемственности», написанной к 80-летию ученого, заметила, что творческая деятельность Алексея Федоровича «убеждает нас в неисчерпаемых возможностях человеческого разума, имеющего власть над временем», разумея под этим «то особое творческое поведение человека — как бескорыстную и полную отдадность, как безраздельное служение избранной мысли и образу ее».

Муж Валерии Дмитриевны, замечательный писатель М. М. Пришвин записал в своем дневнике 31 марта 1929 года: «Нашел книжку на поддержку себе: Лосев „Диалектика античного космоса и современная наука“. (Пришвин неточно называет книгу Лосева, объединяя, по существу, две книги: „Античный космос и современная наука“ и „Диалектика мифа“.) Это поход против формальной логики и натурализма. Многие еще станут понятным в себе самом, если я сумею представить себе античный космос и сопоставить его с современным научным. Имея то и другое в виду, интересно явиться к „запечатленному лику“ своего родного народа».

Э. Балашов

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Покой таит в себе движенье,
Молчание лелеет звук.
Свет истины, тьма заблужденья
Единый образуют круг.

И путь готов. Открыта Книга.
Повсюду радость разлита.
Мгновеньем дышит Красота,
И в Красоте дыханье мига.

* * *

Во избежанье дней печальных
Не открывайте книг случайных.
Не путайте путей-дорог.
Не пресекайте сущий ток.

Пора! Избраннику науки
Она сама дается в руки,
Возводит дух, огни творит,
И свет хранит, и путь торит.

* * *

Все произнесенные слова
Все еще звучат.
Шелестит былинная трава.
Дом скрипит у врат.

Светят первобытные костры
В пролетевшей мгле.
Все неизреченные миры
Говорят во мне.

Вот и я на свет произнесен
Матерью-Отцом.
В книгу Бытия был занесен
Солнечным пером.
И когда настал молчанья срок,
Одолея я тлен
И пронесся тенью между строк
В книге Перемен.

Все неизреченные миры
Говорят во мне.
Светят первобытные костры
В пролетевшей тьме.
Шелестит былинная трава.
Дом скрипит у врат.
Все произнесенные слова
Все еще звучат.

*Библиотека
и читальня*



УРОКИ АДРИАНА ТОПОРОВА

Первая моя встреча с Адрианом Митрофановичем Топоровым произошла более двадцати лет назад, а по его легендарной книге «Крестьяне о писателях» я знаю его полвека. Поводом для нашего знакомства послужило письмо, пришедшее из Сибири. Автор его, Петр Алексеевич Лобанов, в прошлом учитель, а тогда работавший в леспромхозе на очистке ложа Братского моря, обратился в газету «Литература и жизнь» с просьбой разыскать страстного книголюбца и пропагандиста литературы Адриана Митрофановича Топорова и вручить ему письмо, которое, впрочем, адресовалось и редакции. В письме говорилось: «Уважаемый товарищ Топоров! Я с Вами незнаком, никогда не встречался, но всегда храню добрую память о Вас. В двадцатых годах мы, учащиеся Новосибирского педагогического техникума, с жаром читали и обсуждали Ваши очерки „Дни нашей жизни“, печатавшиеся тогда в Новосибирске. На своем жизненном пути я много встречал Ваших питомцев, и все они с глубокой благодарностью вспоминают Вас. Библиотекари, культработники, словом, все, кто занимается проведением читательских конференций и пропагандой литературы, должны иметь книгу „Крестьяне о писателях“, ставшую библиографической редкостью...»

Главный редактор Виктор Васильевич Полторацкий предложил мне заняться этим письмом.

В первую очередь я попытался разыскать полузабытую книгу «Крестьяне о писателях», вышедшую в 1930 году в Государственном издательстве художественной литературы. Именно о ней шла речь в письме. Я нашел ее у Ефима Николаевича Пермитина. На титульном листе прочел выцветшую от времени надпись: «Дорогое моей душе», сделанную, по-видимому, тотчас же по прочтении книги и ответившую первому душевному порыву писателя. Книга выглядела вполне современно и даже нарядно. С той и другой стороны

красочного переплета — множество портретов мужчин, женщин и безусых юнцов. Это портреты тех, чьи мнения и критические замечания приведены в книге. Здесь же напечатана фотография небольшого здания школы, в которой утром учились дети, а по вечерам собирались и млад и стар и страстно обсуждали новинки художественной литературы. Эта очень объемная книга (не только потому, что в ней триста страниц большого формата) оказалась на редкость увлекательной, я прочел ее залпом. В этой книге я нашел такие россыпи народной мудрости и такое богатство самобытного русского языка, что рука невольно тянулась к блокноту, чтобы выписать меткое, крылатое слово. А главное, что подкупало в книге, это искренняя любовь ее автора, крестьян к литературе, к мастерам художественного слова.

Появилось желание встретиться с Топоровым. Я знал, что Адриан Митрофанович, проживший много лет в Сибири, в коммуне «Майское утро», теперь живет на Украине, в Николаеве, и немедленно отправился к нему.

В самолете я мысленно пытался представить себе автора книги и думал, что встречу старика лет шестидесяти или семидесяти, отрешившегося от всяких дел и живущего лишь одними воспоминаниями о давно минувшем времени. В смысле годов я не ошибся. Адриану Митрофановичу действительно, как он сам выразился, стукнуло семьдесят, но во всем остальном мне пришлось приятно разочароваться.

Меня встретил необыкновенно подвижный человек с гладко выбритым лицом и копной иссиня-черных волос, лишь виски, казалось, чуть-чуть были прихвачены изморозью. Карие глаза за толстыми линзами очков светились доброй приветливостью. С его языка часто срывается слово «батенька». Иногда, видимо по привычке, он обращается так и к своему восьми-летнему внуку.

В рабочем уголке комнаты стоит простой стол. На тумбочке, примыкающей к нему слева, лежат рукописи Адриана Митрофановича, под рукой стопка книг, требующихся для работы на сегодняшний день, в центре стола стоит всегда расчехленная портативная машинка, прослужившая Адриану Митрофановичу верой и правдой около сорока лет, еще с тех пор, когда он был селькором в глухой деревеньке в Сибири.

Поражаешься необычайной работоспособности Адриана Митрофановича. Его рабочий день начинается рано утром и заканчивается, как правило, поздно вечером.

В один из дней я пришел к нему в девятом часу утра, извинился, с порога спросил, не рано ли пожаловал.

— Проходите, проходите, что за рань,— приглашал хозя-

ин.— Я уже отстучал статью на машинке и успел отправить ее в Киев, в журнал «Социалистическая культура».

Адриан Митрофанович писал ее накануне вечером, пригостившись к уголку стола, пока я рылся в его любопытном архиве, читал письма советских писателей, друзей-книголюбов.

Из рассказов писателя, писем к нему я узнал многое, что доселе мне не было известно.

В двадцатых годах, например, журналист А. Аграновский отправился на саяно-розвальнях из Барнаула к Топорову, в новое, недавно отстроенное село, где с весны 1920 года организовалась коммуна с поэтическим названием «Майское утро». В тот же вечер гость отправился в школу, в которой было полным-полно народа. И тут же он убедился в справедливости слов старика, у которого он остановился: сибирские крестьяне знали Гейне и Ибсена, Пушкина, Толстого, Стендаля, и Гюго и многих других, не исключая современных авторов.

Адриан Митрофанович Топоров не сибиряк, хотя и много, кажется лет двадцать, прожил в Сибири. Родом он из бывшей Курской губернии. В селе Каплино, что в шести верстах от города Старый Оскол, он кончил церковноприходскую школу и получил звание учителя. Учительствовал в селе Лапыгино бывшего Старооскольского уезда, и здесь задолго до Октябрьской революции впервые стал проводить народные чтения художественной литературы. Но отзывов крестьян о прочитанных книгах он еще не собирал.

— В 1912 году,— рассказывает Адриан Митрофанович,— я встретился с политическим ссыльным, народовольцем Леонидом Петровичем Ешиным, который был сослан в Сибирь за подготовку покушения на царя. «Край интереснейший,— с увлечением говорил он мне о Сибири,— есть где развернуться человеку!» Я увлекся романтикой, и махнул в Сибирь, в село Верх-Жилинское, Алтайского края, откуда вскоре, после разгрома Колчака, выделились крестьяне, организовавшиеся в коммуны «Майское утро».

Вместе с крестьянами-бедняками Адриану Митрофановичу привелось партизанить против банд Колчака, а в конце 1919 года его избрали секретарем ревкома села Верх-Жилинского.

— Днем занимался в школе с детишками, а вечером отправлялся в партизанский дозор,— говорит Топоров.— Время было тревожное.

С первого дня, как была создана коммуна «Майское утро», Адриан Митрофанович организовал читки художественной литературы, так полюбившиеся крестьянам. Но еще долго раздумывал— не начать ли записывать их мнения о прочи-

таных книгах. Вспоминалось признание Льва Николаевича Толстого: «Самое близкое моему сердцу желание — иметь своим читателем большую публику, рабочего, трудящегося человека и подвергнуть свои мысли его решающему суду». Топорова одолевали сомнения: может, кто-нибудь уже написал или пишет подобный труд. Но один из сибирских писателей — Афанасий Лазаревич Коптелов — высказал по этому поводу суждение:

— Мысль хорошая, Митрофаныч, может, что и получится. Во всяком случае, твоей работе не будет помехой, если где-то и осуществлено то же самое.

С этого напутствия и началось. Изю дня в день много лет подряд Адриан Митрофанович записывал критические замечания крестьян о прочитанных книгах, но впервые решился опубликовать их частично через семь лет в трех номерах бийской газеты «Звезда Алтая» под заголовком «Деревня о художественной литературе». В 1927 и 1928 годах в «Сибирских огнях» были напечатаны статья Топорова и первые стенографические записи высказываний крестьян о прочитанных книгах, а затем они публиковались в московских журналах. Сибирь дала Адриану Митрофановичу путевку «в большую литературу».

Начинание А. М. Топорова высоко оценил Максим Горький. Прочитав в первом номере «Сибирских огней» за 1928 год отзывы коммунаров о романе «Два мира», Алексей Максимович в письме из Сорренто от 17 марта 1928 года написал его автору В. Я. Зазубрину: «Пришлите мне Вашу книгу „Два мира“, интереснейшую беседу слушателей о ней я читал, захлебываясь от восторга».

В предисловии к роману В. Зазубрина «Два мира» Максим Горький писал: «Эта книга вся была прочитана в Сибири... Суждения, собранные о ней, стенографически записаны и опубликованы в журнале „Сибирские огни“. Это весьма ценные суждения, это подлинный „глас народа“. И было бы в высокой степени полезно напечатать эту стенограмму в конце книги, как послесловие к ней, как эхо, мощно отозвавшееся на голос автора».

Накануне тридцатых годов в Москве готовилось издание первой книги Топорова «Крестьяне о писателях» (предполагалось издать три тома). В. Зазубрин, работавший тогда в Госиздате, писал Топорову, что книга «необычайно ценна. Читал ее, как самую увлекательную повесть или роман... Оценки крестьян имеют настолько большое общественное значение, настолько они порой глубоки, метки и мудры, что никакая редакторская рука на них не поднимается». В другом

письме, перед самым выходом книги в свет, Зазубрин сообщил автору: «Максим Горький очень тепло отзывался о Вашей работе».

Викентий Викентьевич Вересаев глубоко интересовался собранными Топоровым высказываниями крестьян о произведениях Пушкина, составившими объемистую тетрадь. Эта рукопись по предложению Вересаева была приобретена на вечное хранение Пушкинским комитетом по проведению в нашей стране столетней годовщины со дня смерти гениального поэта.

«Я уже слышал о Вашей работе в Москве самые наилучшие отзывы,— писал Топорову Семен Павлович Подъячев.— Продолжайте работу, и все мы Вам скажем спасибо». А вслед за письмом от Подъячева пришла посылка с книгами в дар коммунарам «Майского утра» с просьбой прочитать и обсудить его произведения.

В январе 1930 года в «Майском утре» побывал Борис Горбатов, заинтересовавшийся обсуждением его повести «Ячейка». Он не только прочитал записи высказываний крестьян-критиков о его книге, но и подолгу беседовал с каждым из них, а перед отъездом сказал коммунарам:

— Лучших критиков, чем в «Майском утре», я не встречал.

Высокую оценку высказывания крестьян о литературе получили в Международном библиологическом институте в Лозанне, возглавлявшемся Н. А. Рубакиным.

Из Швейцарии Рубакин писал Топорову: «Книга Ваша прямо-таки замечательная... особенно ценна ее внутренней честностью... Изучив все три Ваши такие превосходные, вдумчивые статьи... я не могу не подписаться под каждым словом их. Вашими устами говорит сама жизнь... С каждой страницы... так и прет, так и сияет Ваша любовь к человеку, да и их любовь и доверие к Вам просто-таки очаровывают...»

Коммунары не только прочли произведения многих авторов, а имели о каждой книге свое суждение, критиковали одних писателей и хвалили других. Они были не только читателями, но и строгими ценителями прекрасного.

Книга «Крестьяне о писателях» вызвала живейший интерес в среде прогрессивных общественных и литературных деятелей США, Германии, Польши, Швейцарии и других стран.

Как-то уже после опубликования моей статьи в «Литературе и жизни» я получил письмо из Бийска. Мария Зверева, вспоминая о былом, писала, что Топоров «говорил и читал ярко, интересно. Это скорее было художественное чтение.

Слушаешь, и перед глазами проходят, оживают образы, которые рисует писатель».

Эту же мысль развивает отец космонавта-2 Степан Павлович Титов в статье «Мой первый учитель»: «Художественную литературу он читал артистически (как говорили коммунары, „на разные голоса“), литературный образ подавал выпукло, и, казалось, слушатель после чтения уводил к себе ночевать запомнившегося героя».

Более двадцати лет Адриан Митрофанович посвятил пропаганде литературы в деревне. И крестьяне полюбили громкие читки всей душой.

— Я не помню случая,— говорит Топоров,— когда крестьяне не пришли бы на объявленную читку. Бывало и так, что школа не могла вместить всех желающих слушать, и тогда чтение и обсуждение шло в пять-шесть приемов. Не шутка, в «Майском утре» насчитывалось более ста критиков.

Эта работа настолько увлекла Адриана Митрофановича, что он отдавал ей весь досуг. Его бесконечно радовало, что громкие читки и обсуждения литературы развивали кругозор, укрепляли самосознание крестьян в пору острейшей классовой борьбы в деревне.

— Истинно талантливые произведения,— рассказывает Топоров,— крестьяне слушали долго, до полной усталости чтеца. А не закончишь вещь сегодня, завтра они приходят на читку необычно рано, чтобы не остаться за дверьми. После читки— шумный, длительный разговор, обмен впечатлениями. Людям неохота уходить. Они сидят и смакуют прочитанное. По каждому произведению было от восьми до сорока выступлений, и каких выступлений! Ярких, колоритных, идущих от сердца.

Однажды во время читки и обсуждения пьесы К. Тренева «Любовь Яровая», очень понравившейся крестьянам, возникла мысль самим сыграть пьесу. Критики в один голос говорили:

— Трудно вспомнить пьесу интересней этой...

— В «Любови Яровой» про роли не надо никаких разъяснений. Прочтешь слова—и сразу отлично узнаешь, какую личность изображать ты должен...

— По моему, она замечательна тем, что в ней резко различны все действующие лица. Удивление: разных народов писатель нагнал полну пьесу, а все говорят ужасно просто, понятно и всяк своему лицу подходяще.

«Любовь Яровую» потребовали непременно ставить на сцене. И ставили в день десятилетия Октября! Правда, не всю, а только первый акт, который можно одолеть с бедной сельской бутафорией. Так в «Майском утре» зародился народный театр. Кроме театра, в коммуне «Майское утро» были созданы

Топоровым струнный оркестр и хор, которыми он сам и дирижировал.

В книге Топорова встречаются имена односельчан Германа Титова, его дедов, которых в то время метко называли «Белинскими в лаптях».

Адриан Митрофанович умеет лаконично, в нескольких строках, но очень полно охарактеризовать людей. Вот одна из таких записей: «Павел Иванович Титов. 40 лет (дед Германа Степановича Титова.— П.С.). Сын унаследовал от отца пытли- вый ум, который не нашел при царизме надлежащего разви- тия. Физическое нездоровье замыкало заметную даровитость. Хороший по природе человек. Занимается в коммуне пче- ловодством».

Во время обсуждения произведения А. Неверова «Таш- кент—город хлебный» П. И. Титов сказал: «Этот писатель жизни учит. Горька жизнь многих детей. Только к чему это детское горе? Над этим надо раздуматься».

О деде Германа Степановича по материнской линии Михаиле Алексеевиче Носове (у него долгое время воспитывался космонавт-2.— П.С.), непрременном участнике читок и активном критике литературы, Топоров в свое время записал: «Был до коммуны крестьянин-бедняк. Жил в селе Верх- Жилинском. Нес много нужды. В коммуне воскрес. Грамоту знает недурно... Партизанил. Суров. Насмешлив. Балагур. Остроязык. К врагам беспощаден».

С фотографии, напечатанной в первом издании книги Топорова, Михаил Алексеевич Носов, одетый в военную гимнастерку, в фуражке с высокой тульей, как бы в подтвер- ждение данной ему характеристики, смотрит остро, и взгляд у него суров. И не удивляешься его отзыву о книге «Ташкент— город хлебный»: «По всему телу моему прошло дрожание, во всех местах чую и радость, и муть, и кручину... А уж про описание и говорить нечего. Дюже специально пишет. Не пишет, а лупит тебя бичом». А вот его суждение об одной незадачливой книге: «Я так книгу понял: в ней от солнца зайцы, а писали ее дурные пальцы. Строки написаны длин- ные, только смазаны они глиной».

По-прежнему дружат с книгой бывшие критики С. П. Ли- хачев, живущий ныне в Барнауле, и Михаил Стекачев, работающий сейчас инженером на железнодорожной станции где-то под Новосибирском. Где только не встретишь бывших крестьян-критиков—в Сибири и на Дальнем Востоке, в Курс- кой области и Белоруссии, и в заволжских степях... Через всю жизнь они пронесли любовь к книгам, которую заронил в их сердца Адриан Митрофанович Топоров.

По сей день Адриан Митрофанович, несмотря на преклонный возраст, не прекращает литературной деятельности. Недавно закончил книгу очерков о писателях, с которыми ему приводилось встречаться и дружить за свою долгую прекрасную жизнь.

Я с увлечением прочитываю страницу за страницей. Почерк у Адриана Митрофановича размашистый, буквы большие и нетерпеливые, с острыми углами. Автор, видно, вечно спешит, у него всегда масса всяких неотложных дел. В эту книгу вошли очерки о В. Зазубрине, авторе романа «Два мира», высоко оцененного В. И. Лениным и Максимом Горьким, о А. Новикове-Прибое, Е. Пермитине, Б. Горбатове, А. Караваевой, А. Коптелове, с кем не раз Топоров встречался, а также о В. Вересаеве, С. Подъячеве, Н. Рубакине, Ф. Гладкове, Ф. Березовском и многих других литераторах, произведения которых были прочитаны в аудитории «Майского утра».

Очерки написаны Топоровым ярко, сочно. Он замечательно рисует образы более сорока писателей, преимущественно сибиряков, его память сохранила множество любопытных черт и деталей, интересных для широкого круга читателей.

Книга Топорова «Крестьяне о писателях» спустя тридцать три года вышла вторым изданием в Новосибирском книжном издательстве. Она выдержала самое трудное испытание — временем. А время, в конечном итоге, главный судья, главный критерий для оценки любого произведения.

И нет ничего удивительного, что второе ее рождение приветствовали многие читатели, знавшие книгу по первому изданию. Книга вышла в дополненном и переработанном виде. В нее включены многие главы, которых не было в первом издании. К сожалению, богатейший литературный архив Топорова — два тома драгоценных высказываний крестьян-критиков о литературе, хранившийся во время отечественной войны в Курской области, на родине автора, — безвозвратно погиб, он был уничтожен фашистскими оккупантами.

Адриан Митрофанович приложил немало усилий для того, чтобы частично восстановить погибшие сокровища народной мудрости по периодическим изданиям, публиковавшим высказывания крестьян-критиков коммуны «Майское утро». В этом автору неоценимую помощь оказали Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, Новосибирская областная библиотека и Пушкинский Дом в Ленинграде.

У книги Адриана Митрофановича Топорова «Крестьяне о писателях», изданной в Москве в 1930 году, интересная история, необычны переплетения судеб его героев, необычны,

но очень символичны многие удивительные совпадения — такие, которые нарочно не придумаешь.

6 августа 1928 года в коммуне «Майское утро» учитель Топоров читал коммунарам стихи Вивиана Итина «Похороны моей девочки». Я не стал бы специально останавливаться на этом, если бы не споры сельских читателей и критиков, разгоревшиеся вокруг этого стихотворения и имеющие прямое отношение к нашим дням. Тогда юный Степан Павлович Титов, впоследствии написавший замечательную книгу «Два детства», сказал об этих стихах: «Слова „застывший вдруг метеорит сдавили синие орбиты“ дают весь образ... Ловко! Метко!

И по сердцу бьют. Метеорит вливается во весь стих и оживляет его. Сказано мало, но строчки эти волнуют, говорят многое-много».

Сельские читатели, с жаром говорившие про метеориты и орбиты, даже не подозревали тогда о том, что спустя тридцать три года день в день — 6 августа 1961 года их в то время еще не родившийся земляк Герман Степанович Титов на космическом корабле «Восток-2» отправится навстречу звездам и метеоритам, по новым орбитам проложит пути во вселенную... А ведь тогда даже передовым крестьянам были непонятны слова «метеорит» и «орбита».

6 августа 1928 года и 6 августа 1961 года! Это совпадение, разумеется, чисто случайное, но какое знаменательное!

Давно, не один десяток лет, они мечтали встретиться, и вот эта волнующая и неповторимая встреча людей трех поколений состоялась в Москве, в редакции газеты «Известия» в дни работы XXII съезда КПСС. Из украинского города Николаева в Москву приехал народный учитель Адриан Митрофанович Топоров, а из далекого Алтая — его ученик и тоже народный учитель Степан Павлович Титов — из тех самых мест, где в двадцатых и тридцатых годах протекала педагогическая и общественная деятельность Топорова. В перерыве между дневным и вечерним заседаниями съезда к ним присоединился делегат съезда Герман Степанович Титов. Хотя Герман Титов никогда не встречался с Адрианом Митрофановичем, но сразу узнал его, уж очень часто говорили о нем в семье.

Улыбки, поцелуи, объятия! Сразу же завязалась оживленная беседа, как это часто бывает между долго не видевшимися друзьями.

Вспоминали о многом: Степан Павлович о том, как они играли в сельском оркестре (не потому ли и космонавт-2 так любит музыку!), а Герман Степанович рассказывал, с каким

волнением он накануне полета в космос читал книгу Топорова. Герман Степанович назвал ее легендарной.

— На старости лет какая мне неожиданная радость,— говорил Герману Титову учитель Топоров,— луч космической славы осветил все труды коммунаров «Майского утра».

— Это еще надо разобраться, чей луч на кого упал,— улыбаясь, возразил Герман Степанович.— Сдается мне, что засветился-то он в коммуне «Майское утро».

Расставаясь, Герман Титов написал на фотографии, снятой в «Известиях» и подаренной Адриану Митрофановичу Топорову: «Дорогой Адриан Митрофанович! Встречу в „Известиях“ я запомню на всю жизнь потому, что всю сознательную жизнь я о Вас много слышал, а вот свидеться довелось впервые. Примите низкий поклон. Г. Титов».

А вскоре Герман Степанович отправился в Николаев, чтобы неторопливо и обстоятельно побеседовать с наставником своего отца.

Позднее Герман Титов рассказывал:

— С одним из отрядов Красной Армии, проходившим мимо моего села, появился Адриан Митрофанович Топоров. О Топорове дед и все односельчане, знающие его, говорили у нас с таким уважением, как часто не говорят о любимом отце. Теперь, раздумывая над прошлым своего родного села, о Топорове—учителе коммунаров и наставнике моего отца, я невольно думаю о том, что и я обязан ему своим воспитанием и первыми знаниями, приобретенными в школе.

Не помню, кто-то метко назвал Адриана Митрофановича Топорова духовным дедом космонавта-2. Что ж, вероятно, это так и есть!

Теперь со всей очевидностью можно сказать: да, книга «Крестьяне о писателях» успешно выдержала испытание временем и нашла добрый путь к читательским сердцам. Вслед за вторым Новосибирским изданием последовало третье в Москве, в издательстве «Советская Россия» и четвертое—в Алтайском книжном издательстве. Удивительно, с какой быстротой расходились в общем-то немалые тиражи.

Ценители художественного слова и колоритной народной речи нашли в ней необычайно яркий и образный язык, историки—богатый фактический материал о том, как росли и преображались люди колхозной деревни, а библиотекари—неоценимое пособие для пропаганды классической и советской литературы.

Я уже отмечал, что более двадцати лет назад меня встретил необыкновенно подвижный человек, который несмотря на 70-летний возраст много и плодотворно работал. А как

он выглядит теперь, двадцать лет спустя? Мой давний друг, учившийся у Адриана Митрофановича Топорова и навестивший его в Николаеве, словно отвечая на мой вопрос охарактеризовал его двумя весьма меткими и емкими словами: «Он кипяток».

В одном из писем Топоров сообщил мне: «Сегодня подписал верстку моей книги „Я—учитель!“, выходящую в 1980 году в издательстве „Летская литература“. Объем книги—10 печатных листов».

А позднее еще письмо: «Зайдите в библиотеку, возьмите журнал „Октябрь“ № 3 за нынешний год. В нем в разделе художественной литературы опубликован мой большой кусок „Однажды и на всю жизнь“. Прочтите и напишите свое мнение».

В восьмом номере «Сибирских огней» за этот год появился объемный очерк Топорова «Светоч сельской культуры».

Ничего не скажешь, «урожайный» год у Адриана Митрофановича! Да прибавьте к этому его публикации в «Литературной газете», «Литературной России», центральных журналах, в республиканской прессе в Киеве и в местной, николаевской газете... Московский Литературный институт имени М. Горького и Николаевский областной архив приняли на государственное хранение уникальные документы: рукописи, письма писателей и печатные труды. Периодически Топоров направляет в архивы накопившиеся материалы.

В журналах и газетах не утихают дискуссии вокруг этой книги. Сотни рецензий напечатаны. Говорят о книге на авторитетнейших симпозиумах и съездах писателей, словно вышла она только вчера.

В обстоятельном докладе Бориса Ивановича Стукалина на учредительном съезде Всесоюзного добровольного общества любителей книги сказано: «...С чувством глубокой признательности мы вспоминаем сегодня добрым словом тех, кто еще на заре становления советского строя своим бескорыстным трудом, по зову своего щедрого сердца помогал народным массам приобщаться к культуре, к ее бесценным богатствам. Среди многих и многих энтузиастов хотелось бы упомянуть Адриана Митрофановича Топорова, который в двадцатые годы... проводил литературные чтения с крестьянами коммуны „Майское утро“. На его чтения приходили неграмотные пахари, их жены, дети, и перед ними впервые открывался мир Пушкина, Толстого, Горького... У многих из них это вылилось в глубокую и постоянную любовь к книге».

«Вероятно, не будет преувеличением сказать,— писал Сергей Залыгин,— что книга эта интересна не только сама по

себе — она расширяет наши представления о том, как вообще может делаться настоящая книга. Об этом нельзя не подумать, держа книгу в руках, любясь ее исполнением... Да, эта книга — явление в советской литературе. Уж не те крестьяне в Сибири, на родине космонавта, не те у них суждения о литературе, не те представления о жизни, что были в двадцатых годах, — а книга о них не умирает, а обновляется, рождается вновь».

Евгений Осетров писал в 1977 году в своей книге «Золотой ключ»: «Любовь к печатному слову у нас носит всеобщий характер. Тиражи книг говорят об этом довольно красноречиво. Да разве только тиражи... Зарубежные писатели, постоянно бывающие у нас, почти всегда обращают внимание на обилие читающих в скверах, метро, электричках... А жаркие споры о книгах, ведущиеся в читательской среде, — разве не удивительное явление нашей жизни?.. Не случайно также, что именно в нашей стране создано такое уникальное, наверное единственное в своем роде, произведение, как „Крестьяне о писателях“ Адриана Топорова. Я часто с горестным недоумением спрашиваю себя: почему мы до сих пор не создали по примеру Топорова такую насущно необходимую книгу, как „Рабочие о писателях“?».

«Я хорошо помню эту книгу А. М. Топорова еще по довоенному изданию, — замечал выдающийся советский педагог В. Сухомлинский. — Все, о чем он рассказывал в своей книге и что делал в своем селе, всегда казалось мне изумительным, необычным... Когда читаешь высказывания крестьян о величайших художниках, чувствуешь прикосновение к правде, к истине».

Теперь, когда книга «Крестьяне о писателях» переиздана издательством «Книга» в пятый раз и большим тиражом, лишней раз убеждаешься в ее нужности, полезности, непреходящей эстетической ценности. И хочется верить, что она будет нужна еще многим поколениям людей.

Олег Ласунский

ПИСЬМО ИЗ ДРОГОВЫЧА

География сегодняшнего библиофильства обширна как никогда. Право, если б какой-нибудь чужак взялся за составление соответствующего атласа, ему бы пришлось крепко потрудиться.

Поглядите на почтовую корреспонденцию любителя переписываться. По обратным адресам легко убедиться: книголюбы—и среди них довольно серьезные—обитают везде, не только в столичных градах, но и «далеко от Москвы».

Так что ровным счетом ничего удивительного не было в том, что однажды в моих руках оказался конверт со штемпелем прикарпатского городка Дрогобыча. Чутьочку удивиться пришлось потом, когда ознакомился с его содержимым. Неведомый мне автор, повествуя о себе и своей библиотеке, как бы мимоходом упоминал такие издания, которые не часто встретишь и у самых признанных собирателей.

Многолетний опыт давно научил: не каждому слову библиофила следует безоговорочно верить. Ничего криминального тут, собственно, нет. В конце концов почему бы книголюбам, увлеченнейшим из людей, отличаться в этом смысле от охотников или рыбаков!

Когда из Дрогобыча сообщили, что там, между прочим, имеются и «Византийские эмали А. В. Звенигородского», поздравления, признаться, усилились. Как же так: знаменитое «русское чудо», роскошнейшее издание прошлого века, да еще какой-то особый экземпляр—и эта жемчужина печатного искусства в собрании неизвестного любителя? Такое казалось невероятным.

Моя растерянность, похоже, не ускользнула от чуткого корреспондента. В очередной эпистоле сквозила неприкрытая обида: ежели, дескать, сомневаетесь, извольте увидеть все собственными глазами!

Предложение показалось заманчивым. Некто, сумевший в

тысячах километров от исконных центров русской книжности составить, судя по переписке, превосходную библиотеку,— это уже был достойный внимания феномен. Дело даже не в экзотике самой ситуации — «Византийские эмали А. В. Звенигородского» в районном городке! — а в том, что здесь вырисовывалась любопытная проблема: житие периферийного библиофила.

В былой провинции всегда были свои талантливые собиратели. Вспомним хотя бы сибирского купца Г. В. Юдина и его неповторимое детище. Однако же тон всему задавали раньше состоятельные столичные коллекционеры. Ныне фигура периферийного библиофила как-то укрупнилась, заняла неизмеримо больший удельный вес в общем книголюбительском балансе страны.

Словом, стоило рискнуть...

И вот я на Львовщине. Вдали голубеют хребты Карпат. В Дрогобыче горбатые улочки, мощенные камнем. В центре — здание бывшей ратуши с башенными часами. Они и сегодня мелодично звонят в положенный срок. Рядом величественный храм XIV века, выстроенный в строгом готическом стиле. И как памятник истории недавней — противотанковая пушка на постаменте из каменных глыб.

...Приехал я разобраться в проблеме, познакомиться с «феноменом», а нашел прежде всего интересного, славного человека.

Зовут его Всеволод Валерианович Тарноградский. Рос он в атмосфере напряженных умственных исканий, особого пристрастия к литературе, поэзии. Книги стали его спутниками с детства, как это водилось обычно в старых интеллигентных семьях.

У библиофилов старшего поколения нынешняя библиотека, как правило, — вторая. Та же судьба выпала и на долю библиотеки Всеволода Валериановича. Война не пощадила книг. От того, погибшего в огне пожарищ, собрания остались случайно уцелевшие экземпляры.

Вот, пожалуйста, суворинское, третье по счету издание книги М. И. Пыляева «Драгоценные камни, их свойства, местонахождения и употребление» (Спб., 1896). Сохранилось и купленное в Москве тогда же, еще в 1936 году, сочинение доктора Р. Браунса «Царство минералов» (Спб., изд. А. Ф. Девриена, 1906).

Кстати, к геологии в этой квартире явно неравнодушны. Повсюду можно видеть минералы отнюдь не карпатского только происхождения. Земные недра представлены на домашней выставке своими самыми диковинными образцами.

— Да, это неспроста,— говорит хозяин.— В тысяча девятьсот тридцать шестом году, после средней школы, поехал я в Москву поступать в Геологоразведочный институт. Между прочим, познакомился там с академиком Александром Евгеньевичем Ферсманом, потом с ним переписывался. Но мечта стать искателем кладовых природы не осуществилась: тогда в Москве заболел и вернулся домой, в Винницу, где поступил в медицинский. Правда, склонности к минералогии так и не утратил...

Остальные штрихи его биографии мне были известны. В годы Великой Отечественной войны капитан В. В. Тарноградский выхаживал бойцов в госпиталях. Возвратившись после победы в Винницу, получил назначение в Дрогобыч. И вот уже почти 35 лет заведует здесь терапевтическим отделением больницы. Как специалист пользуется большим авторитетом. Награжден нагрудным значком «Отличник здравоохранения»...

Врачебная практика требует от доктора полной отдачи сил. Но у библиофилов — и это знает каждый из нас — всегда наготове некий резерв нравственных, да и физических мощностей. Уж так устроен их организм. Они умеют уплотнять любой режим и для своих любимых занятий найдут часок-другой при самом жестком лимите времени.

* * *

Жилище любого коллекционера свято для него — хотя бы потому, что тут покоятся его богатства. Порой, в минуту усталости или внутреннего не покоя, много ли надо такому человеку, чтоб получить необходимый заряд бодрости. Вспомним: еще древние трактовали вопрос о библиотерапии, о целительном воздействии самой обстановки, где властвуют книги. Терапевт и библиофил в едином лице, В. В. Тарноградский прекрасно чувствует эту энергию душевной радости.

Когда-то Всеволод Валерианович ревностно собирал живопись. У него и сейчас остались полотна передвижников — И. И. Шишкина, В. Е. Маковского, М. К. Клодта и др. За окнами квартиры, в дымке, просматриваются горные отроги, а на стенах — в отличных старинных рамах — царит среднерусский пейзаж. А вот лазурь крымских прибрежных вод — это, конечно, Айвазовский. Есть и картины украинских художников...

Люди, влюбленные в искусство, преданы своему увлечению до конца. Могут только меняться вкусы, отражая динамику эстетического развития личности. Так произошло и с Валерианыхем: холсты постепенно теснились, уступая место

серебристым гравюрным оттискам и цветным литографиям. Многие из них исполнены лучшими иностранными мастерами, составившими себе имя в России второй половины XVIII — начала XIX века. Особенно гордится владетель редкими ныне листами, запечатлевшими виды Москвы и Петербурга в предпушкинскую эпоху. Это — творения Ж. Делабарта, М.-Ф. Дамам-Демартре, Б. Патерсена, И.-Б. Ле-Пренса. И тут же — «Кающаяся Магдалина» Жерара Эделинка, шедевр французской репродукционной гравюры на меди (XVII в.), офорты Гойи и Ренуара, цветная ксилография «Дворец Бирона и барки» А. П. Остроумовой-Лебедевой.

От графики к иллюстрированным изданиям — путь вполне закономерный. Как это бывает довольно часто, именно книги завершили искания мятущейся натуры собирателя, став в конце концов всепоглощающим объектом его книжных вожделений.

Всеволод Валерианович не любит говорить о первой, погибшей в войну библиотеке. Были, разумеется, и там подлинные редкости — ну, да что об этом толковать, все равно ведь не вернешь! Он не может без горечи вспомнить о потере. Каково же было ему тогда?! От потрясения долго не мог оправиться, даже подумывал забросить это библиофильство...

Пауза была мучительно долгой. Отошел только к началу пятидесятых годов, когда снова ринулся в родную стихию. Вот уж, право: кому на роду написано быть библиофилом, никакие препятствия и невзгоды не одолеют. Из сверхпрочного духовного материала выковала природа этих людей...

Книжная вселенная поистине необъятна, как сама жизнь. Теоретически рассуждая, раритетов вполне должно хватить на каждого. Практически все зависит от волевых качеств, целеустремленности и темперамента конкретного собирателя.

Бесспорно, столичным библиофилам несравненно легче, чем какому-нибудь ростовчанину или томичу. Всегда можно узнать у многочисленных букинистов, нет ли чего новенького... из старенького.

Иное дело — библиофил издалече. Ему надо, выкроив время и средства, выбраться в Москву, Ленинград, потому что местных ресурсов не хватает, особенно в тех краях, что опалила своим мертвящим дыханием война.

Но он берет свое напором, решительностью действий, умением рисковать.

Любопытно понаблюдать за поведением провинциала, когда он оказывается в столице. С вокзала или из аэропорта, не теряя ни минуты, порой даже не позавтракав, мчится он привычными маршрутами к памятнику Ивану Федорову, на

Кузнецкий мост, на Пушечную, в Столешников переулочек и по многим иным адресам. Приезжий обрыскает все букинистические лавки, обследует здесь наличный антиквариат, пересматривает все торговые картотеки...

То же повторяется и на следующий день. Программа дополняется визитами к знакомым и не очень знакомым книжникам.

Рабочий темп этих двух-трех дней предельно сжат. Зато изрядно искудавший библиофил увозит с собой пудовые тюки, а почтовое ведомство еще долго будет доставлять ему домой отправленные из Москвы самому себе бандероли с книгами.

Так или приблизительно так складывались многолетние библиофильские будни Всеволода Валериановича Тарноградского.

Постепенно неистового собирателя из Дрогобыча заметили, признали своим человеком и уже старались ему поспособствовать, отыскать к его приезду кое-что из дежидератов. Немало ему помог в этом отношении киевский букинист Семен Павлович Лер, особенно же ленинградцы — Иван Сергеевич Наумов, Петр Николаевич Мартынов, Василий Сергеевич Трусов, Павел Федорович Пашнов. Они довершили его «высшее» образование по библиофильской части.

Был у Всеволода Валериановича еще наставник в Москве — покойный ныне Владимир Николаевич Васильев. В молодости он служил на флоте. Когда Тарноградский с ним встретился, тот уже находился в отставке. Дородный и импозантный, он часто наведывался к букинистам. По военной привычке он на каждый день разрабатывал четкий оперативный план, который и выполнял неукоснительно.

Владимир Николаевич не намерен был расплыться в собирательстве. Это внушалось и неопытному. Его влекла старая иллюстрированная книга, то, что именуется обычно библиофильской классикой. Имел он толково подобранную справочную литературу и любил вечерами заниматься составлением досье на тот или иной раритет. Иногда выписки занимали целую школьную тетрадь. Многие экземпляры после смерти хозяина перебрались в Дрогобыч вместе с вложенными внутрь досье. Уроки Владимира Николаевича не забыты.

Среди книжников это святой принцип: старший учит младшего, опытный шефствует над новичком. Теперь и В. В. Тарноградский, сам уже опытный собиратель, передает другим накопленные познания (а иной раз и дублетные экземпляры). Вокруг него сложился дружный кружок энтузиастов: юристы Б. Н. Лыско и Л. П. Фрис, учитель Е. Е. Гоф, инженер Г. К. Полищук (сейчас живет в Киеве).

Преподаватель музыкального училища в Виннице Алексей Семенович Зуев, неутомимый экслибрисист, до сих пор переписывается с Валерианым — он ведь тоже жил раньше в Дрогобыче.

Так не прерывается эстафета библиофильских поколений.

* * *

Библиотека В. В. Тарноградского не особенно велика (около 3 500 томов), но по качеству своему отменна. Она подбиралась по пословице: мал золотник, да дорог... Тематический стержень собрания — искусство книги и искусство в книге.

Первоначальное представление о библиотеке дают полные комплекты иллюстрированных журналов начала XX века: «Антиквар», «Аполлон», «Баян», «Весы», «Золотое руно», «Икона», «Искусство и печатное дело», «Искусство и художественная промышленность», «Мир искусства», «Русский библиофил», «София», «Среди коллекционеров», «Старые годы», «Столица и усадьба»...

Библиотека эта, если окинуть ее взглядом, — точно писанная маслом картина. В шкафах орехового дерева (сделаны по эскизам самого владельца) плотной шеренгой, выровненные как по ранжиру стоят разноцветные тома: Всеволод Валерианович неумолим в отношении чистоты и порядка на полках. Обращенные к свету корешками, книги будто взывают: ну, посмотрите, какие мы великолепные, какая на нас позолота, в какие нежнейшие кожи и ткани мы облачены!

Естественно, приоритет любого собрания определяется в первую очередь не состоянием книг в нем, а их содержанием, их культурной и социально-общественной ценностью. Но, согласитесь, кое-что значит и внешний вид.

Я говорю здесь даже не о материальной стоимости, в которой выражается рыночная разница — подчас весьма значительная — между экземпляром потрепанным и экземпляром идеально сохранившимся. Говорю об особом моральном микроклимате, который устанавливается в комнате, где книги одним своим одеянием радуют глаз. Понятно, сей лирический аспект библиофильства не стоит абсолютизировать, но нельзя и сбрасывать его со счетов. Если не быть ханжой, то следует признать: созерцание нарядной, пригожей библиотеки есть необходимый момент в книголюбительстве, оно доставляет библиофилу трудно изъяснимое наслаждение. Это — из той сферы человеческой психологии, где бессильна логика и господствуют эмоции.

Вот, к примеру, наш герой. Он не терпит «усталого»

экземпляра, ему подавай только в девственном состоянии. Сколько книг он обменял—причем дважды и трижды,—пока не приходил к нему экземпляр без единой ущербинки.

Достоин ли Всеволод Валерианович за это упрека? Был бы достоин, безусловно, если бы не видел в редком издании ничего, кроме обличья. Но он совсем не таков. Он перечитал свою библиотеку до последней страницы. Он о каждом томике может поведать увлекательнейшие истории. Так что перед нами не фанатик «чистой красоты» (бывают, к сожалению, и такие), а просто человек, в ком пульсирует артистическая жилка; причем развилась она не в последнюю очередь под влиянием именно книг.

В. В. Тарноградский обожает, в частности, художественный переплет. Замечу попутно, что в нашей специальной литературе этому уделяется исключительно малое внимание, не в пример европейским коллегам, которые не перестают выпускать соответствующие монографии и справочники.

Может быть, в России XIX века не было умельцев? Были, разумеется, и подчас не хуже прославленных парижских. Но равнодушие книговедов привело к тому, что даже сами имена этих чудодеев пребывают в забвении.

Кого чаще всего мы называем из видных отечественных переплетчиков? А. А. Шнель, Э. Ро (Роу), З. М. Тарасов— вот, пожалуй, и все. Кстати, они обильно представлены на полках нашего доктора.

Но Всеволод Валерианович категорически не согласен с этим жалким списком. Он требует дополнить его москвичами А. П. Петцманом, Большаковым. Что касается Петербурга, то там трудился еще блестящий Виталис Нильсон—он был связан с переплетной мастерской Товарищества М. О. Вольф.

Хозяин с торжествующей улыбкой извлекает из шкафа две изящнейшие книги. «Дамское» издание пушкинского «Евгения Онегина» (Спб., 1899)—экземпляр № 1 из 25 пронумерованных, на японской бумаге... «Князь Серебряный» А. К. Толстого (М., изд. В. Г. Готье, 1892)—с портретом автора и 12 гравюрами в тексте... Переплеты подписные, целого марокена, один форзац тоже кожаный, другой—муаровый. Передние крышки В. Нильсон инкрустировал кусочками раскрашенной кожи—получились цветы. На кожаном форзаце «Евгения Онегина», помимо того, вмонтирован мозаичный экслибрис (редчайший случай!)—инициалы «АС». Не книга, а одно загляденье!

Секреты любительского переплета не вымерли и сейчас, в эпоху конвейерного производства печатной продукции. Но знаем ли мы, ценим ли редких искусников? Демонстрируем ли

их произведения на выставочных витринах рядом с причудливыми переплетами прошлых столетий? Увы, увy!

В подтверждение этих минорных мыслей Всеволод Валерианович кладет на стол диво дивное в коже благородного оттенка, с золототисненной наклейкой на корешке. Обрез торшонированный, с нанесенным на него орнаментом. Это «Среди книг и их друзей» Д. В. Ульянинского (М., 1903) — экземпляр № 94 на александрийской бумаге, с отпечатанным в Париже экслибрисом автора на отдельном листе и с его дарственной надписью К. А. Стратонитскому.

— Думаете, переплет того времени? — спрашивает загадочно Валерианович и, даже не дождавшись ответа, отрицательно качает головой. — Он сделан по моему заказу лет пятнадцать тому назад. Автор его — москвич Куциевский. Золотые руки. И душа творца. Жаль, умер в 1971 году. У меня немало его работ. Полюбуйтесь-ка!

О, да это же «Le livre de la marquise» — «Книга маркизы»! Одно из самых элегантных изданий нашего века! Этот сборник фривольных французских стихов и прозы XVIII века составил и, главное, талантливо проиллюстрировал художник К. А. Сомов. Книга вышла в 1918 году ограниченным тиражом и отпечатана в лучшей петербургской типографии «Р. Голике и А. Вильборг». Причем у В. В. Тарноградского экземпляр полный — в «открытом» состоянии (260 с.). Таких было изготовлено ничтожное количество.

«Маркиза» заслуживает, понятно, приличествующего наряда. Куциевский облек экземпляр в кожу, на форзацы пошел шелк. Обрез торшонирован. Специальный футляр отделан индийской парчой...

Немало уникальных переплетов представлено в библиотеке В. В. Тарноградского. Их жизненный путь проследить трудно. Но направление поисков порой обозначено наклеенными на них книжными знаками. Среди бывших владельцев волюмов, оказавшихся ныне в Дрогобыче, — крупные библиофилы. Я вижу экслибрисы П. Д. Норова, С. Д. Шереметева, В. С. Шереметева, А. С. Мазурина, С. Н. Крейтона, Н. К. Синягина, Е. Н. Тевяшова, В. Я. Адарюкова, М. Гинзбурга, В. С. Савонько, Т. Р. Крыжановского, П. Н. Мартынова, С. Л. Маркова...

За этими именами для просвещенного книголюбa встают страницы отечественного собирательства. Вот, к примеру, Сергей Леонидович Марков. Ленинградцы знают, какая выдающаяся была у него библиотека. Его экслибрис на переплете гарантирует: издание это — высшего библиофильского ранга.

К В. В. Тарноградскому перешел ряд марковских книг, и среди них — «Поль и Виргиния» Бернардина де Сент-Пьера

(Париж, 1887). Один из десяти экземпляров (общий тираж — 100 экземпляров), снабженных пятью сюитами гравюр и раскрашенными акварелями. Изумительный полный марокен с золототисненной рамкой исполнен первоклассным французским мастером Шамболле-Дуру. Как раз этот экземпляр и был в 1887 году представлен в Париже на выставке лучших современных переплетов. Рядом с экслибрисом С. Л. Маркова красуется теперь знак самого В. В. Тарноградского (работы М. М. Верхоланцева) с изображением оленя, пришедшего напиться к водопаду. Есть в собрании и знаменитое кюрмеровское издание той же книги (на французском языке) 1838 года.

* * *

Рассказать в подробностях об этой незаурядной библиотеке так же трудно, как передать содержание какого-нибудь многопланового романа. Здесь все отстоялось, притерлось друг к другу, образовало монолит. Составлялась библиотека долго, с великим тщанием. Ее надо бы, как и роман, листать страницу за страницей, экземпляр за экземпляром.

Если следовать хронологии, то начать нужно было бы с «Езды в остров любви» (Спб., 1730) — французского аллегорического романа, переведенного на русский язык «через студента Василья Тредиаковского». На гравированном фронтисписе — корабль, приближающийся к желанному острову. Издание это — своего рода эталон библиографической редкости. Уже в XVIII веке оно было почти ненаходимым. Существует версия, будто переводчик, недовольный своим детищем, решительно истребил все экземпляры, какие сумел заполучить. Книга у Всеволода Валериановича заключена в цельнокожаный переплет того времени с двумя завязанными в узелки тесемками. Напомню, что «Ездой в остров любви» особенно дорожил Иван Никанорович Розанов, в собрании которого было, как известно, немало и других раритетов.

Из относящихся к XVIII столетию достопримечательностей назову самое помпезное издание века — «Обстоятельное описание торжественных порядков благополучного вшествия в царствующий град Москву и священнейшего коронования... имп. Елисавет Петровны...» (Спб., 1744). Эта монументальная, ин-фолио, книга печаталась почти три года под наблюдением и при участии самых квалифицированных типографских специалистов. Она включает, помимо фронтисписа (портрет императрицы), гравированного титульного листа и двух виньеток, еще 49 иллюстраций, выполненных с небывалым совершенством в технике гравюры на меди. К тому же экземпляр

подносной, на особой толстой бумаге, в цельнокожаном переплете эпохи с тисненными на корешке царскими регалиями. Книга пришла к Всеволоду Валериановичу от его московского друга и наставника В. Н. Васильева.

Начало XIX века представлено у В. В. Тарноградского художественными увражами — библиофилы всегда испытывают к ним чувство благоговения. Особенно к экземплярам без единого изъяна. Именно таков альбом иллюстраций гр. Ф. П. Толстого к «Душеньке» И. Ф. Богдановича (1839), над которым художник трудился много лет. Он содержит 62 нумерованных гравюры контуром. Еще один альбом — «Виды Петербурга» (Спб., 1822). Выходившие на заре русской литографии, эти листы были собраны тогда же каким-то любителем и одеты в переплет. Почти все работы в альбоме исполнены Карлом Бегровым.

Всеволод Валерианович не скрывает своей страсти к фолиантам — вес и форма книги имеют на него, и не только на него, какое-то особое влияние. Стало быть, есть тут некий психологический парадокс... Но не пройдет Всеволод Валерианович и мимо скромного по размеру издания или даже мимо брошюрки, ежели на них начертаны достойные имена.

Он немало гордится коллекцией прижизненных изданий русских литературных классиков. Да и как иначе, если это, скажем, «Владимир возрожденный» М. М. Хераскова (М., 1785), «Певец на Кремле» В. А. Жуковского (Спб., 1816) с прелестной гравюрой С. Ф. Галактионова, пушкинские «Руслан и Людмила» (Спб., 1828) и «Борис Годунов» (Спб., 1831), первое издание грибоедовского «Горя от ума» (М., 1833), «Пестрые сказки...» В. Ф. Одоевского (Спб., 1833), «Тарантас» В. А. Соллогуба (Спб., 1845), некрасовские «Стихотворения» (Спб., 1856) и др. Эти и подобные им книги находятся у В. В. Тарноградского в безукоризненном состоянии, имеют, как правило, обе обложки и кожаные или картонажные переплеты современной им эпохи.

Специальный раздел составляют издания, известные своей исключительной судьбой. Назову хотя бы «Исследование о скопческой ереси» В. И. Даля (Спб., 1844) и одноименный труд Н. И. Надеждина (Спб., 1845). Первая книга вышла в свет тиражом менее 20 экземпляров, из которых многие погибли, вторая — 25 экземпляров. Обе — со всеми приложенными к ним литографиями (во второй они раскрашены от руки), обе — в нетронутых марокенах.

К этой же категории раритетов следует отнести ранний сборник А. С. Суворина, когда автор еще ходил в нигилистах, — «Всякие. Очерки современной жизни» (Спб., 1866). По

постановлению суда, признавшего сборник вредным, он был запрещен и уничтожен... Сто экземпляров—таков тираж «Воинского устава, составленного и посвященного Петру Великому генералом Вейде, в 1698 году» (Спб., 1841), напечатанного по высочайшему повелению. Экземпляр Всеволода Валериановича—в зеленом сафьяне, с золотым тиснением на досках, с золотым же обрезом—был в свое время персонально описан в каталоге № 105 петербургского антиквара Н. В. Соловьева... Из того же каталога нетрудно выяснить: в малом количестве экземпляров выпущена «Охота в Беловежской пуще» (Спб., 1861) с рисунками М. А. Зичи. Книга раздавалась высокопоставленным участникам охоты и в продажу не поступала... Офортная сюита В. Н. Масютина «Семь смертных грехов» (М., 1917)—двадцать три отдельных листа в гобеленовой папке—оттиснута самим автором. Экземпляр № 6 из десяти отпечатанных, прежде принадлежавший Кюри, теперь у В. В. Тарноградского...

Что и говорить, все эти издания, по библиофильским меркам, самого высокого класса! Честь и хвала любителям, которые не дают им погибнуть, затеряться, исчезнуть с лица земли!

Обращает на себя внимание и хранящаяся у В. В. Тарноградского подборка литературных альманахов и сборников минувшего столетия. Это такие редкости, как болгаринская «Русская Талия» (Спб., 1825) с публикацией фрагмента из «Горя от ума», оба издания смирдинского «Новоселья» (Спб., 1833, 1846) со всеми обложками и гравюрами, «Сто русских литераторов» (Спб., 1839—1845), «Физиология Петербурга» в двух частях (Спб., 1845), «зарезанный» цензурой «Иллюстрированный альманах», изданный И. Панаевым и Н. Некрасовым (Спб., 1848) со всеми картинками, в том числе с обеими запрещенными еще первоначально карикатурами, «Литературный сборник с иллюстрациями» (Спб., 1849), подготовленный редакцией журнала «Современник», и др.

Питая особые симпатии к творцу «Ревизора» и «Мертвых душ», Всеволод Валерианович собрал своеобразную графическую гоголиану. Сюда относятся альбомы с гоголевскими типами, выполненные рисовальщиками А. Агиным, П. Боклевским, гравером Е. Бернардским, литографом В. Пуговошниковым и иными... Если уж речь зашла о художественных изданиях XIX века, то нельзя среди них не упомянуть и следующие: «Пословицы в карикатурах» П. И. Анненского (Спб., 1855), «Сцены из вседневной жизни. Рисунки П. А. Федотова» (Спб., 1857), альбомы сатирических сюжетов «Знакомые» и «Листок знакомых» (Спб., 1857, 1858) с участием

Н. А. Степанова, литографированные тетради по оригиналам А. И. Лебедева «Погибшие, но милые создания» (Спб., 1862—1863).

Чтоб завершить общие контуры этого своеобразного личного собрания, добавлю, что в нем можно найти комплекты трудов Д. А. Ровинского, все, что было выпущено Кружком любителей русских изящных изданий, все книги, иллюстрированные А. Н. Бенуа, большинство изданий, вышедших из типографии Товарищества «Р. Голике и А. Вильборг», монографии по искусству вплоть до наших дней, прекрасную подборку справочной библиографической литературы (ее украшение — подносный экземпляр, № 15 из 25, трехтомной «Библиотеки Д. В. Ульянинского» с дарственной надписью последнего В. Я. Адарюкову) и многое-многое другое.

Перечни, перечни... Разве так надо представлять библиотеку? Но что делать, если книг тут изрядно и почти каждая по-своему примечательна?! Обзорение поневоле становится выборочным, беглым.

Но об одном издании нельзя не рассказать подробнее. Вы, разумеется, уже догадались. Конечно же, о «Византийских эмалях А. В. Звенигородского».

* * *

Полное и правильное название этой книги, как оно обозначено на титуле, таково: «История и памятники Византийской эмали. Сочинение Н. Кондакова, профессора С.-Петербургского университета и старшего хранителя императорского Эрмитажа» (Спб., 1892).

Александрю Викторовичу Звенигородскому сопутствовал успех не только на административном поприще (он состоял на службе в Государственной канцелярии), но и на собирательской ниве. Ему посчастливилось составить коллекцию древних византийских эмалей, равной которой не было на свете. Этой коллекции и посвящено издание, выпущенное на средства самого А. В. Звенигородского.

Об этой книге часто можно найти сделанные вскользь упоминания. Но лицезреть ее доводилось далеко не каждому. А ее надобно именно лицезреть, ибо это не просто интересная по содержанию монография, но и памятник полиграфического и иллюстрационного искусства. Не случайно у нее имеется свой спутник (встречаемый, кстати, еще реже — тираж всего 150 нумерованных экземпляров! — но и он есть у Всеволода Валериановича) — специальный труд В. В. Стасова «История книги „Византийские эмали“ А. В. Звенигородского» (Спб.,

1898). Отсюда мы и почерпнем сведения о всех перипетиях этой необычной издательской эпопеи.

Оказывается, не последнюю роль сыграло тут чувство национального престижа. В годы Крымской войны Наполеон III выпустил за счет казны красивейшую книгу «Imitation de Jésus-Christ» (1855), которая должна была своим совершенством потрясти мир. Предприимчивый император разослал даровые экземпляры во все страны, исключая враждебную Россию. И вот теперь в пику парижским типографам было задумано отпечатать «Византийские эмали» с немислимой доселе роскошью. Научное описание коллекции взялся осуществить ведущий византист той поры — проф. Н. П. Кондаков, впоследствии академик. Самое горячее участие, вплоть до непосредственного наблюдения за рабочими операциями, принял в этом деле В. В. Стасов.

Книга вышла общим тиражом 600 экземпляров, по 200 экземпляров на русском, французском и немецком языках.

...Всеволод Валерианович достает со всеми предосторожностями огромный футляр. Распахиваются подбитые белым муаром створки, и взору является... нет, еще не сама книга, а толстая шелковая суперобложка, которая предназначена для защиты от механических повреждений выпуклых деталей переплета. На ней вытканы имя и фамилия А. В. Звенигородского.

Откинув красный шелк, видим, наконец, массивный том, в большой лист. По белой шагреновой коже тиснуто золотом с черным фоном. Еще не открывая переплета, можно долго любоваться царственной пышностью убора. На обрез ручным способом нанесены золотом и красками византийские узоры.

А чего стоит закладка! Широкая лента, сотканная из разноцветного шелка с золотыми и серебряными нитями, прикреплена витыми шнурочками. На закладке вышит древнегреческий стих из Еврипида. В переводе на русский язык он звучит так: «Разверни эти говорящие листы, прославляющие мудрых».

Последуем совету и откинем крышку переплета. Посвятельный лист Александру III, оформленный архитектором И. П. Ропетом, отпечатан алюминием, а тогда этот только что открытый металл был дороже золота.

Все выполнено для этого издания по особому заказу. Эмали срисовали лучшие столичные графики. Шелк на суперобложку и закладку поставил московский фабрикант Сапожников. Бумага отлита в Страсбурге. Переплет изготовлен лейпцигской фирмой «Гюбель и Денк». Изображения в цвете воспроизведены с камня литографическим заведением Августа

Остеррита из Франкфурта-на-Майне, где были отпечатаны также французский и немецкий тексты (отечественный — в петербургской типографии М. М. Стасюлевича).

Так что к «русскому чуду» (слова В. В. Стасова) приложила руку и Европа...

Хотя на титуле обозначен год 1892-й, работы по изданию, начатые в 1882 году, закончились только в 1894 году. Все 600 экземпляров были безвозмездно разосланы А. В. Звенигородским по музеям, публичным библиотекам, а также по адресам именитых ученых обоих полушарий. «Русское чудо» с триумфом шествовало по свету.

Надо ли говорить о том, сколь редки сейчас «Византийские эмали» и как дорожит ими В. В. Тарноградский? Тем более, что его экземпляр (№ 109, на русском языке) действительно не ординарный. Лишь к немногим экземплярам — для близких и друзей — А. В. Звенигородский распорядился приложить свой портрет, награвированный В. В. Матэ. № 109 с таким портретом был преподнесен москвичу Николаю Михайловичу Постникову, владевшему лучшим тогда частным собранием икон в России. На одной из страниц наклеен конверт с визитной карточкой А. В. Звенигородского и пометкой Н. М. Постникова: «Получено 27 января 1895 года».

Вот с какой необыкновенной книгой довелось мне встретиться на Львовщине.

...О Дрогобыче я еще из школьных учебников помнил: там мощные нефтеперегонные заводы. Потом, уже став постарше, узнал: рядышком расположен популярный курорт Трускавец с лечебной «Нафтусей». Теперь же для меня Дрогобыч — это еще и замечательное книгохранилище доктора Всеволода Валериановича Тарноградского.

СОКРОВИЩА ХЕЛЬСИНКСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ

В день 14 июля 1640 года, в послеобеденный час, по затихшим от зноя улицам Або разнеслась барабанная дробь. Ей вторили звуки труб. Показавшиеся вскоре глашатаи призвали всех граждан принять участие в торжестве по случаю учреждения в городе Академии, или, как стали называть позже, университета.

Университет, или Академия Абовская, которую иногда называли еще Аурической, или Христианской, занял тот самый дом, где раньше находилась гимназия. Все помещение состояло из пяти комнат, которые зимой были невыносимо холодными. Библиотека Академии размещалась в ящиках и сундуках. Для нее местный проканцлер Браге выпросил у королевы Христины 87 томов, которые привез в Або еще в 1648 году. Тогда же была учреждена и должность библиотекаря.

История вторгалась в судьбы абовских книжных сундуков, то опустошая их, то вновь наполняя. С заключением Петром I Ништадского мира Абовский университет возрождается, но война 1742 года вновь нарушает его деятельность; и лишь немного позднее Абовский университет начал более спокойную жизнь в новых стенах.

В истории любой библиотеки, наверное, найдутся хранители, которые оставляют особый след в ее судьбе. У Абовской библиотеки таким человеком был Г. Портан. Если Браге был ее основателем, то Портан, вступивший в должность библиотекаря в 1772 году,—ее настоящим хранителем. Одновременно он руководил кафедрой красноречия, читал лекции по истории, языку, философии, литературе, которые собирали многочисленных слушателей. При нем были начаты алфавитные каталоги; он же написал подробную историю библиотеки. Умер Портан в 1804 году, любимый и почитаемый всеми, а мраморный бюст его и поныне украшает абовскую коллекцию.

ПОЖАР

Десять тысяч человек скорбели
на берегах осиротевшей Ауры.

А. Я. Грот

«По решению университетской коллегии, Маттиас Акиандер, закончивший курс похвально и со званием магистра истории и переводчика, оставлен в Або для изучения документов российских и финляндских, происхождение и имя народов сих разъясняющих». С таким документом молодой человек предстал пред седовласым хранителем университетской библиотеки.

Маттиас жил далеко от центра. В город иногда приходилось ездить на извозчике. Книги были тяжелы, а брать их для работы нужно было много. Его комната, как и весь дом, была как будто срублена из свежего светлого дерева, а весеннее апрельское солнце делало ее еще более приятной. Работалось легко, русская история в изложении древнейших русских летописцев становилась все понятнее и ближе.

Перед ним были «Русская летопись по Никонову списку», изданная под «смотрением» Академии наук в Санкт-Петербурге в 1767 году, только что вышедшая в 1824 году «Летопись Нестора по древнему списку мниха Лаврентия», «Летописец русский от пришествия Рюрика до кончины царя Ивана Васильевича», изданный в Москве в 1781 году, а также «Летописец, содержащий в себе российскую историю от 852 года до 1598 года», изданный в Москве в 1819 году.

Как-то вечером, рассматривая очередной том, на котором, как и на всех книгах библиотеки Або, была оттиснута позолоченная печать, Маттиас вдруг заметил яркие отблески на книге. Он бросился к окну и увидел наяву горящий город...

Пожар в Або уничтожил почти половину построек. Библиотека сгорела дотла. Оказались спасенными всего 23 книги, которые были вне ее стен, в частности, у Маттиаса Акиандера. К ним были присоединены еще 800, находившихся в Абовской семинарии, которой пожар не коснулся. Эти книги и составили фонд новой библиотеки. Она стала формироваться в городе Гельсингфорсе (ныне Хельсинки), куда был переведен после пожара финляндский университет.

Много русских книг сгорело...

Но откуда же появились они в Финляндии?

Во-первых, многие были посланы из России на основании известного указа Александра I от 1820 года. Указ хранился в архивах канцелярии Абовского университета. В соответствии с ним университет и получал книги в течение 1822—1824 годов.



Зал каталогов Хельсинкской университетской библиотеки

О некоторых исчезнувших во время пожара книгах стало известно из сообщения чешского слависта Добровского, посетившего Абовскую библиотеку до ее гибели. Оно было озаглавлено: «Литературное сообщение об одной из причин богемского научного общества совершить в 1792 году путешествие в

Швецию и Россию» и вышло в том же году. Добровский назвал такие книги, как «Триодион» (1699), «Псалтирь» (1701), «Пентикостарион» (1680), «Камень веры» (1728), «Честное зеркало» (1696), «Славянская грамматика» Фернера, «Степенная книга», «Хронограф» конца XVII века.

В 1828 году в Российской империи появился новый закон о цензуре, в котором говорилось, что «каждый комитет и цензор, помимо двух обязательных экземпляров книги для работы, должен иметь еще один, чтобы посылать его в университетскую библиотеку в г. Хельсинки». После пожара в Або был объявлен призыв ко всем университетам, академиям и даже школам по всей империи — посылать дубликаты своих книг в Финляндию.

Российская Академия таким образом передала часть лекций своих книг, дубликаты которых она имела. В результате сразу же были получены 4 тысячи томов. Большое число изданий прислали университеты Петербурга, Москвы, Вильно, Харькова, Казани.

Редчайшие экземпляры книг попали в Хельсинки из русских школ. Так, произведения, датируемые XVII веком, поступили от школ бывшего Черноморского округа, среди них, например, «Зерцало богословия» иеромонаха Кирилла Транквиллиона, напечатанное в Почаеве в 1618 году, и издание книги Леонтия Карповича 1615 года, обе принадлежавшие Екатеринодарской гимназии. Ей они были в конце XVII века вручены украинскими казаками, приехавшими на Кавказ по приказу Екатерины II. Казаки имели в Киеве свой монастырь, который назывался Межигорский. На книгах, вышедших из монастыря, написаны имена владельцев. На «Зерцале богословия» имеются интереснейшие рукописные пометы, из которых следует, что книга происходит из Межигорского монастыря. На одном чистом листе стоит надпись, начинающаяся словами: «Посылаю письмо цесарю в Вильна...» Предполагается, что в содержании этого письма есть запись о Полтавской битве и известие об измене гетмана Мазепы. Видимо, из тех же мест происходит «Лексикон славенороссийский имен толкование всечестным отцом из Киева Памвою Берындюю згромаженный» 1653 года.

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ВКЛАД»

Однако наиболее крупным даром был так называемый «александровский вклад» 1832 года, вклад Павла Александрова. Павел, или, как его называли, Поль Александров (мать его — французская актриса Фридрихс) в 1812 году был произ-

ПРИВИЛЕГІЯ
и
УСТАВЪ
ИМПЕРАТОРСКОЙ
АКАДЕМІИ
ТРЕХЪ ЗНАТНѢЙШИХЪ ХУДОЖЕСТВЪ,
Живописи, Скульптуры и Архитектуры,
съ воспитательнымъ
при оной академіи училищемъ



Въ Санктпетербургѣ 1765. года.

веден в дворянское достоинство и четырех лет от роду записан юнкером лейб-гвардии в конный полк. Он дослужился до звания генерал-адъютанта.

«Александровский вклад» содержал ценные коллекции двух библиотек: князя Константина Павловича и Мраморного дворца.

Первая из них, то есть библиотека Константина Павловича, была значительно больше библиотеки Мраморного дворца и состояла из книжных коллекций, собранных в свое время Корфом.

БИБЛИОТЕКА КОРФА

Этот большой любитель книг и неустанный их собиратель принадлежал к небогатой ветви древнего курляндского рода. Он был президентом Академии наук и, кроме того, участвовал в дипломатической борьбе, которую вели Россия, Швеция и Дания в первой половине XVIII века.

Именно Корфу мы обязаны тем, что из Московской славяно-греко-латинской Академии прибыл в начале 1736 года в столицу в числе других 30 юношей Михаил Васильевич Ломоносов. Корф писал Сенату, что «согласно намерениям Петра Великого, необходимо собрать при Академии до 30 человек молодых людей, которые обучались бы при ней с целью впоследствии сделаться академиками».

По этому представлению и состоялся указ Сената о присылке молодых людей в Петербург. Трое из них — в том числе и Ломоносов — были затем отправлены Корфом за границу для усовершенствования в науках. Видимо, часть библиотеки Ломоносова из Хельсинкского собрания входила в коллекцию Корфа.

Академическая деятельность Корфа была плодотворной, хотя и недолгой. Вступив в управление Академией в ноябре 1734 года, он в 1735 г. направил в Сенат доклад об увеличении штата, в 1738 году — об организации второй экспедиции на Камчатку. По его инициативе готовилось при Академии новое издание «Уложения Царя Алексея Михайловича», прежде напечатанного в бывшей Сенатской типографии, «Указов» с 1714 по 1725 год. В 1739 году Корф учредил при Академии географический департамент. Через шесть лет его деятельности был издан первый Атлас России.

Еще в 1731 году Корф начал переговоры с Шумахером по поводу покупки книг из академической книжной лавки. С тех пор эти переговоры, как и покупка, не прекращались. Через академическую лавку Корф приобретал множество книг. Со

своей же стороны он постоянно присылал в Академию книги, особенно, когда бывал за границей. К концу жизни он собрал библиотеку, насчитывавшую 36 тысяч томов. Она включала книги по всем областям знаний. Пополнение библиотеки, ее устройство, ведение каталога было одним из его любимых занятий.

Именно библиотеке Корфа принадлежали, видимо, первые издания Академии наук в Санкт-Петербурге. Напечатанные в те годы произведения М. В. Ломоносова могли попасть в Хельсинки и из собрания семьи Орловых, о чем будет сказано ниже.

Помимо большой библиотеки Корф имел обширное собрание документов, относящихся к истории Курляндии. Отметим, что Корф не только собирал книги. По словам одного современника, «самые сложные работы Академии не превосходили круга его знаний». Он обеспечивал своими книгами разных ученых и внимание своим петербургским сотрудникам оказывал до конца жизни, будучи уже на дипломатическом поприще — посланником в Стокгольме и Копенгагене. Так, Миллеру он переслал копии с древних грамот, которые были доставлены ему Любекским синдиком Дрейером из местного архива. Бюшингу он прислал в подарок из Дании и Швеции несколько старинных грамот.

Постоянным приобретением книг Корф подорвал свое материальное положение и впал в долги. Он вынужден был продать библиотеку. Это случилось в 1748 году, когда находился в Копенгагене. Корф продал ее Екатерине II для будущего наследника трона при условии, что до своей смерти он один будет распоряжаться библиотекой.

В 1766 году, сразу же после смерти Корфа, библиотека была переведена из Копенгагена в Петербург, а в 1783 году размещена в Гатчинском дворце.

БИБЛИОТЕКА ОРЛОВЫХ

У Григория Орлова в его Гатчинском дворце уже было значительное собрание, состоящее преимущественно из французских авторов. Григорий Орлов основал библиотеку еще в своем имении «Отрада», в то время Серпуховского уезда Московской губернии. Коллекцию пополнил его брат — Владимир Григорьевич Орлов, бывший долгое время директором Академии наук.

В «Отраде», в массивных дубовых шкафах, за медной решеткой стояли тысячи книг в кожаных, богато позолоченных

переплетах. Сочинения по истории, естествознанию чередовались с томиками Вольтера и Руссо. Много книг было старообрядческой литературы. Рядом стояли полные собрания греческих и латинских авторов и большая коллекция старопечатных русских книг, купленная у наследников известного собирателя и коллекционера И. Н. Царского, а также замечательные греческие рукописи, собранные во время путешествия Орлова по Греции и Малой Азии.

Бывший директор Академии наук посвящал часов шесть в день чтению.

Владимир Григорьевич Орлов особое внимание обращал на книги для юношества, на различные системы обучения. План преподавания наук озаглавил он так: «Система расположения человеческих познаний».

Вероятно, часть коллекции семьи Орловых попала в Мраморный дворец (до перенесения туда собрания Корфа из Гатчинского дворца), получив название библиотеки графа Орлова. Об этом свидетельствует нынешний подзаголовок каталога Хельсинкской библиотеки. Коллекция Мраморного дворца представляет для нас особый интерес в связи с наличием в ней книг, принадлежавших М. В. Ломоносову, со следами собственноручных его помет и комментариев.

Может быть, ломоносовские книги попали в коллекцию еще в те времена, когда Корф был хранителем библиотеки?

Несколько лет назад вышел труд историка Г. М. Коровина, который указал, что до нас случайно дошли только отдельные экземпляры книг, принадлежавших ученому и сохранивших следы его работы. Коровин воссоздал состав библиотеки Ломоносова, опираясь на упоминания и ссылки, на отдельные произведения, мемуары, письма, биографические справки современников. Каталог, составленный советским исследователем, охватывает около 700 названий книг, рукописей, периодических изданий.

Сверка каталога библиотеки Мраморного дворца и списка Коровина показала совпадение 134 названий книг, о которых достоверно известно, что они принадлежали Ломоносову и использовались в его трудах. После проверки советскими исследователями лишь части книг, ныне находящихся в Хельсинки, были найдены пометы и приписки Ломоносова еще на 37 книгах и рукописях, которые дают новые данные для изучения творческой лаборатории ученого.

Интересны также первые прижизненные издания М. В. Ломоносова, находящиеся в библиотеке.

СОБРАНИЯ ДОЛГОРУКОВА И МАТВЕЕВЫХ

На некоторых книгах и рукописях Хельсинкской библиотеки есть пометы, свидетельствующие о том, что они принадлежали Матвеевым и Долгорукову.

Матвеевы обладали очень любопытным собранием книг, в количестве около 1300 томов, состоявшим из политических и философских трудов XVII и начала XVIII века на русском и иностранных языках.

Андрей Артамонович Матвеев — сын Артамона Сергеевича Матвеева, приближенного царя Алексея Михайловича. Артамон Матвеев — заметная фигура конца XVII века. Побывал он в ссылке, в тех местах, где томился опальный протопоп Аввакум — в Пустозерске и на Мезени. Смерть царя Федора и избрание на престол Петра Первого в 1682 году упрочили положение рода Нарышкиных. Матвеев приехал в Москву вечером 11 мая, а 15 мая 1682 года разыгрался стрелецкий бунт, одной из первых жертв которого он и стал. Матвеев был убит на глазах царской семьи, сброшен с кремлевской стены на площадь и изрублен. Сын, Андрей Артамонович, разделил с отцом ссылку в Пустозерск и Мезень и был свидетелем его конца. Он тоже едва не поплатился жизнью. Вскоре Андрей Матвеев стал одним из видных сотрудников Петра Первого. Он получил отличное образование: изучал иностранные языки, неоднократно бывал за границей. Сохранился его рукописный перевод «Анналов» Барония. Во времена Петра он был послом в Голландии, затем — при Австрийском дворе.

Исполнял Матвеев и обязанности президента Московской Сенатской канторы, а затем Юстицколлегии в Петербурге. Жена Матвеева также была образованной женщиной. В Хельсинкском архиве найден листок с перечнем книг, «которые были получены от графа и графини Матвеевых». При сопоставлении этого перечня с коллекциями Мраморного дворца оказалось возможным идентифицировать некоторые книги.

Крупным сановником времен Петра I был и Григорий Федорович Долгоруков. Знание иностранных языков было тогда довольно редким явлением, и, когда Петр I собирался отправить посольство в Рим, чтобы склонить папу Климента действовать в Польше против Станислава Лещинского, возведенного на престол шведским королем Карлом XII, выбор пал на Долгорукова. Но все же ему не повезло: в Рим был послан князь Куракин, а Долгоруков долгое время оставался в тени. Вновь возвысился он при Петре II. Он уже готовился стать родственником царской фамилии при помощи брачного союза его дочери с императором. Однако честолюбивым замыслом

семейства Долгоруковых не удалось сбыться. Петр II простудился и умер как раз в день, когда была назначена свадьба с дочерью Долгорукова.

Видимо, в это время он занялся коллекционированием книг. Предполагают, что из долгоруковского и матвеевского собраний происходят многие весьма ценные рукописи хельсинкской коллекции.

Всего в хельсинкской коллекции насчитывается около 80 рукописей разной ценности. Самая древняя из них — пергаментный лист из «Апракоса», написанный уставным письмом XIII века. К XIII веку относится также пергаментный лист из «Пролога» («Четгы-Минеи» на декабрь). К XIV столетию — пергаментный лист из «Летописи городецкого Феодоровского монастыря». Есть четыре рукописи XVI века. Однако наибольшее число рукописей относится к XVII и XVIII веку.

Из библиотеки Артамона Матвеева происходит рукопись «Летописец вкратце». «Летописец» содержит сведения по истории торговли и торговых связей России в XVI и XVII веках. Впоследствии он был положен в основу «Хроники» М. В. Ломоносова.

Существует мнение, что библиотека Долгорукова была присвоена или куплена Корфом и разделила судьбу его собрания. Но некоторые считают, что она никогда не была в собрании Корфа и принадлежала первоначально библиотеке Мраморного дворца, то есть библиотеке графа Орлова. Об этом свидетельствует тот факт, что в Гатчине до ее перемещения в Мраморный дворец, не было ни одной книги с экслибрисом Долгорукова и, таким образом, Екатерина II до покупки этой библиотеки пользовалась собраниями Матвеева и Долгорукова, которые она могла иметь в своем распоряжении в Мраморном дворце. Корф же мог пользоваться книгами Долгорукова только в то время, когда он уже продал свою библиотеку Екатерине II и продолжал по соглашению распоряжаться коллекцией Мраморного дворца, во всяком случае, той ее частью, которая была подарена Константином Павловичем своему сыну Павлу Александрову.

РУССКАЯ БИБЛИОТЕКА ПРИ ФИНЛЯНДСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Периоды увлечения библиотекой чередовались у Константина Павловича с периодами полного к ней небрежения. Он раздаривал крупные коллекции своим родственникам и друзьям. Поль Александров, к которому после смерти отца перешла вся оставшаяся библиотека, продолжил отцовские «традиции». Он, в свою очередь, из старой части библиотеки Мраморного

Русская книга XVIII в., хранящаяся в Хельсинкской университетской библиотеке

БИБЛИОТЕКА
РОССИЙСКАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ,
содержащая
ДРЕВНІЯ ЛѢТОПИСИ,
и всякія записки,
способствующія
къ объясненію
истори и географіи российской
древнихъ и среднихъ временъ.
Часть I.

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ
При Императорской Академіи Наукъ
1767 года.

дворца и Корфского собрания всю юридическую литературу, около 3 тысяч томов, подарил университетской библиотеке города Дерпта (ныне Тарту).

Оставшиеся коллекции Гатчинского и Мраморного дворцов были пожертвованы как вклад Хельсинкскому университету. Они насчитывали 24 тысячи томов, из которых около 5 тысяч представляли собой произведения художественной литературы.

Книги «александровского дара» в хельсинкской библиотеке имеют отличный признак. На обратной стороне их обложки стоит печатный номер, обозначающий место книги в шкафах Мраморного дворца.

Все эти книги с самого начала их пребывания в Хельсинки оставались сложенными на полках, поскольку не хватало места для библиотеки. В 1842 году началось строительство здания специально для университетской библиотеки, которое вскоре было закончено. Здание и поныне украшает финскую столицу.

При перемещении в новое здание русские книги были выделены из коллекции для создания специальной библиотеки,

названной «Русская библиотека при Финляндском университете». Первым ее хранителем был Яков Карлович Грот, приехавший из Петербурга и поселившийся в Хельсинки в 1840 году.

Грот родился в 1812 году и учился в знаменитом Царско-сельском Лицее. В 1832 году поступил на службу в канцелярию комитета министров. Он оставил значительный след в русской литературе. Много писавший еще в лицейский период, он в 1837 году сделал перевод «Мазепы» Байрона и поместил его в «Современнике». Там же он печатал статьи по истории и литературе. Стихотворный перевод поэмы Тегнера «Фритьоф», снабженный комментариями по мифологии скандинавских народов, еще в рукописи обратил на себя внимание В. А. Жуковского.

В 1842 году, во время пребывания в Финляндии, Я. К. Грот становится профессором русского языка, истории и литературы, получив вновь учрежденную кафедру при Хельсинкском университете. В 1843 году Грот становится официальным хранителем библиотеки, и эта должность с того времени стала передаваться как бы по наследству вместе с должностью профессора русского языка и литературы Хельсинкского университета.

После отъезда в Петербург, Грот, оценивая проделанную им работу по комплектованию книгами библиотеки в Хельсинки, писал: «...главным результатом моей деятельности, как профессора Хельсинкского университета, было то, что этот университет, а также жители города имели благодаря моей настойчивости русскую библиотеку, книгами которой они могли бесплатно пользоваться».

Русская библиотека после отъезда Грота оставалась в том же помещении до 1888 года.

А преемниками его стали преподаватели русского языка и литературы в университете Стефан Барановский, Маттиас Акиандер, Фритьоф Арвид Норквист и Виктор Семенов.

Семенов привел в полный порядок русские коллекции и сообщил 15 февраля 1895 года университетскому совету, что русская библиотека насчитывает 47 тысяч томов, на которые составлены систематический и другие каталоги.

Продолжил дело Семенова Юзеф Мандельштам, также профессор Хельсинкского университета. Поскольку коллекции университета стали уже весьма многочисленными, возникла необходимость в специальном хранителе, который занимался бы только библиотекой. Таким человеком стал Андрэ Игельстрем.

Игельстрем был автором проекта, согласно которому русская коллекция стала частью славянской секции универси-

тетской библиотеки, то есть к ней были добавлены коллекции на польском, чешском и сербохорватском языках.

Игельстром работал до своей смерти в 1927 году. Его непосредственными продолжателями стали Яло Каалима и Юлиус Миккола — впоследствии известные финские ученые.

Славянская секция долгое время занимала подземный коридор библиотеки Хельсинкского университета, который несколько раз реконструировали для обеспечения хорошей сохранности книг. Это осуществлялось уже при новом директоре библиотеки докторе Йорма Валлинкоски, который отделил от библиотеки русские научные коллекции, в частности, издания Академии наук. Он же установил многочисленные контакты с советскими библиотеками.

Для лучшей сохранности книг и лучшего размещения коллекций в июле 1974 года славянская секция библиотеки Хельсинкского университета была переведена в отдельное помещение и отделена от других коллекций.

СЛАВЯНСКАЯ СЕКЦИЯ БИБЛИОТЕКИ ХЕЛЬСИНКСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Она расположена на тихой, пустынной улице финской столицы. Метров двести отделяет ее от старинного городского парка, в котором еще заметны следы увлечения парковым искусством середины прошлого столетия, а также от набережной и причала, где частые гости — советские суда из Ленинграда и Таллина.

Славянская секция насчитывает сегодня около 300 тысяч томов. Она почти такая же, как и финляндская секция, но в 4 раза уступает ей по количеству иностранных книг.

Наиболее полно представлен XIX век. Коллекции предшествующих веков и последующего времени менее основательные.

Фонды славянской секции за последнее время значительно пополнились за счет целого ряда частных коллекций, полученных по завещанию, и из институтских библиотек.

В 1959 году библиотека получила в качестве вклада 13 тысяч томов, принадлежавших Валаамскому монастырю, расположенному в центре Финляндии. В настоящее время число приобретений составляет около 5 тысяч в год, из которых 25 процентов — дубликаты, предназначенные для обмена.

Библиотека имеет богатейшие коллекции периодических изданий, прежде всего, XIX века. Это — журналы литературного и более общего характера, такие, как «Молва», «Телескоп», «Отечественные записки», «Русская мысль», «Вестник Евро-

пы», исторические журналы — «Русский архив» и «Русская старина», филологические журналы (среди них встречаются довольно редкие, как «Русский филологический вестник», изданный в Варшаве, и «Филологические записки», изданные в Воронеже), журналы, изданные Академией наук, археологическим, географическим, этнографическим обществами, обществами естественных наук Петербурга и Москвы.

Интересны коллекции XIX — начала XX века, подобранные по темам. Почти полная коллекция по истории старых русских полков, коллекция материалов о русско-японской войне, коллекция по литературе о первой русской революции, собрания, посвященные угро-финскому населению России.

Славянская секция библиотеки Хельсинкского университета — это одно из наиболее крупных и богатейших собраний русских книг в Европе.

Поиски
и находки



Виктор Левченко

КАЗАЦКОЕ ЛЕТОПИСАНИЕ

I

На Украине и Кубани по сей день поют старинную казачью песню о Сагайдачном и Дорошенко, не так уж много зная о судьбах славных героев, не ведая, кто были они, чем знамениты... Да разве это важно в хорошей песне!..

Ой, на гори та женци жнуть,
А по пид горою,
По пид зеленою
Козаки йдуть.

По переду Дорошенко
Веде свое вйско,
Веде Запоріжске,
Хорошенько.

А по заду Сагайдачний,
Що проминяв жинку
На тютюн та люльку
Необачный *

По этому эпическому образцу мы создаем в своем воображении реальный образ Сагайдачного, лихого гетмана, расставшегося ради Сечи, товарищества с женой и всем, что сковывало, обременяло, а вместе с ним — и Дорошенко, не гетмана Петра, а Михаила; в походе Сагайдачного он был, как полагают, бунчужным и, по обычаю, всегда шел с гетманским бунчуком впереди войска, сопровождаемый дружиной реестровых казаков. (См.: Срезневский И. Запорожская старина. Харьков, 1835, ч. 1, с. 108. Хотя историк А. Скальковский высказывает иное суждение о Сагайдачном, считая, что поется в данном случае о кошевом Грицьке Сагайдачном,

* Текст песни приводится по сборнику «Запорожская старина» И. И. Срезневского, предназначавшегося для русского читателя.

жившем несколько позже, мысль И. И. Срезневского нам кажется более основательной: народ всегда хранит память о знаменитых, а не эпизодических героях, каких обычно бывает множество во все эпохи.)

Кажется, и сам Гоголь не избежал искуса позаимствовать у этого портрета Сагайдачного какие-то черты и краски для своего Тараса Бульбы, тоже без колебаний променявшего «жинку» на «тютюн та люльку»...

Нельзя сказать, что это поэтическое представление о запорожце было неверным, ошибочным, тенденциозным.

Казаки действительно выказывали полное презрение к дому и быту, ко всему, что отвлекало от главного — военной службы. Говорят даже, что шаровары они надевали время от времени задом наперед, чтобы не протирались колени, и — главное — чтоб не таскать с собой замены. Презрение к культуре внешней, материальной, вещественной было настолько сильным, глубоким, непреклонным, что, овладевая даже дворцами, замками и т. д., казаки не соблазнялись роскошью и продолжали жить в куренях.

Из летописей, хроник и других документов известно, что Сечь неоднократно разорялась и возрождалась в разных местах и соответственно под разными названиями: то на Великой Хортице, то на Томаковке, то на Базавлуке, то в Микитином Роге, то на реке Подпольной; была так называемая Олешковская Сечь возле Херсона, была Сечь в Слободзее, за Бугом... Понятно, что при такой тревожной и бесприютной жизни, лишенной хотя бы краткого досуга, трудно себе представить, чтобы кто-либо, как некий инок в Печерском монастыре, сидел и вел летопись. В войске был писарь (должность почетная и уважаемая), но летописец здесь не был предусмотрен. Да и те записи, которые велись, та переписка с государями, султанами и королями, что представляла ценность и хранилась в канцелярии, безжалостно и беспощадно — вместе с постройками и укреплениями — врагами уничтожалась, — до бумаг ли было казакам, когда всего важнее было сохранить жизнеспособность войска, организацию, порядок, силу? Остаться в кулаке и не рассеяться по свету?..

В самый критический момент, когда по Кучук-Кайнарджийскому мирному договору границы России отодвинулись на юг и бывший форпост — Сечь Запорожская — был ликвидирован (в это время казачьи депутаты Сидор Билый и Антон Головатый были в Петербурге, и Головатый предлагал план нового устройства Сечи, сходный с порядками донского войска), для обездоленных казаков, оставшихся без постоянно-го пристанища, первостепенным делом стало реальное восста-



*В одном из куреней.
Иллюстрация из книги Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»*



План Новой, то есть последней Сечи (1734—1775)

новление свободной сечевой организации, а не писание по теплым хаткам воспоминаний, летописей, мемуаров. Для потерявших Сечь казаков самой необходимой, жизненно насущной «летописью» с 1792 года стала земля Кубани, куда они переносили названия куреней, сам дух свой кошевой, военную организацию и силу, дух—в жизни, в деле, а не только в слове, каким бы умным и бодрящим ни было оно.

Сечь выжила, хотя и претерпела изменения в условиях степной, дикой Кубани. Переродилась, но не выродилась. Недаром Репин, работая над «Запорожцами», ездил не за днепровские пороги, на берега реки Подпольной, где находи-

лось последнее пристанище сечевиков, а на Кубань — здесь встретил он цвет сохранившегося запорожского казачества, прямых потомков тех отважных «летописцев», что сочинили свое известное письмо турецкому султану Магомету IV.

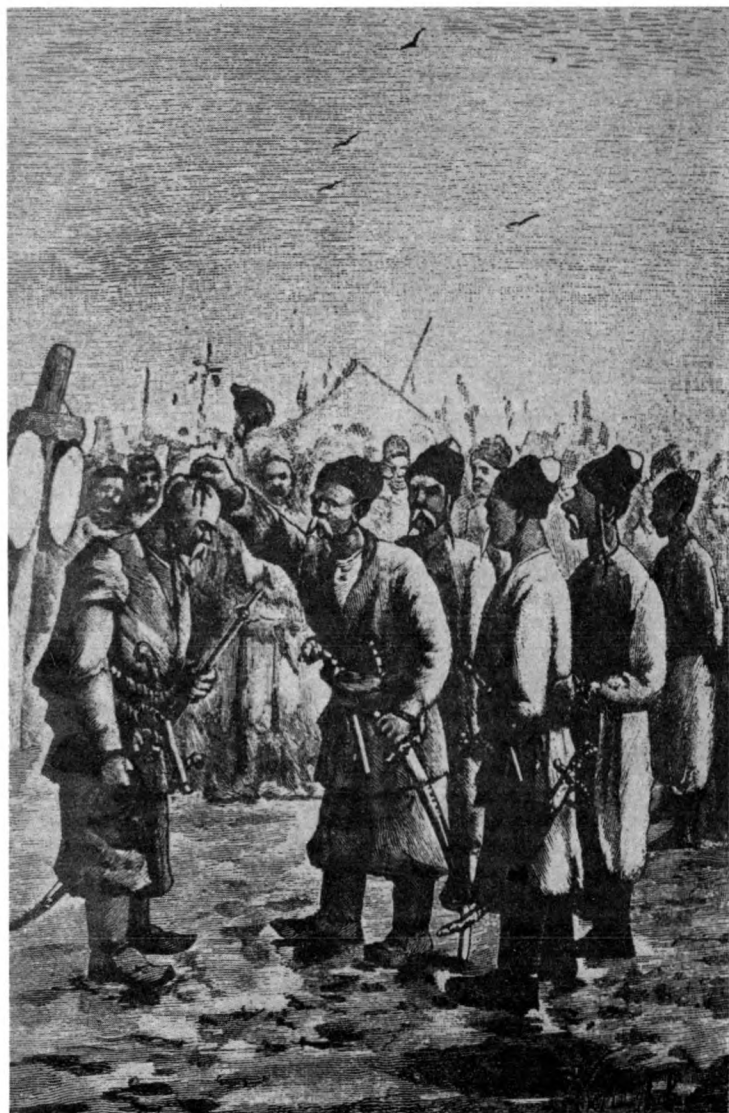
О запорожцах теперь мы судим по репинской картине как по подлинному документу. Нам кажется, все так и было: такое ж бесшабашное разгулье, такое ж простодушие и удивление перед чернильной буквой, письменным словом... Конечно же, художник прав, избрав себе сюжет необычайно живописный и характерный, но ошибаются ценители его творения, когда в гипнозе созерцания великого искусства наивно смешивают правду и поэзию, расценивая вымысел как документ.

Такое восприятие картины «Запорожцы» невольно подкрепляется в нас и текстом письма, тоном и интонацией послания, которые легко могут сбить с толку, заставить не только восхититься храбростью и остроумием казаков, но и определенно (едва ли не с укором) заключить, как легкомысленно и бесшабашно относились запорожцы к дотошной хронологии: «Числа не знаєм, бо календаря не маєм, місяць у небі, а год у книзі, а день такий і у нас, як у вас...»

Легко предположить, что человек, лишенный чувства юмора, решит, что — при подобном отношении к летоисчислению — летописание быть не должно бы, откуда ж ему взяться у этаких невежд? Однако такое толкование лишь обнаруживает в нас людей чересчур простодушных.

Даже такой искусный и прозорливый дипломат в делах житейских и политических, как Г. Потемкин, хорошо знавший быт казаков и записавшийся в 1772 году, правда, по политическим соображениям к ним в Запорожский Кош под прозвищем (таков был сечевой обычай) Грицька Нечосы¹ — и тот поддался легкому самообману. Историк А. Скальковский рассказывает, как простодушно похвалялся в 1774 году Потемкин тем, что «он написал войску такую грамоту, что в Коше никто не прочитает». Высокомерие самовлюбленного вельможи здесь разве что достоинством анекдота. «В войске не без грамотных», — скромно, с достоинством отвечал ему писарь Антон Головатый, человек образованный, высоко одаренный, своими импровизациями на бандуре покоривший Петербург (во время неудачной депутации в столицу), ставший спустя многие годы сначала войсковым судьей, затем — перед самой смертью — кошевым атаманом кубанского казачьего войска.

Как люди мудрые и осторожные, казаки не старались выказать свою ученость, книжность, а часто и вовсе притворялись невежественными и грубыми людьми, чтоб подурочить публику, над нею посмеяться. Рассказывая в документальном



Посвящение в кошевые атаманы

очерке об Антоне Головатом, Квитка-Основьяненко рисует образ умного, лукавого казака, который, на первый взгляд, дик, груб, косноязычен, бестолков, не может сказать екатеринским придворным ни одного вразумительного слова, только мычит и изъясняется междометиями, вроде «та ни», «еге», «атож» и прочее, а во дворце в присутствии Екатерины всех поражает своим искусным и изящным красноречием.

Исследователь запорожской старины А. Скальковский приводит для любопытства латинский стих, написанный рукою сечевика, хотя и не считает, что сочинил его казак: «Мы его переписываем здесь,—пишет историк,—для любопытства, хотя уверены, что он списан с схоластических творений какого-нибудь монастырского училища».

Нет надобности выяснять, был ли латинский стих действительно написан каким-нибудь казацким Сковородой или попросту списан с учебника. Не так уж важно, кто написал это стихотворение, важно другое: латынь не была дивом на Сечи; известен случай, когда осматривая крепость Кодак, сооруженную по проекту французского инженера Боплана для наблюдения за запорожцами, коронный гетман Конецпольский спросил у писаря Зиновия (впоследствии — Богдана) Хмельницкого: хороша ль крепость; тогда «ответца Хмельницкій языком латинским пред всеми: что есть рукою сотворено, чтобы было не разорено».

Трудно сейчас восстановить, реконструировать всю многовековую славную историю казачества на нашем уровне документальных разысканий и потерь. Однако авторитетные свидетельства нам говорят о том, что, вероятно, казацкая республика существовала на Руси еще до 1237 года, до нашествия Батыя, а значит, демократический характер Сечи — этой военной организации — восходит к вечевой форме правления Киевской Руси, волей необходимости сохранившейся на юго-западном пограничье. В IV тетради «Хронологических выписок» К. Маркса находим такую запись: «Вероятно (речь идет о казаках.— В. Л.) еще до вторжения Батыя (1237) они существовали на берегах Днепра, ниже Киева; по крайней мере, тамошнее население называлось черкасами, и казаки тоже называли себя так»². Однако впервые казаки «под именем рязанских казаков», обращает внимание К. Маркс, упоминаются только при Василии Темном в 1444 году.

Быть может, рязанские казаки это все те же запорожцы-пограничники, отброшенные далеко в глубь Руси вторжением кочевников? Или — это княжеские дружинники, которых (как Илью Муромца в былинах) могли называть казаками?

* * *

Когда читаешь журналы и газеты прошлого столетия, создается впечатление, что авторы, используя доступный материал, стремились воссоздать забытую историю Сечи, сделать то, чего не в состоянии были, по их воззрениям, свершить сами казаки.

Был найден, наконец (хотя и в потревоженном состоянии), и обнародован казачий сечевой архив. Это было открытие, которое поколебало многие устоявшиеся мнения, в особенности — недобросовестные и недоброжелательные. Автор труда, в основу которого легли архивные документы, с понятным пафосом писал: «До сих пор никто не предполагал существования письменных актов у запорожцев: одни считали их гайдамаками, беглыми малороссийскими казаками; другие — людьми храбрыми в бою против врагов, но варварами жестокими, почти дикими, неверными в слове, безграмотными невеждами; третьи, наконец, почитали их потомками хазар, черкесов, татар и проч. — Теперь, когда отысканные мною Запорожские документы представляют нам: дипломатическую, церковную, военную, судебную, торговую, административную и даже частную переписку запорожцев, — мнение о них должно измениться». Историк говорит даже о войсковой школе для юного поколения, которая существовала на Сечи и подтверждает это суждение найденными аттестатами. «По сказанию очевидцев, — свидетельствует А. Скальковский, — считалось там всегда до 30 взрослых козаков, предназначавших себя в *духовное* звание, т. е. пономарей, дячков, а за успех и в диаконы, и 50 *школьников*, имевших свое собственное куренное управление, т. е. своего атамана и своего *кухаря*».

Но мнение не изменилось. И более всего, наверное, повинен в этом сам А. Скальковский, после пространных рассуждений о просвещенности Сечи утверждавший: «Запорожье не могло сочинять книг, а сочиненные с трудом или очень редко читало». Хотя от издания к изданию суждения Скальковского заметно смягчаются (за сорок четыре года, с 1841 по 1885), однако историк до конца жизни остается верен исходным ложным позициям. Так, скажем, сравнивая Запорожье с другими организациями, он Сечь сближает с орденами тамплиеров и иезуитов... С недоумением А. Скальковский спрашивал о летописях: все говорят о них, но где же эти обещанные книги?.. Это же мнение разделял и известный в прошлом столетии историк казачества, и сам казак, Иван Деомидович Попко, писавший в служебной записке в 1872 году: «В то время, когда Гетманщина училась в Киевской

Титульный лист книги А. Скальковского, в которой автор обнародовал казачий сечевой архив. Это было открытие, которое поколебало многие устоявшиеся мнения



академии и имела собственные оружейные, литейные и пороховые заводы, Дон и Запорожье не умели читать и писать и добывали средства ведения войны извне и издалека»³. В личной библиотеке И. Д. Попко была книга А. Скальковского (два издания—1841 и 1847 гг.⁴) и, вероятно, не могла не повлиять на ход мыслей казацкого историка.

Как с этим спорить? Как доказать? Обосновать? Ничего не оставалось, как найти эти «мифические» летописи и обнародовать! Так и случилось...

Поисками памятников запорожской старины занимались Петербургская и Киевская археографические комиссии; они же, кстати говоря, и издавали найденные документы, труды, акты, письма.

О том, насколько важным, значительным было это патри-

отическое начинание, можно судить хотя бы по тому, что в работе Киевской комиссии участвовал Т. Г. Шевченко; арест и ссылка, к сожалению, помешали осуществиться многим великим планам поэта и художника. Но и из Казахстана следил он (переписываясь с Костомаровым, Бодянским и др.) за продолжающейся археографической работой, просил переслать ту или иную летопись, изданную комиссией, хотя знаком был с текстами еще по рукописным спискам.

II

Казацкое летописание возникло от необходимости реально оценить силы и ситуацию, дать объективный исторический ориентир. Запечатлеть вершину духа освобождающегося народа. Понять, как было.

Так возникает новый летописный свод. Наряду с хорошо изученными и известными летописями, в которых военные события оцениваются словно из бойниц монастырской крепости, где мир земной перекликается с небесным по принципу соподчинения,— после освободительной войны Хмельницкого рождается принципиально новый цикл оригинальных казацких, то есть военных, летописей.

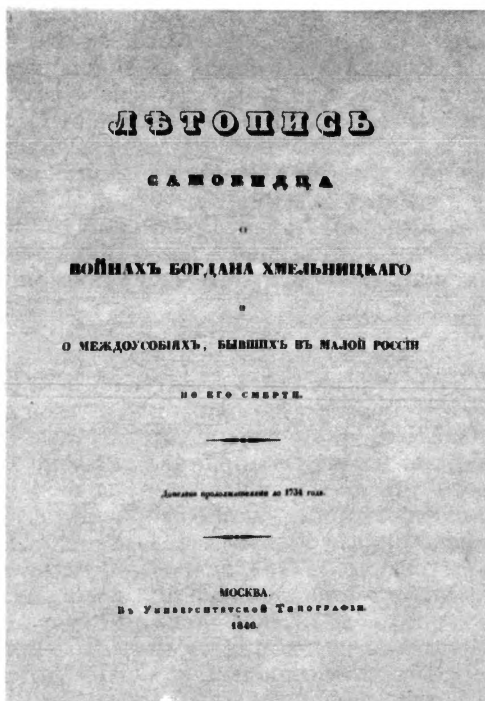
Вспомним: так было на Руси после победы Дмитрия Донского на поле Куликовом, когда необходимо было осмыслить победу русского оружия и—главное—силу единства, судьбу и путь освобождающейся Руси, подвиг народа. Как и тогда, победа над врагом на поле боя вызвала небывалый подъем национального самосознания, которое в свою очередь способствовало и развитию литературного творчества. Как и тогда, летописание, оставив схиму жития, условный штиль агиографии, дало по сути дела воинскую повесть—жанр быговой, реалистический, стремившийся запечатлеть действительные факты и события, живых, неприукрашенных людей.

* * *

Среди казацких летописей выделяется по праву старшинства и эстетическим достоинствам так называемая летопись Самовидца, впервые изданная Обществом истории и древностей российских в типографии Московского университета в 1846 году (при непосредственном участии секретаря общества О. Бодянского) под заглавием: *«Летопись Самовидца о войнах Богдана Хмельницкого и междоусобиях, бывших в Малой России по его смерти»*.

Такое имя и название летопись получила, должно быть,

Среди казацких летописей выделяется по праву старшинства и эстетическим достоинствам так называемая летопись Самовидца, впервые изданная Обществом истории и древностей российских в типографии Московского университета в 1846 г.



благодаря скромности автора, пожелавшего в согласии с древнерусскими традициями остаться неизвестным. Однако дальновидные издатели, чтобы отметить стиль и характер этого оригинального труда, нарекли автора старинным метким словом «Самовидец», ставшим для нас едва ль не собственным: «Так как некоторые из украинских летописей,— пишет в предисловии обладатель одного из списков П. А. Кулиш,— не имеют определенных заглавий и означения имени летописца, то потому эта летопись, в отмену от других и для точности ссылок, названа *Летописью Самовидца* на том основании, что сочинитель ее, как видно из текста, жил и действовал от начала войн Богдана Хмельницкого, может быть, до последних годов XVII столетия».

Вопрос об авторстве тогда еще так остро не стоял, как в наши дни. Да и война Хмельницкого была не на таком гомеровском, недостижимом для мысли удалении,— казацкое летописание еще не удивляло, не вызывало недоумения; это

сейчас нам кажется невероятным, непостижимым: казак — и вдруг сидит за письменным столом, а не воюет?

Издатель летописи О. Бодянский, хорошо знавший быт и устройство Коша Запорожского, полагал, что Самовидец был казаком. П. Кулиш, в отличие от О. Бодянского, придерживался более привычной (для нас и для себя), традиционной точки зрения, считая автора священником (отсюда — образованность, начитанность и проч.).

Кто же прав? Бодянский и Кулиш, однако, не стали выяснять, навязывать свои предположения читателям, а отдали вопрос на суд потомков, времени, истории.

* * *

Проблема авторства всерьез встает впервые во втором, более полном и близком к оригиналу издании летописи. Издатель О. Левицкий внимательно исследует язык, стилистику, тон памятника, однако скромно и осторожно замечает, что, хотя автор и изъясняется языком Правобережной Украины, жил и творил на левом берегу (т. е. восточном) и, судя по вниманию к родным местам, неподалеку от Нежина, «если не в самом Стародубе». Запомним — по Левицкому — предположительное место написания летописи Самовидца — Стародуб; в самом деле, в сторону этого городка заметно некоторое смещение симпатий и интересов автора.

Но это лишь полдела. Как выяснить, установить: кто же из стародубцев способен был летописать? Кто метил в Несторы?..

Кандидатуру подобрать очень непросто. Ибо это должен быть человек книжный и государственный одновременно, казак, сидящий на коне, и дипломат, находящийся в курсе всех тайных дел, смещений, заговоров, интриг. Ведь в летописи автор обнаруживает истинно практическую, можно сказать, служебную осведомленность в сферах церковных, военных, дипломатических — от Киева до Константинополя, высказывает мнения о гетманах Малороссии, как будто был с ними в приятельских отношениях.

Такие независимые, смелые, глубокие суждения был в состоянии составить, во-первых, человек немало повидавший, разносторонне образованный, приближенный к старшине, располагавший архивом ценных документов из войсковой генеральной канцелярии (ибо нельзя предположить, что человек, даже с феноменальной памятью, может столько подробностей запомнить). А во-вторых, искомый претендент должен быть *самовидцем*, хотя бы скромным участником всего происходив-

шего на Украине в годы Хмельницкого. Итак, кто же в Стародубе способен был к этому делу?..

Вопрос об авторстве, имеющий второстепенное значение, однако важен для понимания особенностей оригинального казацкого летописания.

Вчитаемся внимательно в текст летописи. В центре ее — подвиг Хмельницкого, воссоединившего Украину с Россией, достойно завершившего, по меткому определению Н. И. Костомарова, объединительное дело Мономаха (см.: Костомаров Н. Князь Владимир Мономах и казак Богдан Хмельницкий. Спб., 1863), и — главная, решающая сила, которая дала возможность свершиться великим планам и вековым надеждам, — народ, представленный в то время самой сознательной и прогрессивной силой — казачеством.

Рассказывая о начале народно-освободительной войны, летописец раскрывает всю совокупность социально-политических причин, которые заставили казаков взяться за оружие. Он говорит об имущественном расслоении сечевиков, которое достигло небывалых размеров, о том, что иные, падкие на деньги полковники, присваивая себе плату за службу, делили общие деньги войска с сотниками, сообщниками своими, так что простым казакам почти ничего не оставалось: «...плату, которая поставлена была на козаки... тое на себе отбериали, з сотниками делячиися; бо сотников не козаки обьырали (выбирали.— В. Л.) и настовляли, але полковники кого хотели з своеи руки, жебы оным зичливыми были». В городах было засилье шинкарей и корчмарей; казакам же запрещалось держать в своем доме «не тилко меду, горелки, пива, але и браги». Кроме того, казаков обкрадывали и ненасытные налоговосборщики: «Которіе зась на рибу хожували козаки за Пороги,—говорит летописец,—то на Кодаку на комиссара (так назывался польский налоговосборщик.— В. Л.) рибу десятую отбериали, а полковником особливо треба дати и сотником, и асаулов, и писарев,—аж до великого убозства козацтво прийшло».

Описывая жизнь простого, неимущего казачества и посполитых с народных, подлинно демократических позиций, автор одновременно разоблачает эксплуататорские классы: помещиков-землевладельцев, которым дела не было до подданных, и расторопных многомудрых, хищных управляющих, «арандарей» (как именует их летописец), которые умело пользовались преступным легкомыслием державцев: «...сами державцы на Украине не мешкали,—пишет Самовидец,—тилко уряд держали, и так о кривдах людей посполитых мало знали, албо и знали, только заслеплени будучи подарками <...>, же того не

могли узнать, же их салом по их же шкуре и мажутъ: з подданных выдарвши, оним даруют, цю и самому пану волно бы узяти у своего подданного, и не так бы жаловал подданній его...»

За малейшую провинность казака подвергали смертной казни, за явное непослушание, бунт — сажали на кол, четвертовали, сжигали в медном быке; не только пан, но и услужливый панский холоп, арендатор, имел право — на основании заключенного с державцем контракта — казнить смертью. И факты эти не выдуманы Самовидцем, они подтверждаются документами, найденными археографической комиссией...

Кто же мог так понимать, оценивать, так прозорливо видеть Украину перед восстанием Хмельницкого? Бывший школяр-семинарист, праздно, себе в усладу рассуждающий и порицающий во зле погрязший мир? Предшественник Скороды? Один из идеологов восстания — политик и мудрец, философ на коне?..

* * *

Гнет политический и социальный усугублял духовное, религиозное и нравственное притеснение народа. Невыносимой была политика «окатоличивания» народа, активно проводимая иезуитами и сторонниками Брестской унии 1596 года — продажным православным духовенством. Вот почему, подводит к мысли летописец, казаки, считавшие своими первыми врагами татар и турок — басурман и беспрестанно с ними воевавшие, в 1648 году под предводительством Хмельницкого обратили оружие против союзных польских панов, единоверцев-христиан, которые под видом равноправной унии добрососедства закабалили — духовно, экономически и политически — народ, поставили на грань уничтожения.

Автор упоминает легендарных народных бунтовщиков: Подкову Косинского, Наливайко, Павлюка и др. На сей раз, однако, судьбе было угодно, чтобы ряды восставших возглавил не только смелый и отважный воин, но и, по выражению Шевченко, «гениальный бунтарь».

Летописец, человек чуждый экзальтации и мистицизма, реалистически оценивает личность народного вождя, показывая, что не перст божий и не сон пророческий, а до предела накипевшие земные страсти, мотивы как личного, так и общественного плана, заставили встать на борьбу.

Характер мыслей Самовидца, особенно на фоне воззрений монастырских летописцев, схоластов-богословов может пока-

заться едва ли не атеистическим, хотя автор казацкого летописания не чужд народно-поэтического мировосприятия; он верит в рок, судьбу и провидение (таинства, как известно, не только христианские, но и языческие), пользуется народно-обрядовым календарем, где с масленицей уживаются праздники Мытаря и Фарисея, Петра и Павла, Ильи, Георгия..

Так кто же был автором первой известной нам казацкой летописи?

Самый простой способ исследования — изучение текста, документа. По тону, стилю, случайным обмолвкам, уточнениям, подробностям, необязательным, казалось бы, в контексте целого, деталям, в которых обнаруживаются пристрастия, симпатии и антипатии, жизнь, биография, судьба, можно составить портрет автора. В поисках авторской личности всего важнее — странности стиля, лирические отступления, которые нередко вызывают недоуменный интерес, — они-то и наводят нас на след!

Рассказывая об известных исторических личностях — Богдане Хмельницком, Петре Сагайдачном, Демьяне Многогрешном, царе Алексее Михайловиче, Стеньке Разине и других, достойных внимания и упоминания, Самовидец порой как бы сбивается, теряет основную нить рассказа, уходя от главного в подробности, которые его не меньше занимают, чем общезначимые факты и события. Вдруг ни с того, ни с сего он начинает описывать деяния некоего протопопа браславского Романа Ракушки, причем весьма усердно и подробно: «Року 1670. ...Тогож року посилал митрополита кievскій Іосиф Тукалскій посланца своего Романа Ракушку протопопу браславского до святейшого патріархи в Царигород о подтвержденю сакры на Митрополію кievскую, а то для того, же и епископ премыслскій Антоній Винецкій отзывался митрополитом кievским, иж бо один хто з них был митрополитом, а не два митрополита, чого неколи перед тим не бувало. Которого посланого святейший патріарха Мефодій не хотел принять без ведомости цесарской, и так аж мусел ехати до Солуна ку цесареву, от которого привезл писмо также и от Визира до святейшого патріархи, же позволено принять, и так принят и соборне позволено и потвержено митрополію Іосифу Тукальскому, аже бы нехто инший не отзывался митрополитом и архієпископом кievским. Тот же посланный протопоп браславскій вывезл соборную клятву от святейшого патріархи на заднепрского гетмана Демяна Многогрешного, которій в пиху поднесшия легще себе тое поважил, еше ся грозячи, але зараз оногo Господ Бог скарал, же спадши з кганку шію был зламал, же час немалій не могл говорити, що пришовши до здорова не

хотел ся упам'ятити що на потом оному нагородилося зле бо того року за Дняпря зоставало в покою, а Запороже маючи себе кошовим Ханенка...»

Прежде всего — откуда автор летописи знает так обстоятельно о хлопотах Ракушки, стремившегося во что бы то ни стало попасть к константинопольскому патриарху на прием? О том, что эта поездка была осложнена какими-то непредвиденными хлопотами, может быть связанными с тем, что протопоп либо не знал формальностей этикета, либо столкнулся с нежеланием Мефодия принять непростого, нежеланного заступника Тукальского — посланника, который, как показалось патриарху, пытался действовать в обход каким-то установленным обычаям и правилам и тем мог вызвать подозрение? Однако складывается впечатление, что расторопный протопоп легко преодолел все на его пути стоящие преграды и даже добился расположения самого султана.

Другая странность: в летописи говорится о том, что Роман Ракушка ездил к патриарху с просьбой о подтверждении сакры на киевскую митрополию Тукальскому, ибо на эту митрополию посягал епископ «премыслский Антоний Винецкий», а из документальных свидетельств мы узнаем, что протопоп с помощью патриарха пытался разрешить спор претендентов на львовское епископство — И. Шумлянского и Е. Свистельницкого. Быть может, Ракушка был призван исполнить не одно, а несколько серьезных поручений Тукальского, присовокупив к ним личную просьбу — добыть проклятие на гетмана Демьяна Многогрешного? Невольно напрашивается очередной вопрос: чем гетман не угодил Ракушке и почему соборное письмо осталось без употребления? Однако этот вопрос также обходит летописец, только злорадствуя по поводу того, что Многогрешный упал с крыльца и ушиб себе шею; рассказчик в этом видит господню кару и тем удовлетворяется.

Многое для нас остается непонятным, туманным. С одной стороны, автор как будто бы чересчур много знает мелких подробностей, деталей, которые он мог бы не сообщать, с другой — явно чего-то существенного не договаривает, быть может, тех вещей, которые могли бы повредить Ракушке во мнении потомства...

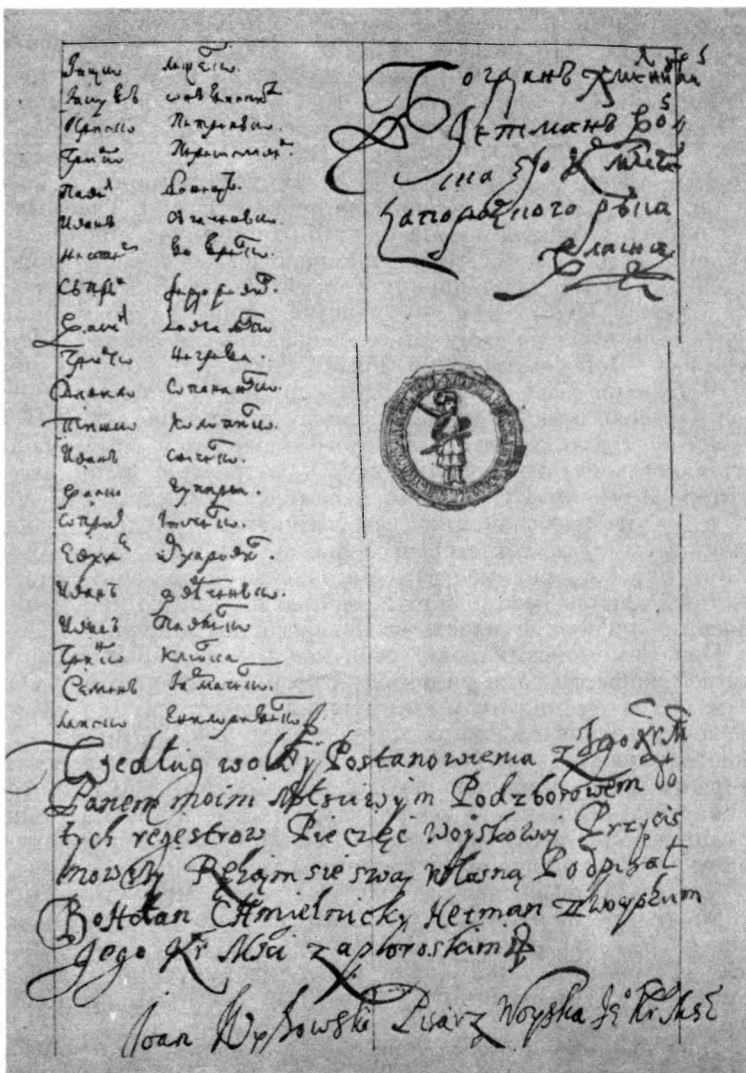
Но каковы причины такой заинтересованности? Кем доводился Роман Ракушка Самовидцу?

Прежде чем попытаться ответить на этот непростой вопрос, сначала выслушаем точку зрения противников Ракушки, суждения и доводы которых в какой-то мере дополняют неполную картину посольства протопопа. Соловьев в томе двенадцатом своей истории, описывая распрю меж Дорошенко

и Многогрешным, имевшую серьезные последствия для Украины и двух противоборствующих гетманов, замечает: «К усобице между гетманами присоединилась еще усобица между архиереями...» С одной стороны, говорит он, были Дорошенко и Тукальский (проводником их взглядов был Ракушка), с другой — Многогрешный и Лазарь Баранович, письмо которого к царю Алексею Михайловичу цитирует историк в своем, должно быть, переводе: «...преосвященный Иосиф Тукальский, митрополит киевский,— писал Баранович,— домогается у Демьяна Игнатовича, чтобы духовенство восточной стороны находилось в его послушании и повинности. Я отписал ему, что Демьян Игнатович без ведома, воли и указу вашего царского величества ему этого позволить не может. Что ж случилось? Поп романовский (Роман Ракушка), который перед тем в Нежине был козаком, зашедши на ту сторону Днепра (т. е. переселившись в правобережный город Брацлав.— В. Л.), поехал от митрополита Тукальского в послах к св. Мефодию, патриарху константинопольскому, и хитростию выправил на гетмана Демьяна Игнатовича неблагословенный лист, чтобы его этим неблагословением застрашавши, и мир в обиду подавши смуту на сей стороне Украйны учинить. Хотя гетман вашего царского величества и не находится под зависимостью константинопольского престола, однако нельзя же не обращать внимания на имя и власть вселенского патриарха...»

Поп Романовский ведет себя как многоумный казацкий Одиссей, корысти ради учинивший утонченную интригу. Однако тяжба, затеянная им и сдвинувшая с места такие грандиозные фигуры, как патриарх, царь, гетман и т. д., не может не свидетельствовать о деловых его способностях. Те сложности, с которыми было сопряжено преодоление противниками протопопа поистине вселенского конфликта, участие в нем патриарха, султана и царя, доказывает нам, что неприметный брацлавский священник был наделен недюжинным умом, который позволял ему легко возвыситься в смутные дни междугетманства и в то же время в расплату за чинимые интриги повергал в пучину бед и неудач. Во всяком случае нелетописное лицо — Роман Ракушка — этот полуэпизодический герой истории — играл недюжинную роль при разных летописных лицах.

Впервые имя Романа Ракушки в вольной транскрипции (Роман Роскущенко) упоминается в «Реестре всего войска Запорожского после Зборовского договора...», составленном в 1649 году (с. 321). Пока Роман Роскущенко никак не выделен из числа всех записанных в реестры 37 745 казаков. Можно предполагать, что и в войне Хмельницкого он если и участво-



Последний лист «Рестра всего войска Запорожского» с подписью Богдана Хмельницкого

вал, то как обычный, рядовой, ничем не знаменитый воин. В 1654 году (когда война закончилась) ему исполнился 31 год, а в тридцатидевятилетнем возрасте он стал нежинским сотником. В июле 1663 года, когда на Нежинской раде был избран гетманом Брюховецкий, Роман Ракушка стремительно возвысился — он был поставлен из сотников первым генеральным подскарбием, в ведении которого состояли все войсковые сборы. При новом гетмане Демьяне Многогрешном Ракушка лишился высокого поста, а вместе с ним и средств (наверное, немалых; внезапная утрата их и привела его в Константинополь). Затем он удалился на Правобережье, в Брацлав, где стал священником в городской церкви. В 1672 году, после того, как Многогрешный лишился булавы, Ракушка вернулся на левобережную Украину; при гетмане Мазепе бывший казак, ныне священник, получил во владение в полковой сотне Стародубского полка село Новоселки, где жил до конца дней своих, служа в церкви святого Николая в Стародубе. Прожил на свете Роман Ракушка 80 лет (1623—1703), из них — тридцать один год в Стародубе, где поселился в возрасте 49 лет. Был он по-своему заметным человеком; едва ли найдется во всей округе лицо, которое могло бы ему составить конкуренцию как в предприимчивости и уме, так и в осведомленности, простиравшейся далеко за украинские пределы, включая и Москву, где доводилось ему бывать не раз, причем всякий его приезд отмечен был вниманием царя... Другое дело, что, несмотря на одаренность, Роман Ракушка ничего великого не совершил и в летопись попал, можно сказать, как личность авантюристическая, как камешек меж жерновами мельницы истории...

Впрочем, вспомним предположение О. Левицкого о стародубском летописце! Вдруг протопоп (в прошлом казак), ставший героем летописи по субъективной воле автора, и есть неведомый нам *самовидец*. Предположив такое, мы разрешим противоречие между вниманием к фигуре протопоба и тем значением, какое он играл как историческая личность. Такое доказательство, конечно, не единственно, но и оно в какой-то мере подтверждает однажды высказанное предположение об авторстве первой казацкой летописи.

Мысль о том, что Роман Ракушка и Самовидец — одно лицо, впервые была высказана учеными еще в прошлом столетии. Сейчас немалое число ученых предполагает, что автором первой казацкой летописи был Роман Ракушка (Роскущенко), который впоследствии назвался Романовским.

В последнем, третьем издании летописи Самовидца (Киев, 1971) эти предположения изложены и проанализированы с

большим проникновением в суть дела, серьезно и объективно.

Какие выводы отсюда для запорожского летописания?

Роман Ракушка стоял, можно сказать, на полпути между типом старого и нового летописца; он был полуказак, полусвященник. Сама натура, наклонности, задатки сформировали в нем характер если не атеиста, то уж во всяком случае — безбожника.

И наконец, последний аргумент в пользу авторства Романовского.

В предположении, что Самовидец — Роман Ракушка-Романовский, суждения двух знатоков славянской древности О. Бодянского и П. Кулиша* объединяются и совпадают. Все странности, не объяснимые из текста, благодаря такому лично-биографическому подходу, сами собою устраняются, снимаются и открывают простор для мыслей и раздумий об исторических событиях, людях, которые с большим талантом увековечены пером всевидящего, мудрого казака.

III

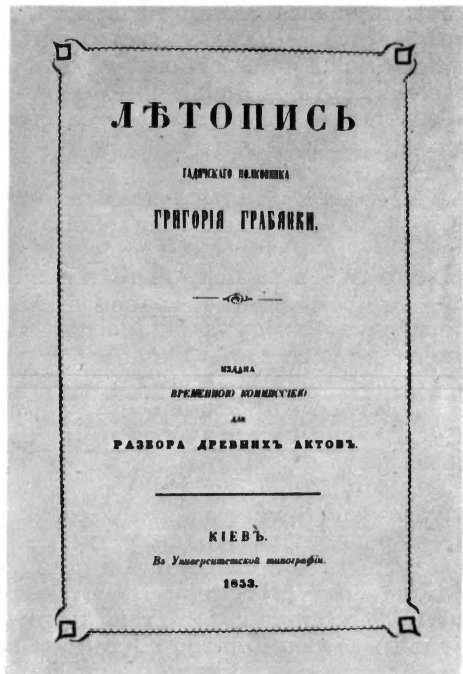
Младшими собратьями прославленного Самовидца по роду службы и увлечений были известные в свой век казаки-летописцы, вошедшие в историю под собственными, а не условными именами, — Григорий Иванович Грабянка и Самойло Васильевич Величко. Хотя они не воевали под предводительством Хмельницкого, однако воссоздали характер народного вождя, его замыслы, планы — с большим проникновением в суть дела. Знакомство с летописью Самовидца ничуть им не мешало, наоборот, указывало новую дорогу — свободную от повторений. У каждого были свои воззрения на жизнь, свой опыт, своя оглядка на еще живое в настоящем прошлое. С одной стороны, обнаруживались новые факты и сведения, с другой — документальные открытия требовали уточнения однажды высказанных мыслей, мнений, суждений.

Сводящий, обобщающий характер летописи Григория Грабянки подчеркнут уже самим названием: «Действия презельной... кравашой небывалой брани Богдана Хмельницкого, гетмана запорожского... з розних летописцов и из діаріуша, на той войне писанного, в граде Гадячу, трудом Григория Грябянки, собранная и самобитних старожилів свідетельстви утвержденная. Року 1710».

* Впоследствии П. А. Кулиш скатился на реакционные, буржуазно-националистические позиции, резко осужденные Н. Костомаровым и Иваном Франко.

Обложка летописи Григория
Грабянки.

В центре внимания автора—события освободительной войны 1648—1654 гг.



Итак, в центре внимания Грабянки—события освободительной войны 1648—1654 годов. Однако немалое место в летописи—и в этом отличие от труда Самовидца—уделяется вопросу о происхождении казачества. В главе «О начале проименованія козаков и откуда нареченни, от коего племени и рода; купно же и о древнейших их действіах сокращенне» Грабянка, оспаривая мнения польских писателей Коховского, Стрыйковского и Гвагнаина, производивших слово «козак» от коз, которым как бы уподобляются казаки своею быстротою и пр., выводит родословную сечевиков от скифов: «Народ Малороссійской страны,—пишет он,—нарицаемій Козаки имать свое проименованіе от древнейшаго рода Скифска...» Мысль эта уводит Грабянку довольно далеко от существа вопроса, однако после краткого мифологизированного вступления он излагает далее действительную, подлинную, известную нам—теперь по Костомарову и Соловьеву—историю Южной Руси, рассказывает о замечательных победах, величии древней русской державы, ее несчастьях, междоусобицах, которыми

воспользовался внешний враг; о тех стародавних временах, когда Киев из центра русской жизни, сиятельной столицы стал городом окраинным, провинциальным; царство — под владычеством Литвы — стало княжеством, затем — под Польшей — воеводством. И татаро-монгольское, и литовско-польское иго автор расценивает как кару — за междуособные грехи — самонадеянным князьям.

Потеря самостоятельности потребовала перестройки всей жизни; народ, волею судеб оказавшийся в неволе, должен был выработать в себе силы опоры и защиты. Таким щитом стало казачество, в ту пору выполнявшее роль погранвойск, защитников от внешнего врага; в тех случаях, когда терпение переходило через край, казаки становились грозными народными мстителями — борцами с внутренними притеснителями — панами и арендаторами.

Считая, что обычаи, оружие, порядки сечевиков достаточно своеобразны и малоизвестны, Грабянка просто и безыскусно описывает их: «Пища их бе житное тесто квашеное, зовомое *саломеха* редко сваренное, и тим суть доволни; а когда случится с рыбною, яко Козаки глаголют, *щербою*, то за найпереднейшую трапезу имеют. Живут же в куренях по сто пятьдесят и более, и вси пищу вишереченную имут едину. Единого же старейшого в курене имеют, в воинских делех воина искуснейшого, и того почитают и повинуются ему, аки найвишому по Кошовом Атамане началу; но и старейшины их живут купно с опаством, еще бо бы чим небудь их оскорбил над право, то абие бедне и безчестне предают их смерти. Татба же и блуд между ими отнюд не бывает, и за едно путо или плеть вешают на древе. Одежда в их бе една или две».

Однако гордость и восхищение казаками, к которым принадлежит сам летописец, несколько не скрывающий своих симпатий и пристрастий, сменяются печальными раздумьями и размышлениями о постепенном притеснении казаков (после Люблинской унии 1569 года, когда Литва и Польша объединились в Речь Посполитую, особенно же — после Брестской, 1596 года, когда польская шляхта и духовенство решились окатоличить братьев по унии, сломить духовно, хотя по-прежнему скрывали за пышной фразой свои захватнические намерения).

Грабянка кратко, по-деловому описывает боевые действия и поражение Косинского и Наливайко, этих народных казачьих бунтарей, сложивших голову за независимость; расцвет казачества при Сагайдачном, и далее, по смерти Сагайдачного, народные восстания под предводительством Тараса, Павлюка и Остряницы. Построением Кодака, этой жандармской, стражной крепости, сооруженной для наблюдения над действи-

ями запорожцев, своеобразного кордона, который должен был отрезать казаков от крестьян, спасавшихся от притеснений шляхты за порогами, заканчивается обзор событий до Хмельницкого.

Грабянка с болью описывает положение тогдашней Украины. Бесправный, отданный на откуп панам и арендаторам, народ был обречен на вымирание. «Имет ли кто зверя? Кожу дай пану; имет ли рибу? Дай урочную дань оттуду на пана; от военных користей Татарских конь или оружие в Козака будет, дай хлопе на пана...» А горше всего, продолжает летописец, что арендаторы «всегда смишляху новіє дани...» Грабянка, как указывает автор предисловия к летописи Иван Самчевский, «представляет безотрадную картину тогдашнего состояния малороссиян, из которого единственным выходом было восстание, и переходит затем к побудительной причине восстания — обиде, нанесенной Хмельницкому Чаплинским...»

Хмельницкий, этот заслуженный казак, с которым, как рассказывает Грабянка, сам король Владислав совещался тайком от неразумных своих сенаторов, оказывается в один день таким же бесправным «хлопом», как все схизматики Речи Посполитой; Чаплинский отнимает у него дом, жену; одного из сыновей повелевает высечь посреди Чигирина, самого же — заключает в темницу; Хмельницкому грозит смерть; над ним открыто смеются в сейме, когда он обращается туда с обидой... Но казак не сдается: «Жив Бог и Козацкая не умирала мати! Не все еще Чаплинский у мене побрал, когда шаблю в руках маю».

Так о Богдане мог написать человек, сам воевавший и знающий по собственному опыту, что может послужить случайным поводом, а что — ввеличностною, объективною причиною войны.

Труд Грабянки отличается строгой продуманностью композиции, логической последовательностью изложения, систематизацией обширных сведений. Помимо того, что каждая глава летописи особо выделена, обозначена, Грабянка прилагает к тексту два списка, два реестра; первый — «Собрание Гетманов Войска Запорожского Малой России, пред Хмельницким бывших»; второй — «Реестр Германов, по Хмельницкого смерти будущих» — от Юрия Хмельницкого до Иоана Скоропадского.

Как к летописи Самовидца, к труду Грабянки прилагается словарь «невразумительных» — древнеславянских, латинских, польских слов, свидетельствующих о разносторонних знаниях, о принадлежности рассказчика к кругам, где речь народная соседствовала с книжной, официальной, разноязыкой, еще не оформившейся под пером будущего великого поэта.

Текст летописи впервые (правда, частично) был обнародован в 1793 году Ф. Туманским в журнале «Российский магазин». Ценность труда Грабянки теперь заметно увеличивается в сопоставлении с позднейшей летописью Георгия Конисского, когда мы узнаем о том, что преосвященный Георгий черпал из нее необходимые факты и сведения: «Нельзя не заметить,— пишет Иван Самчевский,— что многие известия, сообщаемые летописцем об этом времени, во многом сходны с историею Конисского. Это дает повод думать, что преосвященный Георгий, в сочинении которого древнейшая эпоха описана с большею подробностью, нежели в других летописях, в числе других материалов пользовался и летописью Грабянки».

* * *

Кто же такой Грабянка? В каких условиях работал? Могли знать Самовидца—Ракушку-Романовского?

«О жизни автора,— писал в 1845 году комментатор второго (после Ф. Туманского) издания летописи, подготовленного Киевской археографической комиссией, Иван Самчевский,— мы имеем самые скудные сведения. Григорий Грабянка или Гребенка был современником Петра I, Екатерины I и Петра II. В 1723 году вместе с наказными полковниками—Стародубским Корецким и Переяславским Даниловичем Грабянка, тогда еще судия Гадяцкий, был послан Полуботком с разными представлениями в Сенат и к государю и с третьєю просьбою к государыне об избрании гетмана; поездка была неудачна. В 1729 году, в царствование Петра II, Грабянка по ходатайству гетмана Даниила Апостола был пожалован от государя гадяцким полковником на место Милорадовича. Вот единственные сведения об авторе нашей летописи...»

К сказанному Иваном Самчевским еще добавим, что Григорий Иванович Грабянка, как и подобает истинному казаку, большую часть жизни провел в седле, походах и сражениях, а в перерывах, на досуге, в Гадяче, составил летопись свою, кстати, датированную 1710 годом (после чего прожил еще почти тридцать лет и умер в 1738 году). Грабянка участвовал в Азовских походах 1695—1696 годов и Северной войне 1700—1721 годов. В 1723 году ездил в Петербург хлопотать перед Петром I о ликвидации Малороссийской коллегии и возобновлении выборов гетмана, за что был заключен в Петропавловскую крепость. После смерти Петра I в 1725 году возвратился на Украину. Принимал участие в русско-турецкой войне 1735—1739 годов, где был ранен. Умер от ран.

Любопытные сведения сохранились о Грабянке в архиве Генеральной войсковой канцелярии. В 1730 году «по доношению» полковника Грабянки («в полку его Гадяцком расположе-ние порций и раций неравномерно учинено...» и проч.) была проведена проверка — «апробация», после чего в войсковых бумагах появилось упоминание о «нанесенной небы за то полковнику порке».

В делах за 1831 год находим запись о приезде полковника в Глухов... И тогда же, в том же году, было зафиксировано предложение, «дабы с полку Гадяцкого прислано в Глухов двох писцов для переписки правних книг».

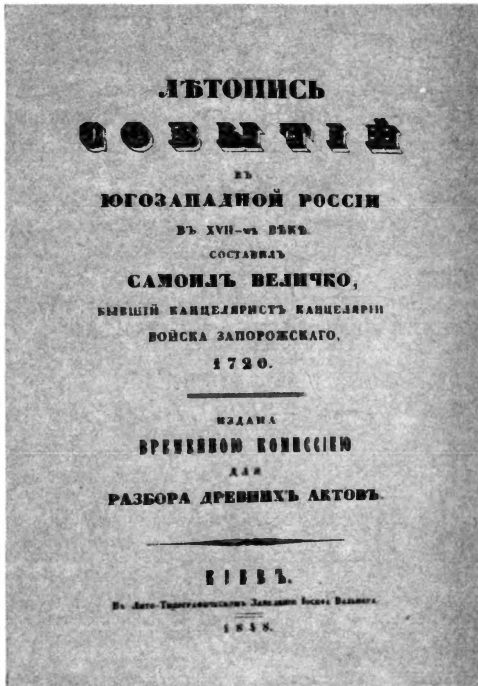
Неугомонным человеком был летописец! Всяко бывало с ним... Но лучшее, что он оставил нам,—его летопись. Она — в памяти нашей!..

Грабянковская летопись, имеющая несомненную литературную и историческую ценность, была широко распространена среди ценителей и почитателей древней российской словесности. Известно, что читал ее еще (в списках) до ссылки, в Киеве, Т. Г. Шевченко, кроме того, издание 1853 года было в шевченковской библиотеке. Но после 1853 года грабянковская летопись — этот оригинальный памятник XVII века, где воссоединение восставшей Украины с Россией оценивается как величайший прогрессивный для двух народов-братьев факт, увы, никем и никогда не переиздавалась, что, к сожалению, предельно сузило диапазон ее полезного воздействия.

IV

Четырехтомная летопись Самойло Величко на фоне казацких хроник, реестров, сводов покажется самой фундаментальной, обстоятельной, ученой. Хотя не весь текст памятника уцелел (пропуски относятся к 1649—1652 годам), однако и в этом усеченном виде в казацком сочинении немало сохранилось отрывков, извлечений из недошедших до нас источников. Цитат и ссылок на иностранных авторов в тексте содержится немало, что несомненно говорит о том, что летописец был образованным, ученым человеком, вполне оправдывавшим поговорку о казаках («Запорожцы на двенадцати языках говорить умели»); он знал в совершенстве латинский, польский, немецкий языки; недаром же учился в Киевской академии, затем служил в Генеральной войсковой канцелярии...

Оригинальность труда Величко состоит в том, что автор, освещая события войны 1648—1654 годов, рассказ свой перемежает уместным цитированием книг, которые на «казацкий язык перевести трудно», а достать простому люду невозможно. Из этих соображений в начале летописного рассказа автор



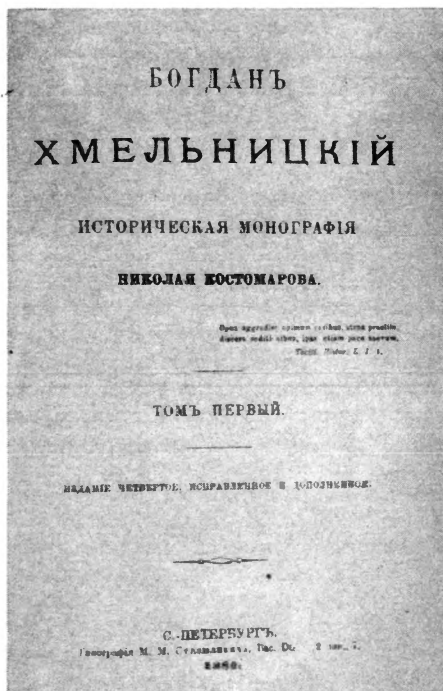
Титульный лист летописи Самойла Величко. На фоне казацких хроник, реестров, сводов эта летопись кажется самой фундаментальной, обстоятельной

дает отрывок о Хмельницком из немецкого историка Пуффендорфа, затем все содержание первого тома строит как приращение разного рода фактов и сведений к «Войне домово́й» С. Твардовского, испытывая на себе разные литературные влияния.

Исследователь величковской летописи Я. И. Дзыра считает, что в тексте угадываются и сюжеты «четвертой главы „Освобожденного Иерусалима“ Торквато Тассо, поэмы А. Яскольда-Бучинского и др.» (см.: Дзыра Я. И. Летопись Самойла Величко и творчество Т. Г. Шевченко. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Киев, 1963, с.7).

Так поступает летописец, изображая время, которое сам не застал, не видел, не прочувствовал как очевидец и участник, и в этом ничего предосудительного нет. Он выступает здесь как составитель свода, как своего рода казацкий Нестор, сводящий все летописания к единому «отредактированному» повествованию.

С большим сочувствием отнеслась к выводу летописи Самойла Величко русская печать середины XIX в. Эту летопись комментировал Н. Костомаров в монографии о Хмельницком



Величковская летопись ближе стоит к художественному исследованию. По духу и характеру повествования, приемам обращения с первоисточниками она еще не перешла тот пограничный рубеж, за которым стоят последние летописцы и первые историки, такие, как Татищев и Карамзин.

Глубинная историческая перспектива, открывшаяся умному и образованному казаку, позволяла в недавних событиях войны Хмельницкого прозревать тайный смысл. Комментируя Величко, Н. Костомаров в монографии о Хмельницком поясняет мысль летописца: еще король Стефан Баторий (преемник Сигизмунда Августа), начавший стеснение казаков «мерами для них благоприятными», намеревался мало-помалу, постепенно их уничтожить. «...Король хотел,—цитирует он летопись,—решительно истребить козачество, но не успел, и сказал, незадолго до кончины: „из этих лотриков (бродяг.— В. Л.) козаков образуется когда-то самостоятельное государство“». Иначе говоря, иезуитская политика уничтожения каза-

чества, достигшая во времена Хмельницкого небывалых масштабов, не явилась сама собой, она вызревала веками в головах власть имущих.

С большим сочувствием отнеслась к выходу летописи русская печать середины XIX века. Ее внимательно читал Т. Г. Шевченко. Недаром в творениях великого поэта угадываются отдельные величювские темы, мотивы, интонация... «Несомненным доказательством знакомства Шевченко с рукописью Величко в 1844—1845 гг. и одновременно свидетельством того влияния, которое оказал этот памятник на исторические взгляды Шевченко и его поэтическое творчество,— пишет Я. И. Дзыра,— являются произведения: „Чигирине, Чигирине“ (1844), „І мертвым, і живим...“ (1845), „Великий льох“ (1845), „За байраком байрак“ (1847), „Заступила чорна хмара та білу хмару“ (1848), „Осії“, глава XIV (1859) и др.».

* * *

Необычайно интересна биография Величко. В ряды казаков он вступил в 1690 году, двадцати лет от роду, о чем пишет, гордясь участием в славных делах людей известных: «Сего 1690-го року, на самом початку его, между святы Рождества Господня, начах я, сих летописных деяній граф и сказател (в килконадцать лет будучи), служити войску Запорожскому в повежном дому з паном Малоросійских благородного его Милости Пана Василя Леонтъевича Кочубія, писаря на тот час войскового енералного...»

Служил верой и правдой, как повелевал ум и долг; осведомлен был не только во всяких домашних делах своего пана, но и в секретных войсковых делах, писал даже корреспонденции самому Петру I.

«...Послуживши зас в таких премногих и неусипних трудах чрез лет 15-ть; зостаем за тую мою службу виправлен до канцелярії войскової енеральной, на початку року 1705; в которой з между худших братіи моеї былем не последним в делех писарских, сполна чрез лет 4; ним за тую мою долговременную и верную службу моя недоля крайним мне, на самом конце рока 1708, заплатила несчащем, которое впредь в пришлом помененом року припомнитеся может». «Нет сомнения,— заключает комментатор,— что несчастье, постигшее Величка, находится в связи с бедственным участием Василя Кочубея, погибшего в том же 1708 году».

С этого, вероятно, года Величко был отстранен от службы, после чего и занялся летописанием, которое стало для него и повседневным делом, и средством отдохновения души. В 1728

году, однако, зрение его настолько ослабело, что он уже не мог сам ни читать, ни писать: «Ку зрению писания затворена очесь имущи двери...»

Тогда он заставлял, как говорят свидетели, читать и писать для себя отроков, которых, несмотря на свою немощность, сам учил грамоте.

Потерпев неудачу на поприще военном, Величко утверждает на поприще литературном и таким образом не прекращает борьбу за правду, из-за которой он вместе с Кочубеем пострадал. Лишенный возможности влиять непосредственно на события, происходящие в войске, оставленный в тени канцеляриста, всю силу и энергию, все свои знания обращает на дело, в котором он, лишенный звания и чина, может сравниться с самым достойным, прославленным и знаменитым человеком.

Реалистическое мышление Величко ушло от «грабянкововского», явного мифологизирования по поводу происхождения народов и племен; автор лишь сожалеет о затуманенной, утраченной реальности, об оборвавшейся традиции и порицает наших ленивых летописцев. Он справедливо сетует на то, что потомкам достались реестрики, написанные «барзо щуплыми» и краткими словами, крохи от пиршества: «Обаче проходя летописная и гисторическая иностранных народов писанія и деянія,— пишет он,— видех в них объясненную, и затмепію доселе непричастную их славу. Наших же Сармато-Козацких породков, подобніе иностранним в рицерскіе отваги и богатырскіе деянія, без описанія и объясненія, чрез их власних писаров оставленніе, и всегдашного забвенія некчеиним лености их плащем увидех покритіе. А ежели з давних оних писарей Славяно-Козацких и записал хто памятствованія годное, во время их бывшое деяніе; то записал тилко для себе реестриком, барзо щуплыми и краткими слови, жадних з яких причин що повстало, як ся отправовало и як кончило, невиразивши околочностей. Аще же что оним продком нашим Козако-русским похвали годного и обрестися может, то не в наших ленивых, але в иностранных, Греческих, Латинских, Немецких и Полских гисторіографах (яко и о Хотенской прежде описанной войне показуется); которых гисториков нетилко витлумачити и на Козацкій язык перевести трудно, але и достати в Малой Росіи невозможно».

Итак, задачей чисто просветительской объясняются особенности величковского свода: бывший канцелярист стремился донести в своем труде, объединить все то, что было расплывлено, рассеяно по свету и недоступно обычному читателю. Собрать и удержать, с пером в руке документально овесть историю.

V

Удержать прошлое от беспамятства пытаются и фольклорные жанры — дума и песня; об этом мы говорили в самом начале статьи. Но та же живущая в народе песня о Сагайдачном давала не конкретный, исторический, документальный портрет прославленного гетмана, а общую, условную картину, или идею героя; словом, изображала не действительного человека, а желаемые представления о нем вольных сечевиков-холостяков. Вспомним продолжение песни, слова Сагайдачного:

Мини з жинкой не возиться;
А тютюн та люлька
У дорози козакови
Знадобиться...

И вдруг мы узнаем о «необачном» гетмане, что он «...роспорадил именіе свое на церкви, на шпитале, на школи и монастыре, кроме жены своей...» Немалую часть состояния завещал он Киевскому братству (куда, как известно, записался со всем войском Запорожским), — «аби в том брацстве отправо-валось школьное ученіе».

Сравним двух Сагайдачных: лихого песенного, «що проми-няв жинку на тютюн та люльку», и летописного — степенного и мудрого, запечатленного Величко.

Разница колоссальная!

Как книжник и человек ученый, Величко не мог пройти мимо фигуры высокопросвещенного и образованного гетмана, которому казачество многим обязано; который, кстати говоря, еще в 1620 году посылал посольство в Москву с просьбой принять казаков на службу.

Трудно судить, была ли под рукою летописца поэма ректора Киевской академии Саковича о Сагайдачном, кстати, одна из первых книг о запорожцах (если не первая), изданная в 1622 году в типографии Киево-Печерской лавры, или факты, приводимые в летописи, были почерпнуты из завещания, составленного Иовом Борецким под диктовку смертельно раненного под Хотинем Сагайдачного. Важно другое — летописец придавал огромное значение просветительской деятельности отважного гетмана, который в трудные дни унии сеял в казачестве семена истинного просвещения, расходуя значительные средства на воспитание, на типографию, на школу. В известном смысле можно сказать и так: что засеивал в народе Сагайдачный, то пожинал Хмельницкий. Ибо без понимания иезуитского, коварного характера противника, средств, методов его борьбы, без убежденности в необходимости перед

лицом врага объединиться, народ не победил бы, не выстоял. Насколько дальновиден был суровый гетман, воспитанник школы Острожского, можно судить уже хотя бы по тому, какую роль он отводил учению и школам:

Магетность свою раздал на шпиталь,
Другую зась на церковь, школы, монастырь...

Сопоставляя процитированные две строки из «Вирша...», написанного на смерть Сагайдачного, и соответствующий отрывок из Величко, нетрудно допустить, что стихотворный плач запорожцев о гетмане, составленный ученым ректором Саковичем, был хорошо известен летописцу. И даже можно полагать, что первая печатная книжка о запорожцах была в библиотеке казацкого энциклопедиста.

Не на пустом месте возникло казацкое летописание. Но воссоздание того культурного пласта, той базы, той основы, на которой оно возникло, нас слишком увлекло бы в туман столетий — пришлось бы говорить о Древней Руси, ее былинах, песнях, летописях; ее «погибели» и постепенном возрождении — сначала на востоке, затем на западе; о Люблинской и Брестской насильственных униях; об униатах и схизматиках; об «Апокрисисе» и полемической литературе, направленной против экспансии католицизма; о восстановлении, благодаря находчивости Сагайдачного, православной иерархии на Украине, что было сокрушительным ударом для римско-католического мира; о бурсе, академии, традициях (во-первых, летописных, которыми прославился Киево-Печерский монастырь, а во-вторых, книгоиздательских, которые восходят к первопечатнику Ивану Федорову, после Москвы работавшему во Львове и пр., и пр.).

«До сих пор,— писал Н. И. Костомаров в статье „Мысли об истории Малороссии“,— у нас никто не хотел видеть в казачестве русской жизни. Ученые наши думали провозвестить великие истины, когда говорили, будто казаки произошли от смешения народов; были попытки видеть в чертах лица и нравах нынешних Южно-Руссов азиатское, а не славянское, производили их от Берендеев, Половцев и от Норманнов и на основании подобных заключений видели в устройстве казацком не русское начало; одним словом, решили, что казаки есть народ, начавший жить только в шестнадцатом веке и не имеющий кровной и нравственной связи с Русью Владимира и Ярослава, когда, напротив, Южно-Руссы до Татар были такие Великоруссы, каковы теперь жители московской и тульской губерний».

Карл Маркс, пристально следивший за экономикой, куль-

турой, литературой России, с гениальной прозорливостью увидел в исторической смене форм экономической и социальной жизни народа единую, глубинную, можно сказать, сущностную преемственность. Прорабатывая монографию Н. И. Костомарова о Разине, Карл Маркс записал: «Старое удельно-вечевое начало Руси облеклось теперь в новую форму, в *казачество*...»⁶

Хотя казачество в войне с самодержавием не устояло и подчинилось централизованной военной силе и власти (долгие годы и века самоотверженно сопротивляясь), но в памяти народной остались живы республиканские установления и идеалы Запорожской Сечи...

Нет никакой нужды превозносить их и закрывать глаза на темные стороны в жизни казачества, о которых пишут сами же казацкие летописцы. Но мы не должны забывать главного, первостепенного, о чем не устают говорить наши летописцы и что опозитизировал народ в своих думах, песнях, преданиях — поистине неопределимую роль Запорожской Сечи в освобождении украинского народа от иноземных захватчиков и воссоединении с великим русским народом. Ведь тот огонь, что «выкресали» запорожцы, те искры, что выпали из трубки сечевика, не разлетелись по ветру, не загасли, а разгорелись могучим очистительным пожаром народно-освободительной войны.

Гей, хто в лиси, озовися,
Та выкрешешь огню,
Та запалим люльки,
Не журися!

Сбылась вековая мечта о братском союзе русского и украинского народов,— мечта, какую они, насильно разведенные, сберегли еще со времен Киевской Руси и пронесли через все беды и лишения!

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Государственный исторический архив УССР, ф. 229, оп. 1, д. 232, л. 63.
- ² Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. М.: Госполитиздат, 1946, т. 8, с. 154.
- ³ Государственный архив Ставропольского края, ф. 377, оп. 1, д. 23, л. 22.
- ⁴ Там же, д. 35, л. 4 об.
- ⁵ Маркс К. Стенька Разин.— Молодая гвардия, 1926, № 1, с. 107.

УНИКАЛЕН ЛИ «УНИКАЛЬНЫЙ» СБОРНИК ТЮТЧЕВА?

История издания второго (и последнего) прижизненного сборника стихотворений Ф. И. Тютчева 1868 года сколько-нибудь серьезно не изучалась. И главной тому причиной было широко распространенное и в общем-то справедливое мнение, что сам поэт, крайне равнодушно относившийся к публикации своих произведений, не принимал никакого участия в подготовке этого сборника. Посылая книжку своему давнему знакомому, историку М. П. Погодину, Тютчев приписал на ней:

Стихов моих вот список безобразный:
Не заглянув в него, дарю им вас.
Не мог склонить своей я лени праздной,
Чтобы она хоть вскользь им занялась...¹

Следовательно, принятое в текстологии правило считать текст произведений в последнем прижизненном издании за основной, отражающий последнюю авторскую волю, здесь не срабатывает. Есть несогласие даже в том, кто же готовил томик 1868 года. Г. И. Чулков полагал, что это — издание И. С. Аксакова при участии П. И. Бартенева². А по мнению А. А. Николаева, сборник подготовлен И. Ф. Тютчевым и И. С. Аксаковым³. Во всяком случае основным составителем этой книги был известный поэт и публицист И. С. Аксаков, зять Тютчева, женатый на его дочери Анне. В своей знаменитой биографии Тютчева Аксаков вспоминал о том, как готовился сборник 1868 года: «Не было никакой возможности достать подлинников руки поэта для стихотворений еще не напечатанных, — ни убедить его просмотреть эти пьесы в тех копиях, которые удалось добыть частью от разных членов его семейства, частью от посторонних. Между тем некоторые из этих копий были ошибочны или несогласны между собой. Пришлось выбирать лучшие и печатать без всякого участия со

стороны самого автора. Мало того, ему было доставлено оглавление всей предполагавшейся книжки: оно пролежало у него месяц и было возвращено — не просмотренное; он даже и не взглянул на него. Когда же издание было окончено печатанием, и ему предварительно был прислан экземпляр, то кто-то из присутствовавших, рассматривая при нем книжку, обратил его внимание на некоторые стихотворения, которых появление в печати было по некоторым причинам для Тютчева нежелательно. Нужно было эти стихотворения исключить, для чего некоторые страницы перепечатать. При этом случае Тютчеву пришлось прочесть оглавление всей книжки, и он был огорчен помещением многих, действительно очень слабых и мелких стихотворений, — которые впрочем в издании 1868 г. были только перепечатаны с издания «Современника»... Но делать было нечего, — потому что оглавление было уже на его предварительном просмотре и возвращено было им для издания без поправок и исключений, как им одобренное»⁴.

По требованию автора из уже отпечатанного тома было изъято четыре стихотворения: СХХХVI «N.N. (При получении от него в подарок очков)» («Есть много мелких, безымянных...»), CLIX («Как верно здравый смысл народа...»), CLXVIII «К портрету» («Два разнородные стремленья...») и CLXXI «Еще князю П. А. Вяземскому» («Когда дряхлеющие силы...»). Первое из них, с довольно ехидным подтекстом, было адресовано великому князю Константину Николаевичу, второе и третье — злые эпиграммы на крупных сановников: воспитателя наследника престола — графа С. Г. Строганова и петербургского генерал-губернатора князя А. А. Суворова, четвертое — дружеское увещевание князю П. А. Вяземскому, раздраженному нападками на него в передовой журналистике шестидесятых годов. Конечно, Тютчеву неприятно было бы видеть эти стихи опубликованными. Как пишет Аксаков, требование поэта было исполнено: нежелательные стихотворения изъяты. Поскольку далеко не все страницы в сборнике были пронумерованы, то операция оказалась относительно несложной. Из тома было удалено 5 листов, на которых находились эти стихотворения. Они были заменены всего двумя листами, на которых были вновь напечатаны стихотворения, не вызывавшие нареканий, но случайно оказавшиеся на вырванных листах. Были перепечатаны и два листа оглавления. Чтобы не перепечатывать заново весь том, издатели решили оставить прежнюю нумерацию как самих стихотворений, так и страниц книги.

Считалось, что практически не осталось полных экземпляров сборника. В 1938 году в «Литературной газете» появилось

небольшое сообщение, автор которого, подписавшийся криптонимом «М. О.», утверждал: «Нам известен только один экземпляр этой исключительной библиографической редкости. Экземпляр интересен особенно тем, что наряду с сохраненными тремя вырезанными листами мы находим в нем и перепечатанную страницу. Некоторая разница бумаги дает основания предполагать, что в данном случае в экземпляр вставлены корректурные листы и в прошлом он мог принадлежать кому-нибудь из ближайших друзей Тютчева, если не самому Аксакову»⁵. К сожалению, в самом сообщении много неточностей, да и описание экземпляра сделано весьма поверхностно, даже не сообщается о его местонахождении. Автор говорит лишь о трех изъятых из книги стихотворениях. Очевидно, ему не было известно, что Тютчев потребовал удаления и стихотворения «N.N. (При получении от него в подарок очков)». Во всяком случае, в то время это был единственный известный полный экземпляр тютчевского сборника. Автор сообщения прибавлял к этому: «... даже в крупнейших государственных собраниях мы находим только второй вариант книги», с купюрами. Это мнение было принято на веру, и даже в книге, вышедшей спустя 40 лет, повторяется версия об уникальном экземпляре издания 1868 года⁶. Однако это не так. Просмотр 6 экземпляров сборника, хранящихся в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина, позволил выявить целых три полных тома, со всеми четырьмя стихотворениями, причем два из них находятся в общем хранении

(шифры О¹⁵ — и М⁶¹ —). Третий полный экземпляр — из библиотеки князя П. А. Вяземского — хранится в отделе редких книг

(МК⁸⁵ — ¹¹⁷ХП.А.7). Чрезвычайно любопытен и экземпляр сборника,

вброшюрованный в конволют (МК⁸ — ^{ХП.А.7}16): из четырех

стихотворений в нем сохранилось одно, адресованное великому князю Константину Николаевичу. Экземпляр сборника с сохранившимся одним стихотворением, на этот раз другим — «Как верно здравый смысл народа...», имеется в моем собрании.

Таким образом, говорить об уникальности полного сборника стихотворений Тютчева 1868 года не приходится. По крайней мере, два полных экземпляра, судя по штемпелям, имелись в Библиотеке им. Ленина и до 1938 года, когда появилось сообщение М. О. Вероятно, тщательное обследование позволит выявить и в других государственных и личных

собраниях полные экземпляры и разновидности этого издания.

Вместе с тем не следует забывать, что полные экземпляры и разновидности сборника 1868 года достаточно редки и очень ценны. Прежде всего, они принадлежали, как правило, людям из близкого окружения Тютчева, и история, судьба конкретных экземпляров, если ее удастся проследить, интересна и сама по себе, и как неизвестный сюжет, связанный с биографией и творчеством выдающегося русского поэта-лирика. Сборник 1868 года важен и в текстологическом плане. Здесь особенное внимание стоит уделить исследованию текста тех 75 стихотворений, которые были созданы между 1854 и 1868 годами. Ведь тютчевские автографы многих из них не сохранились, и, следовательно, тексты издания 1868 года могут оказаться более авторитетными, чем другие источники — печатные и рукописные. Наконец, конкретные экземпляры сборника 1868 года незаменимы при воссоздании истории этого прижизненного издания, еще слишком мало известной. Так, при проведенном сличении оглавления сборника со стихотворениями, помещенными в нем, обнаружилось, что в оглавлении не указаны также стихотворения СХL и СХLIX. В отношении стихотворения СХLIX оказалось, что это случайный пропуск: в составе тома оно есть — «И самый дом наш будто ожил...». Стихотворение же СХL, которое должно было быть на страницах 193 — 194, отсутствует буквально во всех просмотренных нами экземплярах: полных и неполных. Очевидно, оно было первым изъято И. С. Аксаковым, еще до посылки пробного полного экземпляра в Петербург Тютчеву. Судя по рассказу Аксакова, большая часть стихотворений набиралась по изданию «Современника» 1854 года. Однако существуют два различных издания этого года. Одно — в виде приложения к 3 и 5 номерам «Современника» за 1854 год. Здесь было напечатано 111 стихотворений, составивших общую книжку в 72 страницы. Вскоре книжка была перепечатана в другом формате, в ней оказалось уже 148 страниц. Стихотворений же помещено 110 — Николай I из дипломатических соображений запретил панславистское стихотворение «Не гул молвы прошел в народе...», названное самим поэтом «Пророчество», и оно было исключено из сборника. Вполне возможно, что часть издания 1868 года набиралась именно по тексту приложения к «Современнику» 1854 года, и отсюда под № СХL было перепечатано стихотворение «Не гул молвы прошел в народе...», изъятое Аксаковым уже из напечатанного тиража.

Как видим, в истории этого издания еще немало неизвестных страниц.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Цит. по кн.: Аксаков И. С. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886. с. 324.

² Чулков Георгий. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.; Л., 1933, с. 193.

³ Королева И. А., Николаев А. А. (Сост.). Ф. И. Тютчев. Библиогр. указатель произведений и литературы о жизни и деятельности. 1818—1973. Под ред. К. В. Пигарева. М., 1978, с. 7.

⁴ Аксаков И. С. Биография Федора Ивановича Тютчева, с. 323—324.

⁵ М. О. Уникальный экземпляр стихов Тютчева.— Лит. газ., 1938, 10 дек.

⁶ Королева И. А., Николаев А. А. Указ. соч., с. 7 и 118.

БУНИН — ЧИТАТЕЛЬ ПУШКИНА

Неизвестные записи на книгах

Чем было для Бунина чтение Пушкина, лучше всего сказал он сам: оно было «вовсе не чтением, а подлинной частью»¹ его жизни.

Пушкин был с ним «с самого начала» — с детских лет — и «так особенно», как никто другой из русских поэтов. Он сопровождал его «первые любовные и поэтические мечты». Бунин писал стихи, иногда подражая ему сознательно или потому, что душа была полна «его веянием». В этом признавался он в статье «Думая о Пушкине», а потом писал об этом в «Жизни Арсеньева».

В старости отметил в дневнике: «Все перечитываю Пушкина».

Перечитывал — после многих других заветных томиков поэта — и Собрание сочинений в 4-х томах (Берлин, изд-во И. П. Ладыжникова, 1921²).

На полях книг сделал многочисленные записи и пометки. В них выразилось его неизменное преклонение перед Пушкиным, иногда спор с ним.

Некоторые стихи и статью о Пушкине он писал с чувством, точно все написанное «смирненно слагал к его стопам, в страхе своей недостойности... перед ним»³. В заметках на книгах Бунин — наедине с самим собой, как в дневниках; это записи для самого себя; читая Пушкина, он исследует его творчество, подвергает его критическому анализу и из его первоначальных опытов не все воспринимает одобрительно.

Против отдельных ранних стихотворений Бунин написал: «Плохо». Таковы: «Гроб Анакреона», «Мое завещание друзьям», «Вода и вино», «Погреб», «Воспоминание» («Помнишь ли, мой брат по чаше...»), «Батюшкову», «Эпиграмма» («Бывало прежних лет герой...»), «К И. И. Пущину», «Послание к Юдину», «К А. И. Галичу», «Слеза», «Мечтатель», «К живописцу», «Роза», «Князю А. М. Горчакову», «Моему Аристарху», «Сра-

женный рыцарь», «К баронессе М. А. Дельвиг», «И так я счастлив был и так я наслаждался...», «Вишня», «К Маше».

Другие лицейские стихи получили еще более резкую оценку. К стихотворению «Казак» Бунин написал: «Детская ерунда»; при этом он отметил подчеркиванием и вопросительным знаком строку, почему-то вызвавшую его недоумение: «Пистолеты при колене». В конце стихотворения «Наполеон на Эльбе» написал: «Оч. плохо!» А «Измены» сопровождает восклицанием: «О боже мой!»; «Послание к Галичу» («Где ты, ленивец мой?..») названо «ужасным». О стихотворении «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году» написал: «Невозможно читать». Эти стихи написаны Пушкиным по заказу.

Заказаны были также стихи «Принцу Оранскому» по случаю женитьбы сына нидерландского короля Вильгельма I — принца Оранского на сестре Александра I. Пушкин написал их часа в два. Потом он сказал о них:

И даже,—каюсь я,—пустынник согрешил.
Простите мне мой страшный грех, поэты,
Я написал придворные куплеты,
Кадилом дерзостным я счастию кадил.

Придворные куплеты определены Буниным как «вполне вирши».

Бунин не только критиковал некоторые лицейские стихи, но и преклонялся перед гением юного Пушкина. Он писал:

«Прочел в „Новом русском слове“ в письме к князю Вяземскому Василия Афанасьевича Бунина (ставшего на мое великое горе, волей подлой судьбы, Василием Андреевичем Жуковским). Он писал о том, как впервые увидел Пушкина, которому шел тогда всего шестнадцатый год, в Царском Селе:

„Я был у него на минуту в Царском Селе. Милое, живое творение. Он мне обрадовался и крепко прижал руку мою к своему сердцу. Нам всем надо соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который нас всех перерастет...“

Не знаешь, кому больше дивиться в этом письме! До чего жив, очарователен, нов тут Пушкин! И до чего прекрасен и прозорлив тот, кто это письмо писал!»⁴

Новизна стихов Пушкина-лицейца не ускользнула от Бунина,—то, что в них личное чувство выражалось с легкостью и изяществом, как у Жуковского, учеником которого он себя считал; некоторые из них были навеяны событиями лицейской жизни, а иные тем, что происходило в литературе

того времени — они были остроумны, задиристы, с оттенком шутливости и некоторого как бы озорства, как и письма Пушкина тех лет. Это была полная противоположность тяжеловесному слогу, унаследованному русской литературой в начале прошлого столетия от эпохи классицизма.

Бунин, читая Пушкина, стремился уяснить пути преодоления им отживших канонов в русской поэзии и проявление его творческой индивидуальности. Если в таком стихотворении, как «Воспоминания в Царском Селе» (названном лицейским другом Пушкина И. И. Пущиным «великолепным»), неприемлема была для Бунина «важность, напыщенность» слога, то о первом политическом стихотворении Пушкина «Лицинию», в котором он провозглашает: «Я рабство ненавижу», — Бунин записывает: «Это уже гораздо лучше». «Бова», написанный в 1814 году, в легком стиле, на сюжет народной сказки о Бове-королевиче, четырехстопным хореем с дактилическими окончаниями, без рифм, — что сближало этот отрывок из поэмы с народными русскими песнями, — отмечен Буниным такими словами: «Это уже начинается Пушкин». К стихотворению «От всеобщей вечер идя домой...» (1814—1817), замысел которого возник под впечатлением живой уличной сценки, Бунин делает запись: «Отлично». Стихотворение «К Жуковскому» («Благослови, поэт!.. В тиши парнасской сени...»), приуроченное к предполагавшемуся изданию книги стихов Пушкина, в котором речь идет о современных писателях, оценивается Буниным как значительнейшее среди стихов шестнадцатилетнего поэта: «Вот отсюда начинается Пушкин!» Вольнолюбивые стихи «Деревня» и ода «Вольность» одобрителем отмечены крестиками.

В конце поэмы «Руслан и Людмила», начатой Пушкиным еще в Лицее и работу над которой он продолжил в 1818—1820 годы, Бунин написал: «Довольно ничего себе написано». Сам Пушкин позволял себе отзываться иронически о своих ранних поэмах, он писал А. А. Бестужеву 30 ноября 1825 года: «Руслан молокосос, Пленник зелен».

В стихотворениях, с которыми прошла вся его молодость, Бунин отчеркнул строки, взятые им для статьи «Думая о Пушкине» (1926), а также для романа «Жизнь Арсеньева» (1927—1929, 1933). В этой статье он цитирует стихотворения «К Делии», «Ночь», «К морю», «Блаженство», «Ненастный день потух; ненастной ночи мгла...», «Нереида» и пишет:

«Вот я сижу в весенние сумерки у раскрытого окна темной гостиной, и опять он со мной, выражает мою мечту, мою мольбу: „О, Делия драгая, спеши, моя краса, звезда любви золотая взойшла на небеса...“ Вот уже совсем темно, и на весь

сад томится и цокает соловей, а он спрашивает: „Слышали ль вы за рощей глас ночной певца любви, певца своей печали?“ Вот я в постели, и горит „близ ложа моего печальная свеча“,— а не электрическая лампочка,— и опять его словами изливаю я свою выдуманную юношескую любовь: „Морфей, до утра дай отраду моей мучительной любви!“ А на утро чудесный майский день, и весь я переполнен безотчетной радостью жизни, лежу в роще, в пятнах солнечного света, под сладкое пение птиц,— и читаю строки, как будто для меня и именно обо мне написанные:

В роще сумрачной, тенистой,
Где, журча в траве душистой,
Светлый бродит ручеек...

...А вот осенняя, величаво-печальная осенняя ночь и тихо восходит из-за нашего старого сада большая, красновато-мглистая луна: „Как привидение, за рощею сосновой луна туманная взошла“,— говорю я его словами, страстно мечтая о той, которая где-то там, в иной, далекой стране, идет в этот час „к брегам, потопленным шумящими волнами“— и как я могу определить теперь: бог посылал мне мою тогдашнюю муку по какому-то прекрасному и печальному женскому образу или он, Пушкин?

А потом первые поездки на Кавказ, в Крым, где он— или я?— „среди зеленых волн, лобзающих Тавриду“, видел Нериду на утренней заре...» (IX, 457—458).

В статье даны начальные строки стихотворения «Слеза» (1815), которое Бунин, еще ребенком, слышал в чтении матери. Оно обозначено пометкой: «Плохо». Но оно было для него как бы некой частью того прекрасного поэтического мира, где росла его мать, «где в усадьбах было столько чудесных альбомов с пушкинскими стихами, и как же было не обожать и мне Пушкина,— пишет Бунин,— и обожать не просто, как поэта, а как бы еще и своего, нашего?»

— „Вчера за чашей пуншевою с гусаром я сидел... “— с ласковой и грустной улыбкой читала она, и я спрашивал:

— С каким гусаром, мама? Дядя Иван Александрович тоже был гусар?» (IX, 456—457).

Многие стихи Пушкина Бунин читал, как бы для него, о нем написанные. Он отмечает слова Овидия, принужденного обстоятельствами жить в античном городе Томы (ныне Констанца в Румынии), тоскующего о родине; слова, которые выражали также его собственные чувства, его думы о России:

Приблизьте хоть мой гроб к Италии прекрасной!
(«К Овидию»)

Пушкинская «Осень» — это и его, Бунина осень, он сам жил всем, о чем говорит поэт в стихотворении, радовался чудным картинам природы, это он, подобно пушкинскому «соседу», поспешает

В отъезжие поля с охотой своей,
И страждут озями от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.

Все это было у него самого: и эти выезды на охоту, и быстрый и вольный «бег саней» с подругою, описанный также и им,—

Когда под сободем, согрета и свежа,
Она вам руку жмет, пылая и дрожа!
.....
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят—я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн...

Вот он, еще юный гимназист, мчится в санях с Эмилией Фехнер, названной в «Жизни Арсеньева» Анхен:

«И конечно, я очутился в розвальнях с Анхен... Как забыть этот ночной зимний звон колокольчиков, эту глухую ночь в глухом снежном поле!.. Как забыть... впервые в жизни взятую в свои молодые, горячие руки вынутую из меховой перчатки теплую девичью руку—и уже ответно, любовно мерцающие сквозь сумрак девичьи глаза!» (VI, 102—103).

О ней он писал и в дневнике.

Бунин отчеркнул в стихотворении «Осень», будившем собственные впечатления бытия—такие отрадные и поэтические,—первую строфу и цитированные строки из второй строфы, в девятой—четыре первые строки:

Ведут ко мне коня; в раздолии открытом,
Махая гривую, он всадника несет,
И звонко под его блистающим копытом
Звенит промерзлый дол и трескается лед.

Делая пометки в «Евгении Онегине», Бунин как бы повторяет за Пушкиным:

Я был рожден для жизни мирной,
Для деревенской тишины...

И он нередко готов был, как пушкинская Татьяна, отдать блеск и шум городской жизни

За полку книг, за дикий сад,
 За наше бедное жилище

 Да за смиренное кладбище.

В этих словах выражены чувства самого Пушкина, говорившего: «...я деревенскую жизнь очень люблю» (письмо А. А. Дельвигу от 26 ноября 1828 г.).

Бунин вырос в деревне и почти каждое лето проводил в орловской усадьбе; в глуши, в уединении, а не в столицах, он лучше всего писал. А то уезжал в лесной край, в Витебскую губернию, много ходил полевыми дорогами и звериными тропами векового бора, по деревням, заглядывал в дома крестьян; здесь, в Себежском уезде, он отметил в дневнике 12 августа 1912 года: «С необыкновенной легкостью пишу все последнее время стихи. Иногда по несколько стихотворений в один день, почти без помарок»⁵. Это были такие великолепные стихотворения, как «Псковский бор», и истинно народные «Два голоса», по мотивам русской народной песни «Ночь темна да не месячна...», «Белый Олень» — на сюжет русской народной песни «Не разливайся, мой тихий Дунай...».

Ведь это он сам мог сказать нечто подобное тому, что Пушкин написал о себе в вариантах к «Онегину»:

Уехал в тень лесов тригорских,
 В далекий северный уезд,—

от всего, чем была наполнена его жизнь в городе.

Отмечая эти пушкинские строки и предшествующие им четыре строки, вчитываясь в его поэзию и прозу, Бунин утверждался в мысли, как важно для поэта не порывать с землей, как необходимо жить среди народа, чтобы чувствовать его душу и правдиво писать о нем. «Вот зимний вечер, вьюга,— писал Бунин в статье „Думая о Пушкине“,— и разве „буря мглою небо кроет“ звучит для меня так, как это звучало, например, для какого-нибудь Брюсова, росшего на Трубе в Москве?» (IX, 457).

Знание природы у Бунина удивительное. Он писал в дневнике: «Уже по одному тому, как высока крапива, мог бы я безошибочно определить, какое сейчас время лета. А кроме того, сколько едва уловимых, но мне столь знакомых, родных с детства, совсем особых запахов, присущих только рабочей поре, косьбе, ржаным копнам!»⁶

У символистов природа предстает преображенной, как создание мечты поэта. Брюсову не нужны были для стихов ни

натуральная крапива, ни натуральные запахи ржаных копен. Отказ от подобных реальностей он даже считал программой своего стихотворства:

Создал я грезой моей
Мир идеальной природы.
О, как ничтожны пред ней
Степи, и скалы, и воды!

Постижение Пушкиным красоты русской природы, ее тайн, мира окружающего привело Бунина в изумление, он говорил, что у Пушкина «был совершенно непогрешимый инстинкт, какое-то чудовищное, небывалое чутье». Однажды, на юге Франции, возвращаясь домой по горам, мимо шумного потока, он вдруг стал декламировать «Обвал»:

«Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы,
И надо мной кричат орлы,
И рощет бор...

Это черт знает, как хорошо. Точнее и лучше сказать невозможно. Каждый раз как я вспоминаю какие-нибудь пушкинские строчки, на меня точно столбняк находит. Я немею от восторга, от удивления. В мировой литературе не было ничего отдаленно похожего»⁷.

Иные пушкинские стихи Бунин делал как бы своими, включая их в повествование о юном Арсеньеве, своем двойнике в автобиографическом романе «Жизнь Арсеньева», слегка изменив в соответствии с контекстом:

В те дни в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне...

«То, среди чего, говоря словами Пушкина, „расцветал“ я, очень не походило на царскосельские парки. Но как пленительно, как родственно звучали для меня тогда пушкинские строки о них! Как живо выражали они существенность того, чем полна была моя душа,— те тайные лебединые клики, что порою так горячо и призывно оглашали ее!» (VI, 93).

Словами из «Медного всадника», отчеркнутыми с двух сторон жирными чертами, Бунин начал свое стихотворение о Петрограде и в столетнюю годовщину смерти поэта включил их в стихотворную запись в альбом известного театрального деятеля и пушкиниста С. М. Лифаря. Гибель Пушкина, говорит Бунин в этой записи, «одно из самых скорбных событий во всей истории России, что дала Его...

Красуйся, град Петров, и стой
 Неколебимо, как Россия...
 О, если б узы гробовые
 Хоть на единый миг земной
 Поэт и царь расторгли ныне!»⁸

В 1937 году Бунин произнес в Париже речь, посвященную Пушкину⁹. Говорил о «Пушкинском служении».

Он писал поэтессе С. Ю. Прегель 5 мая 1949 года: имя Пушкина — «священно для русской литературы»¹⁰.

Можно сказать словами Бунина, писавшего о самом себе, что «книга... жизни» Пушкина, если бы рассказал о себе он сам, была бы не менее интересна, чем все то, что он написал. Если бы Пушкин, говорил Бунин, «совершенно просто, не думая ни о какой литературе, записывал то, что видел и что делал, какая это была бы книга! Это, может, было бы самое ценное из того, что он написал. Записал бы, где гулял, что видел, читал...»¹¹.

То, как он жил — «мыслил и страдал», — выразилось в его стихах, во всех его творениях. Ведь всякое подлинно художественное произведение автобиографично, писатель вкладывает в него, говорил Бунин журналисту А. К. Перову, «часть своей души», выражает свое виденье мира. И прав был Блок, говоря, что живет только «исповедническое» искусство.

Пушкин иногда делал такого рода признания: «В четвертой песне „Онегина“ я изобразил свою жизнь» (письмо П. А. Вяземскому от 27 мая 1826 г.).

Чтение Пушкина вызывало раздумия Бунина о судьбе поэта. В стихотворении «Чем чаще празднует Лицей...» он отметил строки:

И смерти дух средь нас ходил
 И назначал свои закланья.

.....
 И мнится, очередь за мной...

К словам заключительной строфы «Онегина» —

Блажен, кто праздник жизни рано
 Оставил, не допив до дна
 Бокала полного вина... —

Бунин сделал запись: «Он не допил!»

Он говорил, что еще с юности не мог понять, постичь того, что Пушкин погиб. Двадцать первого июня 1949 года он писал: «Полтора века тому назад бог даровал России великое счастье. Но не дано было ей сохранить это счастье. В некий страшный срок пресеклась, при ее попустительстве, драгоцен-

ная жизнь Того, Кто воплотил в себе ее высшие совершенства»¹².

Для Бунина Пушкин — а затем Толстой — имели исключительное значение. Судьбе угодно было определить также и ему немалую роль в борьбе века нынешнего и века минувшего.

Бунин был в конфликте с целой литературной эпохой. Символизм, декадентство, акмеизм, футуризм и другие направления и группы, появившиеся в конце XIX и в начале XX века, шумно заявляли о себе. У автора «Листопада» было с ними мало общего. Он болезненно переживал понижение эстетических вкусов. В 1913 году он говорил, что в литературе последнего десятилетия много уродливых явлений, что она «в упадке», слова стали дешевы, а критика «пала донельзя», что теперешний писатель, «не стыдясь, называет себя „мудрым“, „многогранным“, „дерзновенным“, „солнечным“... А меж тем... исчезли драгоценнейшие черты русской литературы: глубина, серьезность, простота, непосредственность, благородство, прямота,—и морем разлилась вульгарность, надуманность, лукавство, хвастовство, фатовство, дурной тон, напыщенный и неизменно фальшивый. Испорчен русский язык...»¹³

В борьбе с декадентством и с теми уродливыми явлениями в литературе, которые ему сопутствовали, Бунин обращался к поэтам прошлого — к Баратынскому, Некрасову, Никитину. Они становились его союзниками в стремлении отстоять заветы Пушкина, поэзия которого — «воплощение простоты, благородства, свободы, здоровья, ума, такта, меры, вкуса» (IX, 454).

Бунин видел сходство своей литературной судьбы с судьбой Пушкина. Его «Деревня», «Ночной разговор» и многие другие рассказы 1910-х годов резко рисовали «русскую душу, ее светлые и темные, часто трагические основы. В русской критике и среди русской интеллигенции,— писал он,— где, по причине незнания народа или политических соображений, народ почти всегда идеализировался, эти „беспощадные“ произведения мои вызывали страстные враждебные отклики». Писатель-новатор подвергался нападкам критики и в дальнейшем — за прозу и стихи.

Многое из того, что приходилось читать о себе Пушкину, также немало горечи влило в его душу. Его лучшие вещи — «Борис Годунов», «Полтава», «Евгений Онегин» — вызывали в определенных литературных кругах неодобрительные, а то и враждебные отклики. Его упрекали в употреблении «низких слов», «мужицких выражений», обвиняли за «Руслана и Людмилу» в безнравственности, а «Графа Нулина» находили «похабным» — и т. д.

Бунин отметил строки в «Разговоре книгопродавца с поэтом», которые в иные, горестные минуты мог бы произнести и он сам:

Блажен, кто молча был поэт
И, терном славы не увитый,
Презренной чернью забытый,
Без имени покинул свет!

Презренная чернь — это в немалой степени одиозная фигура Булгарина, издававшего в компании с Гречем газету «Северная пчела» под покровительством III отделения, нападавшую на Пушкина. Им, по словам Пушкина, «головой» была выдана русская словесность (письмо П. А. Плетневу от 9 декабря 1830 г.).

Поэт сказал:

Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить.
Живу, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.

Эти строки были близки Бунину, и он их также отметил.

Пушкин верил, что в памяти народной останутся только те поэты, чье истинное назначение — великое и даже пророческое.

Творчество такого поэта проникает в тайны жизни, недоступные разумению «толпы»:

...Неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.

Бунин отмечает приведенные выше строки стихотворений «Из Пиндемонти», «Пророк» и тринадцатую строфу неоконченной поэмы «Езерский»:

Зачем крутится ветер в овраге,
Подъемлет лист и пыль несет,
Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждет?
Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, тяжел и страшен,
На черный пеня? Спроси его.
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,

Как месяц любит ночи мглу?
 Затем, что ветру и орлу
 И сердцу девы нет закона.
 Гордись: таков и ты, поэт,
 И для тебя условий нет.

«Толпа» полагает, что поэт «рожден для ее пользы и удовольствия», она не понимает того, что «цель художества есть идеал, а не нравоучение», — пишет Пушкин.

И для Бунина, который чувствовал свою органическую связь с Пушкиным и его эпохой, «поэзия есть бог в святых мечтах земли»¹⁴. Эти слова Жуковского он повторял по разным поводам неоднократно. Стихи Бунина — это высокая поэзия, столь необходимая в век, когда, как писал Толстой, происходила потеря в литературе «нравственного критерия»¹⁵, и стал возможен разрыв с Пушкиным. Бунин утверждал вечные ценности — добро и красоту, это неизмеримо возвышало его над всем, что было модой, что лишено было большой глубины.

У Бунина — сопричастность ко всему «тайному и дивному», что наполняет мир, что «не поддается разуму, анализу, а постигается любовью. Без этого чувства, — писал И. И. Левитан Чехову, — не может быть истинный художник»¹⁶. Бунин, захваченный идеями трансцендентными, следовал принципу, который с предельной ясностью сформулировал Толстой: искусство «высказывает такие тайны, которые нельзя высказать простым словом»¹⁷. Без такой — непостижимой — глубины русская литература утратила бы свое мировое значение. Толстой и Достоевский боролись, говорил Бунин, против превращения литературы в провинциальную. Сам он продолжил их традицию в своем противостоянии всему, что недостойно было именоваться «серебряным» веком русской литературы, — и декадентствующим, и «бытовикам» (термин Бунина). Традиция эта шла от Пушкина, сказавшего, что талант «неизъясним». В противоположность рассудочному, упрощенному пониманию искусства Пушкин говорил, что поэзия «должна быть глуповата» — ей свойственны упоение и самозабвение. Для творчества, говорил также Бунин, необходимо «некое одурение, хмель, глупость». Читая Пушкина, он отмечал упоительные строки о любви («Ночь»: «Мой голос для тебя и ласковый и томный...» и т. д.), о непостижимости этого чувства, — стихи, записанные Пушкиным в альбом Е. М. Завадской:

Все в ней гармония, все диво,
 Все выше мира и страстей;

Она покоится стыдливо
В красе торжественной своей.
.....
Вдруг остановишься невольно
Благоговея богомольно
Перед святыней красоты.
(«Красавица»)

В «Евгении Онегине» Бунин отмечает стихи:

Я знал красавиц недоступных,
Холодных, чистых, как зима,
Неумолимых, неподкупных,
Непостижимых для ума.

Строки в вариантах к «Онегину» должно быть будили в памяти «давно умолкнувшие чувства» любви Бунина к В. В. Пащенко, которую он воскресил под именем Лики в «Жизни Арсеньева»:

И сердцу женщина являлась
Каким-то чистым божеством.
.....
Ее любовь казалась мне
Недосягаемым блаженством.

Но —

Сменит не раз младая дева
Мечтами легкие мечты;
Так деревцо свои листы
Меняет с каждою весною.
Так, видно, небом суждено.

Бунин заносит слова Флобера в дневник 13 сентября 1940 года, во время работы над книгой о любви «Темные аллеи»: «Женщины кажутся мне чем-то загадочным. Чем более изучаю их, тем менее понимаю».

И вот — фиксирует он в «Евгении Онегине»:

О люди! все похожи вы
На прародительницу Эву...—

и далее пять строк.

Бунина интересовало изображение Пушкиным исторического прошлого России, его суждения о народе, о царях. В главе десятой «Онегина» он отметил слова:

Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?

И слова Басманова в «Борисе Годунове»: «Всегда народ к смятенью тайно склонен», — отметил несколькими черточками. Отчеркнул и слова Пимена:

Владыкою себе царубийцу
Мы нарекли.

Бунин останавливает свое внимание также на словах Шуйского:

Вчерашний раб, татарин, зять Малюты,
Зять палача и сам в душе палач,
Возьмет венец и бармы Мономаха...

Для Бунина было злободневно то, что правителями могли быть ничтожества, вознесшиеся на вершину власти, палачи, — для подтверждения этого достаточно назвать столь ненавидимых ему Гитлера и Муссолини, о которых он сказал немало злых слов. Он говорил жене Вере Николаевне в 1907 году, во время путешествия в Капернаум и Табху: «Надо всегда представлять прошлое, исходя из настоящего». Разумеется, осмысление отдельных реплик пушкинской трагедии о злодеянии царя Бориса не противоречит взгляду, что Борис — личность героическая, с очень сложным душевным миром.

Привлекли внимание Бунина слова о неизбежности возмездия преступному царю:

И мальчики кровавые в глазах...
И рад бежать, да куда... ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.

Жалобы Бориса на народ также отмечены Буниным:

Живая власть для черни ненавистна.
Они любить умеют только мертвых...
.....
Кто ни умрет, я всех убийца тайный...—

и далее три строки.

В этой отчужденности правителя от народа — тоже неизбежность возмездия за содеянные преступления.

Пристальное внимание Бунина привлек монолог Бориса: «Ух, тяжело! ...дай дух переведу...» — заканчивающийся словами: «Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!» — о терзаниях совести царя.

Той же идее моральной чистоты как неперемennого условия величия человека служат слова Моцарта:

...Гений и злодейство —
Две вещи несовместные...—

отмеченные Буниным внушительно — двумя жирными чертами. Это — идея русской литературы и после Пушкина, наиболее впечатляюще выраженная в таких хрестоматийных образах, как Наполеон в «Войне и мире» с его мнимым величием, Раскольников, считавший возможным преступить — убить старуху, чтобы, завладев ее состоянием, выбиться из жалкого положения нищего студента и подняться до положения, когда он сможет предаться деятельности на общую пользу.

Бунину дорого было в Пушкине то, что он, подобно Карамзину, автору «Истории государства Российского», поэт истории; ведь сам Пушкин сказал: «История народа принадлежит поэту» (письмо Н. И. Гнедичу от 23 февраля 1825 г.). В «Борисе Годунове» Бунина захватило необыкновенное чувство древности, свойственное Пушкину, русской старины — того, что шло от сказаний давнего прошлого, от летописей. Все это было созвучно Бунину. Он говорит в рассказе «Чистый понедельник»: «Я русское летописное, русские сказания так люблю, что до тех пор перечитываю то, что особенно нравится, пока наизусть не заучу». Эти слова героини рассказа, несомненно, передают чувства автора.

И Бунин с особенным вниманием отчеркивает — жирными чертами и перекрещивающимися линиями — строки в монологе Пимена, в котором Пушкин собрал черты, пленившие его в «старых летописях: простодушие, умилительная кротость, нечто младенческое и вместе мудрое, усердие... совершенное отсутствие суетности, пристрастия — дышат, — писал Пушкин, — в сих драгоценных памятниках времен давно минувших...»

Вот отмеченные Буниным строки:

Своих царей великих поминают...—

и далее шесть строк, а затем:

Немного лиц мне память сохранила,
Немного слов доходит до меня,
А прочее погигло невозвратно...

В этих словах — в некоторой мере сам Бунин, живший воспоминаниями.

Читая Пушкина, он останавливает внимание также на Петре в «Медном всаднике», великом преобразователе России. На пустынном берегу Финского залива

По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,

Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.

Но здесь возник «град Петров», и Бунин, отметив приведенные выше стихи, устремляет свой карандаш (красный, чернильный) на длинный отрывок, начинающийся словами: «Люблю тебя, Петра творенье...» — и заканчивающийся строкой: «И, чуя вешни дни, ликует».

Пушкин оставляет неразрешимым противоречие между созидательной деятельностью «державца полумира» —

Того, чьей волей роковой
Под морем город основался...—

и мечтами о счастье ничем в жизни неприметного Евгения.

Эти строки отмечены Буниным — и следующие — о медной статуе царя:

О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?

Бунину, как и Пушкину, было ненавистно «невежественное презрение ко всему прошедшему» (VII, 245) и к памяти предков. В «Суходоле» он писал: «Многие из соплеменников наших, как и мы, знатны и древни родом. Имена наши поминают хроники; предки наши были и стольниками, и воеводами, и «мужами именитыми», ближайшими сподвижниками, даже родичами царей. И называйся они рыцарями, родись мы западнее, как бы твердо говорили мы о них, как долго еще держались бы!.. Не имеем мы ни даже малейшего точного представления о жизни не только предков наших, но и прадедов...» (III, 185). Бунин пишет о знатности рода суходольцев по реальным данным о своих предках. Его, как и Пушкина, упрекали нередко в том, что он будто бы кичился своей принадлежностью к дворянству да еще знатному. Пушкин писал (эти стихи отметил Бунин):

Могучих предков правнук бедный,
Люблю встречать их имена
В двух-трех строках Карамзина.
(«Езерский»)

...Геральдического льва
Демократическим копытом
У нас лягает и осел.
(Там же)

Привлекли внимание Бунина строки Пушкина, основанные на фольклоре: в «Борисе» — слова бродяги-чернеца Варлаама: «Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли: все нам равно, было бы вино... да вот и оно!», в «Русалке» — песня русалок: «Что сестрицы? в поле чистом...»

В вариантах к «Онегину» (глава восьмая, строфа пятая) Пушкин говорит: «Старик Державин нас заметил...» — и т. д., а затем:

И ты, глубоко вдохновенный
 Всего прекрасного певец,
 Ты, идол девственных сердец,
 Не ты ль, пристрастьем увлеченный,
 Не ты ль мне руку подавал
 И к славе чистой призывал.

Против этих строк Бунин написал: «Жук<овский>?»

Можно безошибочно предположить вслед за Буниным, что «к славе чистой призывал» тот, о ком Пушкин сказал, что у него «небесная душа», и он — «святой» (письмо Л. С. Пушкину от первой половины мая 1825 г.).

«Божественный глагол» Пушкина наполнял душу Бунина радостью приобщения к чуду творчества, и он в тех же словах, что Пушкин о Жуковском, говорит и о нем самом; однажды вспомнил «Сказку о царе Салтане»: «В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут», — и сказал: «Это божеское творение!»

Вот он прочитал в «Езерском»:

Над Петербургом омраченным
 Осенний ветер тучи гнал;
 Нева в течение возмущенном,
 Шумя, неслась. Упрямый вал,
 Как бы проситель спокойный,
 Плескал в гранит ограды стройной
 Ее широких берегов.
 Среди бегущих облаков
 Вечерних звезд не видно было —
 Огонь светился в фонарях,
 По улицам взвивался прах
 И буйный вихорь выл уныло,
 Клубя капоты дев ночных
 И заглушая часовых.

(IV, 396; первая редакция)

Бунин отчеркнул эти строки и против них написал: «До чего хорошо!»

В «Полтаве» он отметил колдовские стихи: «Тиха украинская ночь...» — и т. д., пятнадцать строк.

Бунин читал Пушкина и как редактор, текстолог: отмечал опечатки, ошибки, иногда ставил недоуменные вопросы, вписывал слова вместо точек.

В «Евгении Онегине», в главе восьмой, строфе XII устранил ошибочный порядок расположения строк. В издании Пушкина, которое Бунин читал, «Газит» озаглавлен — «Галуб». Бунин исправил на «Гасуб». В этой поэме он также отметил описание обряда похорон.

К строке: «Но ты взыграл неодолимый...» («К морю») — он написал: «Почему мужской род?»

Пометка в стихотворении «Когда твои молодые лета...» может быть принята текстологами, редактирующими издания Пушкина, как исправление ошибки. Бунин, с его невероятным чувством слова, в данном случае чрезвычайно авторитетный судья. В строке: «Не пей мучительной отравы...» — он переправил ч на т, — по его предположению, должно быть: «мутительной». При жизни Пушкина это слово печаталось в обоих вариантах: в первой публикации (Литературная газета, 1830, № 13, 1 марта) — «мутительной»; в издании стихов Пушкина 1832 года — «мучительной».

Не только стихи, но также рассказы и повести Пушкина получили высочайшую оценку Бунина. Он говорил, что проза Пушкина и Лермонтова «осталась непревзойденной».

То, как Бунин читал Пушкина и что говорил о нем, приближает к нам великого поэта, — живым, в облике нетленным, с его благодатным и спасительным влиянием на русскую литературу и русский язык, — этот «дар бесценный».

Истинно Пушкин — «наше все»¹⁸, как сказал Достоевский.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (ГБЛ); Бунин И. Жизнь Арсеньева. Париж, 1930, с рукописными исправлениями автора, с. 176.

² Это издание по текстам в иных случаях существенно отличается от современных изданий Пушкина, например: иначе озаглавлены некоторые стихотворения; к «Руслану и Людмиле» дано предисловие Пушкина, которое он исключил; стихотворение «Окно» — со строфами, также отброшенными автором; «Домику в Коломне» дана иная разбивка на строфы; «Полтава» также напечатана с предисловием, исключенным Пушкиным. Экземпляр этого Собрания сочинений с пометками Бунина хранится у меня и будет передан в Музей И. С. Тургенева в Орле.

³ Бунин И. А. Собр. соч. М., 1966, т. 9, с. 455. В дальнейшем при ссылках на это издание указываются только том и страница. Цитаты из стихотворных произведений Пушкина приводятся по изданию: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10-ти т. 4-е изд. Л.: Наука, 1977—1979.

⁴ См.: Вопросы литературы и фольклора. Воронеж, 1972, с. 190.

⁵ См.: Неман, Минск, 1980, № 6, с. 154.

⁶ Я Руси сын!..: Сборник. Воронеж, 1974, с. 153.

⁷ Проблемы реализма. Вологда, вып. 6, 1979, с. 177.

- 8 См.: Литературная Россия, 1977, № 39, 23 сент.
- 9 Там же.
- 10 ГБЛ, фонд 218, карт. 1315, ед. хр. 12.
- 11 В большой семье. Смоленск, 1960, с. 248.
- 12 Цитирую по имеющейся у меня фотокопии с автографа.
- 13 Бунин И. А. Полн. собр. соч. Пг., 1915, т. 6, с. 317.
- 14 Жуковский В. А. Полн. собр. соч. Пб., изд. А. Ф. Маркса, 1902, т. 10, с. 88.
- 15 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М., 1953, т. 53, с. 144.
- 16 Левитан И. И. Письма, документы, воспоминания. М., 1956, с. 30.
- 17 Запись Толстого в дневнике 17 мая 1895 г. (т. 53, с. 94).
- 18 Эти слова Достоевский взял из статьи Аполлона Григорьева.— Русское слово, 1859, № 2, с. 11.

ПРОПАВШАЯ КНИГА

Шел 1921 год. В Крыму налаживалась мирная культурно-просветительская работа среди красноармейцев, организовывались клубы, библиотеки.

414-й стрелковый полк был расквартирован на территории бывшего царского Ливадийского дворца. Я был прикомандирован к команде клуба. Вскоре меня вызвал военком и сказал:

— Надо организовать полковую библиотеку, пусть армейцы читают, просвещаются.

Где взять книги? Однако приказ есть приказ...

Был ясный, солнечный день, когда я вышел из Ливадийских ворот и направился вниз по шоссе в Ялту (город был переименован тогда в Красноармейск).

Во всю бушевала весна: уже проглядывала свежая трава, появились подснежники. Я шел и любовался зеркальной гладью моря. Чайки кружились недалеко от берега, на лету подхватывая мелкую рыбешку у поверхности воды. В ту голодную пору, к счастью местных жителей, да и нашему армейскому, «хамса» шла вдоль берега широким косяком. Рыба подходила настолько близко к суше, что мы, армейцы, черпали ее ведрами и выбрасывали на берег.

Я шел и думал: в какую «буржуйскую» дачу заглянуть, чтобы выполнить приказ военного комиссара полка. Наконец, остановился возле небольшого особняка и постучал в дверь застекленной веранды. Показалась маленькая старушка. Увидев высокую фигуру в военной форме, она долго не решалась открыть. Когда я объяснил, что пришел только за книгами для чтения, если они есть, старушка с опаской впустила меня в дом и провела в совершенно пустую комнату:

— Пожалуйста, берите, что вам надо,— сказала она.

Вдоль стен на полу лежали разложенные в алфавитном порядке по авторам книги. Здесь были полные собрания сочинений Горького, Короленко, Тургенева, Чехова, Толстого,

Мамина-Сибиряка, Успенского, Жюль Верна, Майн Рида, Конан Дойла, Фенимора Купера и других. Книги были в мягкой стандартной обложке — бесплатное приложение к журналу «Нива». Перевязав эти стопки, я собрался было уходить, как вдруг заметил большую пачку чистой нотной бумаги.

— А бумагу можно взять? — спросил я.

— Конечно.

Военком встретил меня с улыбкой и был, как видно, доволен.

— Ну вот, теперь будет что читать. Книги — в библиотеку, бумагу — сдать аптекаря, — сказал он...

Перебирая эти издания и нумеруя их, я обнаружил книгу в твердом синем переплете. Это были стихи Андрея Белого. На титульном листе автограф: «Дорогой Марии Павловне Чеховой, от автора» (текст воспроизвожу по памяти, была еще и дата, которой не помню).

Я прочел все стихи от начала до конца, и с тех пор полюбил этого поэта.

В Ялте проживал врач, лечивший Антона Павловича Чехова, — Ланда-Безверхий. Предполагая, что он поддерживает связь с сестрой писателя — Марией Павловной, — я пришел к нему и принес это издание. Мне хотелось, чтобы книга попала в руки адресата.

Заодно я поинтересовался: у кого мне пришлось взять книги и нотную бумагу? Как оказалось, я побывал в доме композитора В. И. Ребикова, часто навещавшего Антона Павловича Чехова в Ялте. Несколько раз встречал я его затем на набережной.

Через некоторое время наш полк передислоцировался. Я перешел на службу в часть Черноморского Военно-Морского Флота, затем был откомандирован на учебу и вскоре забыл о судьбе книги А. Белого.

Много лет спустя, осенью 1963 года, мне довелось отдыхать в Гурзуфе. Тихий, живописный поэтический уголок — филиал Дома творчества Художественного фонда — бывшая дача художника К. Коровина. Здесь Антон Павлович начал работать над пьесой «Три сестры».

Почему-то вспомнилась Ялта 1921 года, захотелось взглянуть на памятную книгу А. Белого.

...Ранним утром я подъезжал на катере к Ялте и вскоре уже был в Чеховском доме-музее, на Аутке.

Директор музея А. П. Белошапкин, услышав историю с книгой поэта, сразу же повел меня в комнату Марии Павловны. Мы поднялись по деревянной лестнице на мансарду с терраской. Комната выходила на юг, в сад, откуда уже не

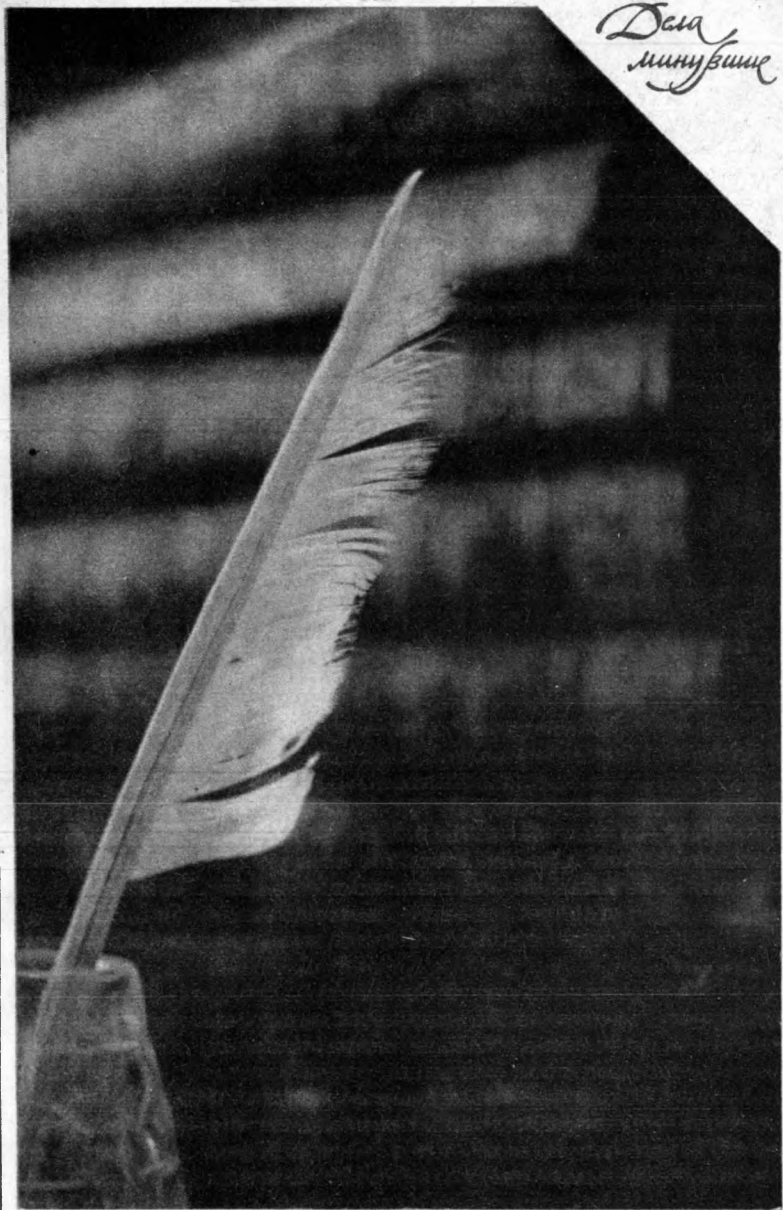
виднелось синее море, закрытое пышно разросшимися деревьями.

— Ну, давайте искать книгу,— сказал директор, открывая книжный шкаф. Внимательно просматривали мы все издания, принадлежавшие лично Марии Павловне. Среди них... книги Белого не оказалось...

До сих пор не могу ответить на вопрос: каким образом книга Белого с его автографом М. П. Чеховой очутилась у композитора Ребикова среди стопок бесплатного приложения к «Ниве»? Где она теперь, у кого? Это остается загадкой.

Может быть, кто-нибудь из читателей «Альманаха библиофила» знает что-либо о ее судьбе?

Дана
минување



СВЕТЛЫЙ ОБРАЗ ПОЭТА

Когда я перечитываю произведения Александра Трифоновича Твардовского, передо мной встает светлый и дорогой образ этого выдающегося человека. Он мне видится таким же, каким я несколько раз встречал его в издательстве, где он выпускал однотомник своих избранных сочинений, на совещаниях редакторов газет, журналов, издателей. Спокойное, слегка усталое лицо, глубокая грустинка в глазах, подтянутый, слегка настороженный, на первый взгляд не очень общительный, но, кажется, готовый встретить вас приветным и добрым словом.

Александр Трифонович, как немногие художники слова, после ухода из жизни не забывается, а все явственней и ощутимей встает перед вами не только при чтении его стихов, но и при раздумье о его творческой индивидуальности, о поэзии и поэтах вообще. Мне очень близки и дороги его стихи сельской и фронтовой хроники, «Послевоенные стихи», поэмы, каждая страница его рассказов и очерков, написанных в лучших традициях нашей отечественной классики, написанных просто, выразительно, с глубоким проникновением в душу простого советского человека.

Мне близок и дорог Александр Трифонович еще и потому, что его путь в литературу, его отрочество и юность, трудовая и общественно-комсомольская деятельность очень памятны для меня и во многом схожи со знакомыми и близкими мне литераторами.

В двадцатые и тридцатые годы в русскую советскую литературу вслед за Павлом Васильевым, Борисом Корниловым, Александром Прокофьевым, Михаилом Исаковским — поэтами больших дарований, разных творческих возможностей и характеров вошел Александр Твардовский, вошел весомо, что называется, со второго захода, когда после «Сельской хроники» появилась знаменитая поэма «Страна Муравия». Все

эти поэты по существу из одного родника народной речи почерпнули языковые изобразительные средства; одна у них закваска, единая первооснова — переломная жизнь советской деревни, ее духовные и нравственные искания. Однако глубже и талантливее других понял и отразил в своем творчестве все происходящее в деревне, все сущее в ней Александр Твардовский.

* * *

Мне довелось впервые встретиться с Александром Трифоновичем в 1956 году. Это было летом. Мы пригласили его в издательство «Московский рабочий», чтобы оговорить с ним некоторые детали по изданию в серии «Библиотека для юношества» однотомника его произведений. Насколько мне помнится, в эту пору Александр Трифонович ни в каких должностях не состоял и занимался только творческой работой. Наше предложение по выпуску книги для юношества было воспринято автором с удовлетворением и благодарностью. Художественное оформление сборника было поручено Оресту Георгиевичу Верейскому.

Наши встречи, их было несколько, всегда носили дружеский, непринужденный характер. Разговор шел главным образом о литературе, о книгах, которые тогда выпускало издательство. Александр Трифонович был обрадован, когда я сказал ему, что мы готовим к выпуску в свет сборник стихов С. Есенина, куда войдут и мало известные произведения поэта.

— Такое соседство, — пошутил он, — меня вполне устраивает.

Сборник, подготовленный к выпуску Ю. Прокушевым и сестрами поэта, был одним из первых изданий, вышедших в свет после длительного перерыва.

С большой теплотой рассказывал Александр Трифонович о Смоленщине, о Белоруссии, когда узнал, что я из Витебской области. Значит сосед и почти его земляк. Много нашлось схожего и в жизни, и в быту, и в языке, и в природных условиях этих соседних областей.

О страдании и тяжелой жизни людей во времена фашистской оккупации Александр Трифонович талантливо расскажет в своих записях, очерках и рассказах, собранных в книге «Родина и чужбина». Кратко и выразительно опишет он изумительные ратные подвиги белорусских крестьян-тружеников, партизан и партизанок, их стойкие характеры, проявившиеся в борьбе с лютым врагом.

— Знаете, Николай Хрисанфович, — сказал мне как-то



А. Т. Твардовский.
*Спокойное, слегка усталое
лицо, глубокая грустинка в
глазах, слегка насторожен-
ный, на первый взгляд не
очень общительный, но, ка-
жется, готовый встретить
вас приветным и добрым
словом*

Александр Трифонович,— то, что вы близки к моей Смоленщине, я заподозрил, когда прочел вашу обо мне книжичку.

По существу говоря, подготовка и выпуск в свет брошюры «Поэзия Александра Твардовского», вышедшей в издательстве «Знание» в 1954 году, и была моей первой встречей со знаменитым автором. Меня очаровало и покорило творчество Александра Трифоновича своей правдивостью, своей близостью ко всему тому, что вместе с поколением пережито и мною, как участником перестройки деревни на социалистических началах. Кстати сказать, именно это обстоятельство и побудило меня предпринять издание сборника всех основных произведений, написанных к этому времени Твардовским.

* * *

В рассказе «Память первого дня», где Александр Твардовский описывает события, происшедшие 22 июня 1941 года в деревне Грязи под Звенигородом, есть примечательные строки. «А на выходе из города, у самой дороги — белого булыжникового шоссе,— в узкой полоске тени от какой-то деревянной

амбарушки или сарайчика, на пыльной травке сидел старичок, как сидят мужики в саях—подогнув ноги. Он был без картуза, и его лысина с подтеками пота и прилепившимися прядками желтовато-седых волос освежалась в тени строения. Он уже расстелил платок на травке и расположил на нем хлеб, яйцо, две луковички и только что откупоренную и для предосторожности приткнутую пробочкой четвертинку. Я поздоровался и пожелал ему приятного аппетита.

— Садись—поднесу,—спокойно предложил он, блеснув на меня светло-голубыми и чуть воспаленными глазками этакого светлого русского старца.

Это „поднесу“ было исполнено приветливости и достоинства. Дыша ртом, старец смотрел на меня и ждал.

Я вежливо отказался.

— Ну что ж,—так же спокойно согласился он,—смотри.—И, великодушно позволяя мне еще и передумать, предостерегая от возможного раскаяния, еще раз повторил, кивком указывая место напротив себя:—А то поднесу. А? Смотри...

И мне-таки жаль теперь, спустя столько времени, жаль, что я отказался, как будто я тогда заодно отказался от многого-многого, что кажется теперь таким дорогим и невозвратимым».

В этих знаменательных словах, взятых нами из рассказа, открывающего книгу «Родина и чужбина», видится искренняя любовь к простому человеку, к его мудрому, точному, вечно живому слову.

Встречи с простыми людьми приобщали поэта к роднику народной мудрости, утоляли его духовную жажду, доставляли ему творческую радость, помогали создавать талантливые произведения.

Только несколько строчек о старичке... А какой красочный и точный набросок портрета!

Народный герой проходит через все творчество Александра Твардовского. Никита Моргунок, главное действующее лицо поэмы «Страна Муравия», коренной смоленский крестьянин. Это, разумеется, можно сказать и о других прототипах повествования.

Стихи, объединенные в большой цикл «Сельская хроника», продолжают дальнейшее, углубленное отражение колхозной жизни, складывающиеся новые отношения в деревенском быту, в семье. Каждое стихотворение этого цикла убедительно передает характеры рядовых колхозников, душевные настроения людей, нашедших, наконец, правильный путь в своей судьбе.

В таких стихах, как «Гость», «Усадьба», «Полет», «Мужи-

чок горбатый», «Я иду и радуюсь», «Встреча», «Подруги», «Сын», «Размолвка», «Невеста», «Рассказ Матрены», «Соперники», «Дорога», «Прощание», «Про Данилу», «На свадьбе», «Еще про Данилу» и других, находишь окрыленных и одухотворенных людей, ощутивших на деле, на практике выгоды коллективного труда.

Не случайно этот период своего активного и вдохновенного творчества, период работы в областной смоленской печати и частых поездок в колхозы, Александр Трифонович назовет самым решающим и значительным в своей творческой судьбе. «Все то, что происходило тогда в деревне,—напишет он в автобиографии,—касалось меня самым ближайшим образом в житейском, общественном, морально-этическом смысле. Именно этим годам я обязан своим поэтическим рождением».

Об этом периоде творчества поэта Михаил Исаковский скажет в своих воспоминаниях: «Жизнь деревни он знал во всех подробностях... В 1935 году Александр Трифонович решил показать мне „свой“ колхоз. „Своим“ он называл его по той причине, что много раз бывал в нем, писал о нем, подолгу жил там. Колхоз этот, находившийся в селе Рыбшево и получивший название «Память Ленина», Твардовский знал настолько хорошо, что лучше, вероятно, и нельзя знать. Он знал не только хозяйство колхоза, не только руководителей его во главе с председателем Дмитрием Прасоловым, но он знал всех колхозников и колхозниц, знал их характеры и наклонности, знал, кто и как жил раньше — до колхоза».

* * *

В начале 1942 года Александр Твардовский переехал на Западный фронт, на Смоленскую землю, где все ему было ближе, родней и сердечней. Именно на этой земле и суждено было родиться всемирно известному герою. 4 сентября 1942 года в газете «Красноармейская правда» была напечатана первая глава поэмы «Василий Теркин».

В поэме «Василий Теркин», в стихах «Фронтовая хроника» с новой силой своего могучего таланта Александр Твардовский раскрывает природу советского человека, проявившуюся во всех своих достоинствах в тяжелые годы ратных испытаний. Поэт нарисовал десятки образов рядовых бойцов — танкистов, артиллеристов, пехотинцев, разведчиков, в которых проявились характерные черты колхозников из «Сельской хроники». Нам припоминаются сержант Василий Мысенков, кузнец Григорий Пулькин, шофер Артюх, боец Иван Громак и другие. Среди них возвышается величественный, эпический образ

Василия Теркина, воплотивший патриотические и национальные качества русского человека.

Живущие в памяти Теркина народные пословицы, частушки, песни и поговорки естественно приобретают в его разговорах и беседах новое значение, новое содержание.

На Смоленщине и Витебщине бытовала в народе песенка про Тулу, видимо, пришедшая туда от туляков. На вечеринках молодежь пела под гармошку:

Эх, Тула, Тула я,
Тула родина моя...

В бою Теркин устанавливает связь со своим подразделением. С аппаратом и катушкой кабеля он устремляется вперед... И хотя это было случайным совпадением, что Теркину дали позывное слово «Тула», но оно-то оказалось для него родным и близким. Теркин на передовой линии. В поединке он убивает штыком фашистского офицера, но и тот успеваеет ранить его в плечо. Наша артиллерия начинает обстрел позиции, где налаживает связь Теркин. Это был опасный момент в его боевой жизни. В такие минуты и мелькнули в сознании Теркина знакомые слова ранней юности...

Теркин сник. Тоска согнула.
Тула, Тула... Что ж ты, Тула?
Тула, Тула. Это ж я...
Тула... Родина моя.

Широко известные в народе слова «Коси, коса, пока роса...» звучат припевом в поэме «Дом у дороги».

И ты косил ее, сопя,
Кряхтя, вадыхая сладко.
И сам подслушивал себя,
Когда звенел лопаткой:
Коси, коса, пока роса,
Роса долой—и мы домой.

Все, казалось бы, обычно, просто, слова знакомы с детских лет каждому косцу, каждому деревенскому жителю, но с какой поэтической силой, с каким особым звучанием они доходят до сердца того же крестьянина, вынужденного сменить косу на винтовку.

Перед ним, как на ладони—родной колхоз, отчий дом, страдная, любимая пора сенокоса...

Слова «Коси, коса...» в молодые годы Твардовского были

весьма популярны среди косарей. У Владимира Даля дается иная концовка: «Коси, коса, пока роса, роса долой—и ты домой». Юрий Гордиенко в связи с этим утверждает, что «лишь особое озарение могло подсказать художнику (Твардовскому.— Н. Е.) эту незначительную на первый взгляд замену местоимений». Выходит, что Александр Трифонович отредактировал текст из словаря Владимира Даля? Думаю, поэт просто воспроизвел то, что слышал от косцов на Смоленщине, а скорее всего в своем родном Загорье.

Я до сих пор сожалею, что в разговорах с Твардовским не назвал ему еще один вариант, который бытовал в моей родной деревне Слободе, расположенной в шести километрах от старинного города Полоцка. У нас текст звучал так:

Коси, коса, пока роса,
Роса долой—коса домой.

* * *

В памятном письме Николаю Дмитриевичу Телешову Иван Алексеевич Бунин так отозвался о «Теркине»: «Я только что прочитал книгу А. Твардовского („Василий Теркин“) и не могу удержаться—прошу тебя, если ты знаком и встретишься с ним, передать ему при случае, что я (читатель, как ты знаешь, придирчивый и требовательный) совершенно восхищен его талантом,—это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык—ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, то есть литературно-пошлого слова. Возможно, что он останется автором только одной такой книги, начнет повторяться, писать хуже, но даже и это можно будет простить ему за „Теркина“».

Это высочайшая оценка выдающегося русского писателя, несравненного знатока русской народной речи, определившая художественные достоинства «Василия Теркина», не может не вызвать гордости каждого читателя за могучий талант Александра Твардовского, нашего современника. Такие слова Ивана Бунина могли быть написаны только о великом и своеобразном таланте. Читатели Ивана Алексеевича хорошо знают, как он строг и требователен был в оценках произведений собратьев по перу.

Предположение же Бунина, что Твардовский «начнет повторяться, писать хуже», как это иногда случается с талантливыми литераторами, к счастью, не подтвердилось. Поэмы «Дом у дороги», «За далью—даль», «Послевоенные стихи», очерки и рассказы, публицистические статьи—все написан-

ное автором после «Теркина» свидетельствует о дальнейших творческих успехах поэта, характеризует силу и мужество его таланта.

Александр Твардовский хорошо понимал, что переход страны к мирной жизни потребует и от него определенной творческой перестройки. Кому же, как не ему — первейшему певцу военной поры — слагать новые песни о мирных, кипучих буднях своей Родины...

Естественно, что автор при всем желании не мог сразу совершить крутой поворот и немедленно перейти к мирной теме. Слишком свежи были в его памяти события военных лет; глубоко трогали и волновали его чувства пережитого, думы о тех, кто своей кровью, своей жизнью отстоял и защитил свободу и независимость Родины. Вслед за поэмой «Дом у дороги», в цикле «Послевоенных стихов», Твардовский печатает новые яркие произведения на военные темы: «Я убит подо Ржевом», «Москва», «В тот день, когда окончилась война», «22 июня 1941 года», «Жестокая память» и другие. Тех, кого Твардовский встретил на дорогах войны, на пепелищах сел и деревень, он талантливо отобразит в книге «Родина и чужбина». Затем он опубликует ответ на многочисленные письма и вопросы читателей «Василия Теркина».

Однако дальнейший творческий путь автором был предreshен:

Чарка выпита до дна...
...Песня, стало быть, допета.
Песня новая нужна,
Дайте срок, придет она.

Какова же будет новая песня? Каков он, тот мирный герой, что должен прийти на смену ратному? Где, при каких событиях, на каких рубежах мирной жизни автор с ним встретится? Эти вопросы, безусловно, волновали и тревожили творческое воображение поэта. Устремляясь в неизвестное, желая везде побывать, все посмотреть, охватить своим метким взором мир величайших пространств, где столько неизвестного, Твардовский между тем приходит к выводу, что в предстоящей новизне ему, видимо, придется обратиться к прошлому, уместно будет вспомнить пережитое... «И те места, куда нет-нет... уводит память давних лет».

Позднее эту же мысль Александр Трифонович выразит в определенной и категорической форме в своей превосходной статье «О Бунине».

«...Золотой запас впечатлений детства и юности достается художнику на всю жизнь. Он может многообразно приумно-

жать его накоплением позднейших наблюдений, изучением жизни в натуре и по книгам, но заменить эту основу основ поэтического постижения мира невозможно ничем, как невозможно заменить в своей памяти мать другой, хотя бы и самой прекрасной женщиной».

После неоднократных поездок на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток, в Якутию, Твардовский пишет главу за главой — пятнадцать глав, — слившихся в поэму «За далью — даль». В ней нашли отражение важнейшие события в послевоенной жизни нашей страны. В поэме мы не найдем привычного героя, проходящего через всю ткань повествования, как в предшествующих поэмах. В ней сделан упор на философское, историческое осмысление событий, явлений общественной и литературной жизни, всего, что волновало поэта, что было запечатлено в пути, что в результате раздумий легло на душу. Все отраженное в повествовании находило отклик в мыслях и чувствах читателей. Каждая глава поэмы воспринималась ими с большим интересом. Поэт всегда думал и помнил о своем читателе. И вот в конце последней главы он вновь обращается к нему:

И, распроставшись с этой далью,
Что подружила нас в пути,
По счастью, к новому свиданью
Уже готовлюсь я. Учти!

Конца пути мы вместе ждали,
Но прохлаждаться недосуг.
Итак, прощай.
До новой дали.
До скорой встречи, старый друг!

И снова, как после «Теркина», многообещающие, прочувствованные слова к читателю. Какая огромная жажда творчества; какая богатырская духовная сила была заложена в этом человеке!

Не следует забывать, что к упорной творческой работе теперь присоединилась большая общественная и литературная деятельность в журнале «Новый мир», а с ней возросла забота о судьбах многих писателей и поэтов, которые шли к Твардовскому за советами и помощью. Александра Трифоновича окружало множество людей, разных по творческим устремлениям, по таланту, по восприятию и оценке всего происходящего в нашей действительности. Видимо, некоторые из них не прочь были кое-что внушить и подсказать поэту.

Все я приму поученья, внушенья,
Все наставленья в дорогу возьму.

Только за мной остается решение,
 Что не принять за меня никому.

Уже после кончины поэта Василь Быков, вспоминая о Твардовском, выделяя его слова из поздравительной открытки «Все минется, а правда останется», с болью в сердце скажет: «Эти... слова поддержки и утешения на всю жизнь запали в мое сознание. Наверно, это потому, что сами они были исторгнуты из самых чутких глубин великого человека, кто, может, не менее других нуждался в утешении, правде и, может быть, недополучил их при жизни. Это последнее сознавалось тем более обиднее, что, наверно, все мы, в свое время обласканные им, чего-то недодали ему самому, по беззаботности или по недомыслию полагая, что ему-то утешение ни к чему, что его у Александра Трифоновича в достатке. А как нет? Что же тогда может извинить нам эту непростительную нашу небрежность?»

Еще при жизни Александра Трифоновича мне приходилось слышать о его теплой и бескорыстной дружбе с Иваном Сергеевичем Соколовым-Микитовым. Было отрадно сознавать, что он сошелся со своим старейшим земляком, великолепным русским писателем, чудесным человеком, умудренным большим жизненным опытом, который был другом Вячеслава Яковлевича Шишкова и оставил о нем самые теплые воспоминания. Дружба Александра Трифоновича с Иваном Сергеевичем продолжалась двадцать лет. Она началась в начале пятидесятих годов, когда Твардовский приезжал в Ленинград. «Он пригласил меня в гости,—пишет Иван Сергеевич,—к ленинградскому поэту Н. Брауну, у которого собрались знакомые Твардовскому люди. Мы сидели за накрытым большим столом. Твардовский много разговаривал со мною, хвалил мои рассказы. С этой давней ленинградской встречи завязалось наше близкое знакомство, перешедшее в дружбу».

Уже давно нет поэта Николая Брауна, человека сердечного и душевного, нет Александра Трифоновича, не случайно гостившего вместе с Иваном Сергеевичем в гостеприимной его семье, нет Ивана Сергеевича, который на несколько лет пережил своих младших собратьев и оставил нам воспоминание об Александре Твардовском.

Читатели всегда будут благодарны Ивану Сергеевичу за то, что он сохранил и опубликовал адресованные ему письма Александра Трифоновича. Каждое письмо—это документ больших человеческих чувств, сыновней любви и привязанности, документ душевной породненности и крепкой дружбы. «Вспоминаю о Вас, дорогой Иван Сергеевич, все с большей к

Вам любовью. Иной раз кажется, что несмотря на некоторую разницу возраста (Иван Сергеевич старше Александра Трифоновича на 18 лет.— *Н. Е.*), мы с Вами люди как бы одного поколения. Есть вещи, которые могут быть понятны только нам с Вами...»

Во время болезни Иван Сергеевич получает от А. Твардовского большое трогательное и заботливое письмо. Вот его отрывок: «...милый и мудрый Иван Сергеевич, очень мне хочется сказать Вам, как я Вас люблю и уважаю, как высоко ценю Ваш талант, Ваш ум и сердце, как мне все понятно и дорого в Вас, честнейшем, красивейшем русском человеке, судьба которого не побаловала удачами на пути, но не сломила, нет, я знаю, что она не подмяла Вас и не подомнет. Поправляйтесь, отдыхайте... Обнимаю Вас, дорогой друг. Ваш А. Твардовский».

Сколько добрых, теплых сердечных слов содержат письма Александра Трифоновича! Сколько любви, постоянного душевного внимания проявил он к Ивану Сергеевичу и его жене Лидии Ивановне. Однажды под впечатлением увиденного сна Александр Трифонович послал письмо Ивану Сергеевичу, в котором сообщил ему, что будто они вдвоем, заблудившись в страшную зимнюю метель, решили переночевать в скирде соломы... «И Вы, Иван Сергеевич, будто бы говорите: „Что ж, Александр Трифонович, задремлем, а там будь, что будет — встанем или не встанем“. И хорошо помню, что от усталости или как, но не было страшно, что заснем и не встанем. И еще помнится из того сна, что Вы мне все время напоминаете, что нужно беречь ноги, остальное ничего. И теперь я, когда почему-либо не засыпаю сразу, я призываю на помощь тот сон, как мы сидим, привалясь спиной к теплой, непробиваемой вьюгой толще соломы, и задремываем, а там, мол, будь, что будет.

Вот так, Иван Сергеевич, я и общаюсь с Вами на сон грядущий, и на душе у меня становится хорошо и спокойно,— все это оттого, что я Вас люблю и почитаю и, по правде, с Вами вместе не прочь был бы и на самом деле провести такую ночь под скирдой. Обнимаю Вас, дорогой друг. Ваш по гроб жизни А. Твардовский».

Письмо это Иван Сергеевич назвал «удивительным». Да и трудно себе представить более душевное излияние чувств дружбы и привязанности, которые оно выражает. В письмах Александра Трифоновича к Ивану Сергеевичу с предельной ясностью видится высоконравственный характер их автора, светлый и гуманный облик русского человека. Письма Твардовского и ответы на них Соколова-Микитова — свидетельство

подлинной взаимной любви и привязанности двух литераторов. По ним можно себе представить, сколько же чувств, лирических и гражданских раздумий, литературных мыслей было выражено в беседах и разговорах двух друзей...

Пожалуй, в этой теплой дружбе, в жадных стремлениях встречаться и беседовать, было какое-то восполнение того «дорогого и невозвратимого», о чем так сожалел Александр Трифонович, отказавшись в 1941 году от беседы со звенигородским «светлым русским» старичком.

Не подлежит сомнению, что широкая и добрая душа поэта нуждалась во взаимности и, может быть, для нее требовалось гораздо больше человеческой теплоты и внимания, чем она получала. Ведь желание испытывать доброе внимание людей свойственно каждому поэтическому характеру.

В начале шестидесятых годов Александр Трифонович, мечтая о прописке своей музы, писал:

Чтобы не с почтеньем, а с любовью
Отзывалось каждое жилье:
— Здесь она. На доброе здоровье
Здесь живет. А как же без нее?

Вот тогда, как отзыв тот желанный
Прозвучит о ней, моей родной,
Я и сам пропиской постоянной
Обеспечен буду под луной.

Все, кто встречался с Александром Твардовским, кто восхищался его волшебным словом, с чувством гордости могут сказать:

— Да, дорогой наш Александр Трифонович, прописана с любовью ваша муза на постоянное, бессрочное местожительство в душе и сердце советского человека.

СУДЬБЫ КНИГ С. В. МАКСИМОВА

Уже по одной его книге — «Крылатые слова» — о С. В. Максимове можно говорить как о человеке необыкновенно талантливом.

М. Е. Салтыков-Щедрин писал: «Драгоценное свойство г. Максимова заключается в его близком знакомстве с народом и его материальной и духовною обстановкою. В этом смысле рассказы его должны быть настольною книгой для всех исследователей русской народности, наравне с трудами Даля, Мельникова, Якушкина и других».

Однако судьба максимовских книг сложилась не очень счастливо. Буквально за несколько месяцев до смерти писателя один из его биографов писал: «Это удивительно скромный человек и далеко не оцененный по достоинству на своей родине, где имя его очень популярно, но не гремит, как гремело бы за границей, если бы Сергей Васильевич Максимов, только очень недавно избранный в почетные академики Императорской Академии наук, был писателем иностранным... Но такова уж судьба русского писателя за очень немногими исключениями».

С тех пор прошло более восьмидесяти лет. Восстановились многие литературные репутации. Но имя Максимова только в последние годы, отчасти в связи с 150-летием со дня его рождения, стало привлекать внимание литературоведов, а в издательствах «Советская Россия» и «Молодая гвардия» вышли недавно его замечательные книги.

Знакомство с этими книгами убеждает всякого непредвзятого читателя: мало назвать Максимова беллетристом-этнографом. Максимов, конечно, имел незаурядный дар ученого этнографа, но собственно этнографическими вопросами не ограничивался — он всегда оставался талантливым писателем, чутким к движению народной жизни, народного сознания.

Русская литература XIX века в лице своих гениев создавала обобщенный образ народной России. А ведь еще в начале

1840-х годов В. Г. Белинский с удивлением и восхищением писал: «Великороссия, Малороссия, Белороссия, Новороссия, Финляндия, Остзейские губернии, Крым, Кавказ, Сибирь,— все это целые миры, оригинальные и по климату, и по природе, и по языкам и наречиям, и особенно по смеси чисто русского элемента со множеством других элементов, из которых иные родственны, а иные совершенно чужды ему! Мало этого: сколькими оттенками пестреет сама Великороссия не только в климатическом, но и в общественном отношении! Северная полоса России резко отличается от средней, а средняя—от южной. Переезд из Архангельска в Астрахань, с Кавказа в Уральскую область, из Финляндии в Крым— все равно что переезды из одного мира в другой. Москва и Петербург, Казань и Харьков, Архангельск и Одесса—какие резкие контрасты! Какая пища для ума наблюдательного, для пера юмористического!» Максимов исходил, исколесил вдоль и поперек всю Русь, по-своему заполняя пробел, возникавший в большой литературе, устремленной к созданию крупных художественных форм. В эпоху торжества русского классического романа, в период небывалого расцвета литературы как особой формы художественного сознания, нужны были люди, которые с большей полнотой могли воссоздавать пеструю мозаику народной жизни, ничего в ней не усекая и в то же время с предельной осторожностью используя специфические возможности литературы. Воображение—сила великая, но пусть жизнь проявляется и такую, какова она есть. Можно, оставаясь писателем, не спешить сводить концы с концами, не завершать и не закруглять то, что пока еще не поддается в ней завершению, не допускать никакого насилия над ней.

Демократический дух 1860-х годов проявился здесь в безграничном доверии к жизни, которая сама по себе казалась богаче любых, даже самых дерзновенных полетов фантазии и воображения. Доверием к жизненному процессу с его собственными творческими возможностями были пропитаны строки основного тезиса революционно-демократической эстетики Н. Г. Чернышевского: «Произведение искусства может иметь преимущество перед действительностью разве только в двух-трех ничтожных отношениях, и по необходимости остается далеко ниже ее в существенных своих качествах». И уже в первой критической статье о стихотворениях А. В. Кольцова М. Е. Салтыков-Щедрин предъявлял такие требования к демократическому писателю: он не должен претендовать на роль пророка, гения, единственного духовного вождя нации, он должен быть прежде всего чернорабочим, аналитиком, собирателем материала. Критик настойчиво призывал писателей к

анализу окружающей жизни, к деятельности, не сулящей громкой славы и шумного успеха. Во имя суровой правды жизни литература должна поступиться своей спецификой, чрезмерное внимание к которой угрожает ей дурной литературностью.

Объективность красоты и недостаточность искусства — только на основании этих двух истин возможно плодотворное развитие литературы кризисного, тревожного времени, а не через возвращение к артистическому дилетантизму или к идее автономии «высокого» искусства от «низменного» быта. Интересно, что назревавший поворот чувствовали и поэты так называемого «чистого искусства», которое в эпоху общественных потрясений 1860-х годов никогда не было последовательным в отстаивании своих позиций. А. А. Фет писал в 1868 году:

Кому венец: богине ль красоты
Иль в зеркале ее изображенью?
Поэт смущен, когда дивишься ты
Богатому его воображенью.

Не я, мой друг, а божий мир богат,
В пылинке он лелеет жизнь и множит,
И что один твой выражает взгляд,
Того поэт пересказать не может.

По той же причине Салтыков-Щедрин с особым вниманием и неизменным уважением относился к беллетристам-первопроходцам, исследователям новых, еще не освоенных литературой явлений действительности. Писатели максимовского толка, по Щедрина, не претендовали на создание целостной, художественно завершенной картины мира, они ограничивались «отрывками, очерками, сценками». Но только так, по-видимому, и можно было подготовить почву для возникновения новых литературных форм, более широко и всесторонне обнимающих живое многообразие окружающего мира.

С. В. Максимов обладал редкостным даже по тем временам книжным знанием жизни, приобретенным не по готовым источникам, не с чужого голоса, но вынесенным из самой народной глубины, из непосредственного общения с русским мужиком. Многое дано ему было от рождения. Еще в детстве Максимов узнал народ накоротке в глухом посаде Парфентьево Кологривского уезда Костромской губернии — там он родился в 1831 году в семье мелкопоместного дворянина, служившего почтмейстером.

Литературный талант проявился у Максимова в годы

ности. На торжественном акте в Костромской гимназии, которую он окончил в 1850 году, выпускник произнес покорившее всех слово о Ломоносове — великом сыне простого русского крестьянина. Сам выбор темы был показателен для молодого человека, вышедшего из далекой провинциальной глуши. В Костроме большое влияние на восприимчивого гимназиста оказал учитель русской словесности Пермяков, страстный поклонник В. Г. Белинского, просветитель и демократ. Немаловажную роль в его писательской судьбе сыграл и другой земляк — драматург А. А. Потехин, с которым Максимов сохранил приятельские отношения на всю жизнь.

Поступив в Московский университет, Максимов примкнул к кружку «молодой редакции» журнала «Москвитянин» и стал верным другом А. Н. Островского, о котором написал после смерти драматурга лучшие свои воспоминания. В Москве, под влиянием Островского, усиливается интерес Максимова к народной жизни. Становлению демократического мироощущения писателя во многом способствует переход его в Петербургскую медико-хирургическую академию — учебное заведение, известное тогда на всю страну своими прогрессивными демократическими веяниями.

Здесь, в Петербурге, Максимов опубликовал свой первый очерк «Крестьянские посиделки в Костромской губернии», получивший высокую оценку И. С. Тургенева: «Ступайте в народ, внимательно наблюдайте, запасайтесь свежим материалом! У Вас хорошие задатки». Так напутствовал прославленный автор «Записок охотника» начинающего писателя.

Первое путешествие Максимов совершил по Владимирской и Нижегородской губерниям. Итогом его явился цикл рассказов, опубликованный в «Библиотеке для чтения». Коробейники, иконописцы, портные, шерстобиты, маляры, штукатуры, плотники, деревенские знахари и колдуны, извозчики и вожаки медведей — вот герои максимовских очерков, вошедших впоследствии в его знаменитую книгу «Лесная глушь». Сотрудник некрасовского «Современника» А. Н. Пыпин вспоминал: «Это был один из первых опытов прямого изучения народного быта в молодом поколении того времени». Максимов проложил дорогу русским беллетристам-шестидесятникам: Николаю и Глебу Успенским, Левитову и Решетникову. По его пути прошел чуть позднее и другой писатель, революционер-демократ В. А. Слепцов, автор очеркового цикла «Владимирка и Клязьма».

Ободренный успехом, Максимов принимает участие в известной этнографической экспедиции, организованной морским ведомством, в той самой экспедиции, которая помогла

другому ее участнику, драматургу А. Н. Островскому, впервые остро почувствовать, что Москва «не ограничивается Камер-коллежским валом», что «за ним идут непрерывной цепью от Московских застав вплоть до Волги промышленные фабричные села, посады, города и составляют продолжение Москвы». Там, на волжских берегах, возник замысел «Грозы», русской трагедии Островского. Максимову суждено было раздвинуть представление о бескрайних российских пространствах еще далее. Он обследовал русский Север: берега Белого моря, Ледовитого океана и Печоры. В 1859 году он опубликовал двухтомную беллетристическую книгу «Год на севере», которая принесла автору широкую известность. Географическое общество удостоило его труд золотой медали. До сих пор ни один серьезный исследователь и писатель, знаток русского Севера, не может обойти вниманием это уникальное по богатству фактического материала и острой художественной зоркости произведение писателя-первопроходца, «очарованного странника» русской литературы.

В начале 1860-х годов Максимов совершает беспрецедентное для того времени путешествие на Дальний Восток и пишет книгу очерков «На Востоке. Поездка на Амур». На обратном пути он занимается изучением сибирских тюрем. В большом исследовании Максимов ведет рассказ об истории сибирской каторги, о жизни обитателей «мертвых домов». Царское правительство не решилось адресовать эту книгу широкому читателю. Первая ее часть под названием «Тюрьма и ссылка» была напечатана в 1862 году небольшим тиражом с грифом «секретно» для служебного пользования. Но с этой «эпопеей, в своем роде Илиадой и Одиссеей каторжной жизни», были знакомы друзья писателя, прогрессивно мыслящие, демократически настроенные литераторы обеих русских столиц.

Есть все основания утверждать, что книга Максимова оказала большое влияние на целый период в творческой биографии Некрасова, связанный с созданием знаменитых поэм декабристского цикла «Дедушка» и «Русские женщины». Дело в том, что впервые этот максимовский труд был опубликован полностью на страницах некрасовских «Отечественных записок» в 1868—1869 годах и лишь затем вышел отдельным трехтомным изданием под названием «Сибирь и каторга».

Принято считать, что в поэмах декабристского цикла Некрасов использовал мемуары А. Е. Розена и воспоминания М. Н. Волконской. Однако книга Розена «Записки декабриста» вышла в Лейпциге на немецком языке в 1870 году, т. е. в год публикации поэмы «Дедушка» в «Отечественных записках». А

с воспоминаниями М. Н. Волконской Некрасов познакомился уже после написания «Княгини Трубецкой». Ясно, что в момент работы поэта над этими произведениями наиболее достоверными источниками были сведения из третьей части книги Максимова «Сибирь и каторга» — «Государственные преступники». Эта часть была опубликована в сентябрьском и октябрьском номерах «Отечественных записок» за 1869 год и содержала подробнейшие описания сибирской жизни декабристов.

В своем труде Максимов использовал не только воспоминания А. Е. Розена. В предисловии к третьему тому «Сибири и каторги» он писал: «Автору этой статьи привелось ознакомиться с записками десяти узников...» Сведения о декабристах добывались писателем из первых рук, через расспросы очевидцев, в справках из провинциальных сибирских архивов, а также по непосредственным наблюдениям. Максимов не только посетил все места ссылки декабристов, но и был в известном Тарбагатае, рассказ о котором явился, по существу, зерном поэмы Некрасова «Дедушка».

Исследователи поэмы «Дедушка» не раз отмечали существенные разночтения, которые существуют между описанием жизни староверческих поселенцев в воспоминаниях Розена и стихах Некрасова. А. И. Груздев, автор одного из последних фундаментальных исследований поэм декабристского цикла, пишет: «В поэме устранены... малейшие намеки на отмеченные Розеном благоприятные условия начальных лет жизни поселенцев в Сибири и благотельные меры со стороны власти: „было дозволено продать имущество и приехать в Сибирь с деньгами“, „комиссар дал им четыре года льготы для платежа податей“».

Но именно эти указания на благоприятные меры со стороны официальных властей, имеющиеся в воспоминаниях Розена, отсутствуют в книге Максимова. Вот как описывается в ней начальный этап жизни переселенцев в Сибири: «За Байкалом семейские староверы с охотой рассказывают вам такое предание, завещанное отцами, о времени и способах их водворения после Ветки и Стародубских слобод: „Казна дедам нашим не помогала. Привел их на место чиновник, стали его спрашивать: „Где жить?“ Указал в горах... Стали пытаться: „Чем жить?“ Чиновник сказывал: „А вот станете лес рубить, полетят щепки: щепы эти и ешьте!“ Поблагодарили его, стали лес рубить; на другой год исподволь друг около друга стали кое-чем займаться, запастись нужным. На восемь дворов одна лошадь приводилась. Поселились. Земля оказалась благодатной. Ожили, повеселели. Приехал знакомый чиновник и

руками развел: „Вы-де еще не подошли? Жаль — очень жаль, а вас — чу! — за тем и прислали, чтобы вы переколели“».

Обратим внимание: в максимовской версии сила крестьянского мира заключается в присущих ему творческих, самостоятельных началах, основой которых является дух общинности, артельности, жизнь «миром» («друг около друга займоваться», «на восемь дворов одна лошадь»). Именно так, по-максимовски и по-народному, трактуется история тарбагатайских поселенцев в поэме Некрасова «Дедушка». Как и у Максимова, у Некрасова сила крестьянского мира, истоки его жизнеспособности — в творческих началах общинного самоуправления:

Взросшие в нравах суровых,
 Самы творят они суд,
 Рекрутов ставят здоровых,
 Трезво и честно живут,
 Подати платят до срока,
 Только ты им не мешай.
 Где ж та деревня? — Далеко,
 Имя ей: *Тарбагатай*...

А. И. Груздев пронизательно отметил в этом описании признаки легендарной мечты о благополучной, независимой жизни, о земле и воле. Не исключено, что и здесь сказалось прямое или косвенное влияние книги С. В. Максимова. Дело в том, что, наряду с воспоминаниями декабристов и другими документальными и мемуарными источниками, Максимов использовал в своих описаниях широко бытовавшие в среде сибирского крестьянства легенды о вольных землях, затерянных в лесах, о счастливой совместной жизни обитателей этих легендарных земель: «К числу очень распространенных сибирских народных преданий принадлежат повсюдные рассказы о том, что там заблудившийся зверовщик, заслышав звон колокола и соблазнившись им, нашел никому не ведомое селение; в другом месте таковое же обрел заседатель, который, не догадавшись скрыть своего звания, был убит жителями никому неизвестного и вполне независимого селения. Подобные рассказы слышали мы и в Западной и в Восточной Сибири... в Якутске... На Колыме и Индигирке тамошние жители до сих пор рассказывают о существовании издавна каких-то жителей, прежде сосланных, потом бежавших и поселившихся на неизвестных островах Ледовитого океана. В древние годы какой-то промышленник около колымского устья осматривал на островах звероловные снасти. Там застигла его пурга, и он заблудился. Долго блуждал он по окрестным пустыням, и, наконец, собаки привели его в незнакомое селение, состоящее из нескольких домов, которые были срубле-

ны в угол. Заблудившегося приняла женщина, но она ничего с ним не говорила. Поздно вечером пришли с промыслов мужики и стали допрашивать прибывшего к ним: кто он, откуда, по какому случаю и зачем заехал к ним, не слышал ли чего об них прежде и, наконец, не подослан ли кем? Промышленника этого они держали под присмотром шесть недель, поместили его в отдельный дом и не позволяли отлучаться ни на шаг и ни с кем не разговаривать. Заключенный во время пребывания своего там часто слышал звон колокола, и обитатели этого заповедного селения собирались в молельню, из чего он и заключил, что это был раскольничий скит. Наконец жители этого селения согласились отпустить промышленника, но взяли с него при этом клятву молчать обо всем, им виденном и слышанном. Затем они завязали ему глаза, вывели из селения и проводили очень далеко; при расставании ему подарили большое количество белых песцов, красных лисиц и сиводушек».

В рассказе о жизни декабристов в Сибири Максимов показывает глубинную связь их с народной нравственной культурой. Характерным свойством ее Максимов считал дух артельности. От поселений староверов в сибирском Тарбагатае до артелей нищих, мастеровых, плотников, каторжников, коробейников — везде торжествует, по Максиму, сила коренного русского закона: «Дружно — не грузно, а врозь — хоть брось». «Пользуясь всяким благоприятным моментом, тюремная община, не ведающая усталости, не желающая отдыха, накапливает внутри себя силы и притом в таком количестве, что, при напоре их, поневоле должны уступить всякие внешние противоборства, хотя бы они и велись систематически». Декабристы тоже не оказались исключением. Как русские люди, они совершенно естественно пришли на каторге к необходимости артельного, товарищеского общежития. «Большая артель так верно обеспечивала материальную жизнь и так хорошо была придумана, что никто во все время не нуждался ни в чем и не был ни от кого зависим». Сосланная в Сибирь горсточка русских дворян-революционеров отстаивала свою независимость точно так же, как и сосланная на поселение горсточка русских крестьян-старообрядцев. Не потому ли и в поэме Некрасова «Дедушка» *Тарбагатай* является символом жизнестойкости русского национального характера. Рассказ о нем имеет прямое отношение к некрасовской характеристике духовного облика декабристов.

Подчеркивая демократические основы декабристской культуры, Максимов замечает у ссыльных дворян «совершенное отсутствие озлобления против судьбы и людей. В этом

отношении декабристы не были похожи на революционеров других стран и не держались никогда правила „чем хуже, тем лучше“ и „все худо, что делается на воле“. Совершенно напротив, они брались везде исправлять зло, быть полезными везде, где бы ни были невольно закинуты судьбою, и содействовать добру, хоть бы оно делалось не через них». Вспомним в этой связи слова некрасовского героя, вернувшегося из ссылки:

Пыль отряхнул у порога,
С шеи торжественно снял
Образ распятого бога
И, покрестившись, сказал:
— Днесь я со всем примирился,
Что потерпел на веку!..

В книге Максимова подробно рассказывается о декабристах, увлеченных физическим трудом. Н. А. Бестужев, например, завел на каторге «самую многосложную мастерскую: починал сапоги, рисовал портреты товарищей, учил шить башмаки...» Перекликаются с фактами из книги Максимова бытовые подробности, которые Некрасов не включил в окончательный текст как несоответствующие высокому пафосу жанра поэмы:

Отдых у деда недолог —
Вынет он свой сундучок.
Много там дратвы, иглолок,
Шило, пила, молоток.

Из книги Максимова русский читатель впервые узнал, как в Петровском заводе декабристы обучали детей из простонародья слесарному, столярному, портняжному и многим другим ремеслам. Один из таких рабочих, получивших ремесленное образование в каземате, писал впоследствии своему учителю, декабристу Д. И. Завалишину, что он старается внушить своим детям такое же уважение к физическому труду, какое сумели внушить и ему в каземате. «И конечно, пример людей высшего происхождения, не пренебрегавших никаким ремеслом... лучше всего действовал на людей, чтобы в их глазах облагородить тот труд, на который привыкли смотреть только как на тяжелую и часто безотрадную ношу».

Столь же несомненным нам представляется влияние книги Максимова на оформление замысла и содержание другой поэмы Некрасова декабристского цикла — «Княгиня Трубецкая». В «Сибири и каторге» дается подробное описание пути героини в Сибирь и подробно освещается знаменитая сцена духовного поединка ее с иркутским губернатором Б. И. Цейдлером. Говоря о беспримерном величии совершенного русской

женщиной подвига, Максимов замечает: «Она проторила первую дорогу, по которой с неменьшею безбоязненностью прошли следом за нею другие. На Трубецкую пали все те неудобства, которые выпадают на долю передовых пионеров». Некрасов так вторит Максиму в «Эпиллоге»:

Вражда людей, не знающих пощады,
На том пути ей ставила преграды,
И — первая — она их перешла.
Ее души ничто не устрашило!
Она другим дорогу проложила,
Она других на подвиг увлекла!

Совпадает почти дословно и общая оценка русских женщин, жен декабристов.

У Максимова:

«Поехавшие за своими мужьями жены совершили те евангельские подвиги, подобие которым мало представляют европейские истории... Те, которые выстрадали себе право сожительства в Сибири, вступили на стезю высоких христианских подвигов и служением своим приобрели то прозвание ангелов-хранителей, которое сделалось для них общим у всех союзников».

У Некрасова:

Высок и свят их подвиг незабвенный!
Как ангелы-хранители, они
Явились опорой неизменной
Изгнанникам в страдальческие дни.

Первый том этой книги, как мы уже говорили, появился в некрасовских «Отечественных записках» в 1868 году, а начиная с 1869 года М. Е. Салтыков-Щедрин печатает здесь «Историю одного города». Читатель, хорошо знакомый с книгою Максимова, не может отделаться от впечатления, что многие образы и мотивы «Истории одного города» восходят к «Сибири и каторге», где развернута уникальная в своем роде эпопея самодурств и бесчинств провинциальной сибирской администрации почти за два столетия. Разве не вспоминается щедринский «Устав о добропорядочном пирогах печении», когда читаешь, например, следующие строки: «Лоскутов — нижеудинский исправник — не иначе въезжал в селение, как с казаками, которые везли воз розог и прутьев. Осматривая избы, заглядывал в печи, в чуланы, впутываясь насильно во всякую подробность домашнего быта, он безжалостно наказывал за всякое уклонение от предписанных им правил. Если хлеб был дурно выпечен, он немедленно сек хозяйку розгами, если квас был кисел или в летнее время тепел, сек и хозяина».

А «цивилизаторские» подвиги щедринских градоначальников разве не предвосхищаются в распущенности горного начальника нерчинских заводов В. В. Нарышкина, крестного сына Екатерины II? «Этот Нарышкин с самого приезда 11 месяцев просидел дома с закрытыми ставнями, никуда не выходя, никому не показываясь. Решившись покончить с затворничеством и выйдя на свет божий в Светлое Воскресенье, начал целый ряд чудачеств и сумасбродных выходов: вместо заутрени на Пасху велел служить прежде обедню, в церковь вели его две толстые женщины, он шел приплясывая и припевая свою любимую песенку „Батюшко богат, черевички купил“; идущие сзади чиновники ему подпевали. Принявшись за дела, приблизил к себе пятерых секретных арестантов, из которых двух сделал секретарями; за вины бил батожем и не сказывал за что: „Известно-де мне единому“; в растрате казенных денег не стеснялся, отчета об них и самих денег в Петербург не посылал.

Когда не хватило казны, он взял деньги у богатого купца Сибирякова, имевшего некоторые заводы на аренде. Когда в другой раз Сибиряков отказал, Нарышкин явился перед его домом с пушками и с угрозой стрелять, если купец не выдаст потребного: Сибиряков вышел на крыльцо с серебряным подносом, на котором положены были затребованные пять тысяч. Учредил какой-то новый праздник „Открытие новой благодати“, приказывал всем каяться во грехах, истреблял много порошу, того самого, который столько необходим в горных работах. Набрал войско, присоединил к нему вновь организованный гусарский полк из тунгусов и двинулся с пушками и колоколами походом из Нерчинского завода через город Нерчинск, Братскую степь и Верхнеудинск на Иркутск. По дороге останавливал купеческие обозы, отбирал товары, выдавая расписки». «В степи на отдыхах кипели огромные котлы с водой, куда сваливали пудами чай и сахар; вино стояло целыми бочками, сукно, дабу, китайки, холст брали все даром, без всякого счета... Едучи по направлению к Иркутску, он сзывал народ разными средствами, как, например, в селах — звоном в колокола при церквях; пушечной пальбой и барабанным боем там, где церковей не было. Собранный таким образом народ поил вином, усиленно захваченным в питейных домах, и бросал в толпы казенные деньги». Нарышкин хотел завладеть Иркутском, «но это предприятие ему не удалось. Самодур, названный в указе шалуном, успел натворить много бед, оставил на следах своих много всяких глупостей, чудачеств и приключений». Между прочим, случилось, что «сну его мешал голосистый и ретивый петух. Нарышкин, чтобы изба-

виться от докучливого соседа, в силу присвоенной ему командирской власти, приказал петуха заковать в кандалы».

Даже из приведенных примеров видно, что книга Максимова «Сибирь и каторга» должна была, по верному слову Щедрина, стать «настойной книгою» для всех людей, не безразличных к отечественной истории.

В самом начале 1860-х годов Максимов отдается изучению жизни и быта раскольников и сектантов. В книге «Рассказы из истории старообрядчества по раскольниковым рукописям» (Спб., 1861) он обращает внимание на оппозиционные моменты в народном миросозерцании. Вслед за этим, в 1862 году, выходит книга Максимова «Край крещеного света», выдержавшая до революции девять изданий. Любовно, с пушкинским проникновением в психологию различных наций и народностей, населяющих бескрайние российские пространства, повествует Максимов о жизни и культуре вогулов, зырян, вотяков, черемисов, чувашей, мордовцев, карелов, эстонцев, литовцев, латышей, монголов, бурят, киргизов, калмыков, башкир, туркменов, цыган, татар, абхазцев, черкесов, чеченцев, лезгин, осетин, армян... Он подмечает в народах черты неповторимой талантливости, самобытной культуры, национального своеобразия: «Чукчи торгуют с непоколебимым хладнокровием и изумительным спокойствием». Якуты, «народ даровитый и предприимчивый, склонны к художествам, отлично режут из кости всякие поделки; скоро выучиваются читать и писать». И даже когда Максимов замечает в той или иной народности черты отсталости и неразвитости, он не преминет заметить, что «на добрых руках племя это ожидает хорошее будущее». Во всем, что делал и о чем писал Максимов, чувствовался художник с особой восприимчивостью, завещанной по наследству, воспитанной трудной русской историей. Он умел находить приветный отклик в судьбах людей разных культур и национальностей.

«Странствуя долго, забираясь далеко и видя многое», Максимов, по существу, создал азбуку хождения в народ, которой потом широко пользовались русские революционные народники. Именно он впервые пустил в ход русский костюм торговца средней руки, позволявший ему довольно легко входить в доверие к людям простого звания. В ряде очерков он высказал дельные советы о том, где и как лучше всего можно разузнать всю правду о народе, его взглядах и суждениях. Русские народники, очевидно, прислушивались к советам старшего друга, используя зачастую в качестве пропагандистского клуба питейные заведения, ярмарки, народные празднества и гуляния.

С 1874 по 1876 год Максимов печатает в «Отечественных записках» Некрасова и Салтыкова-Щедрина, а в 1877 году издает отдельной книгой одно из лучших своих произведений — «Бродячая Русь. Христа-ради». Судьба этой книги примечательна тем, что после ее публикации в «Отечественных записках» вновь пересеклись друг с другом творческие пути Максимова и Некрасова. На этот раз следы влияния максимовской книги сказались в итоговом произведении поэта — «Кому на Руси жить хорошо».

Сам сюжет поэмы — странствия по Руси семерых крестьян-правдоискателей — созвучен духу максимовских мыслей о коренных основах народного характера. Не под влиянием ли Максимова изменилась в «Последыше» (1872) из «Кому на Руси...» Некрасова формулировка спора семи странников:

Мы ищем, дядя Влас,
Непоротой губернии,
Непотрошенной волости,
Избытка села!..

Мужички-правдоискатели мечтают уже не о встрече с сильными мира сего, а о «способных и выгодных местах на свободном и широком раздолье земли своей», если воспользоваться вполне уместными здесь словами из книги «Сибирь и каторга».

Подхватывает Некрасов проникновенный максимовский рассказ о судьбах крестьянских вдов, мастерицах «водить плачки на могилах»; оппозиционное отношение раскольников к официальным властям, в деталях, подробностях и живых картинах описанное в «Бродячей Руси», находит в поэме достойное продолжение в истории старообрядца Кропильникова. Использует Некрасов в своей поэме и другой максимовский рассказ о секте «скрытников»: «Велики грехи у скрытничьих старцев и самый большой из всех — баба. Ради нее многие старцы уходят в пустыню», отрицая брак, обучают женщин пению стихов о пустыне, «со стихов, собственно, и начинается подпрыгивание и смущение новичков, намеченных в секту скрытных».

Был старец, чудным пением
Пленял сердца народные;
С согласия матерей,
В селе Крутые-Заводы
Божественному пению
Стал девок обучать...

Однако темные стороны в жизни народных странников не заслоняют в максимовском повествовании других, светлых начал.

Представление о творческой истории «Кому на Руси жить хорошо» будет недостаточно полным без учета того, что, собирая в течение многих лет «по словечку» материалы для своей поэмы, Некрасов неоднократно обращался и к глубокому и умному знатоку народной жизни С. В. Максимову. По существу, вся вторая главка «Пира» — «Странники и богомольцы» — построена на некоторых образах и мотивах максимовской «Бродячей Руси».

Нельзя не обратить внимания и на заключительную главку «Пира» — «Доброе время — добрые песни». Описание в ней жизни и быта бедного сельского духовенства несет на себе очевидные следы знакомства Некрасова с последней главой книги Максимова «Бродячая Русь» — «Скрытники и христоролюбцы». Напомню хотя бы историю пономаря, которая в максимовском пересказе предвосхищает историю некрасовского Трифона, отца Гриши Добросклонова: «Осталось сказать еще про пономаря, да лучше его самого не скажешь, — „слякохся от нищеты“, — говаривал он сам с полной откровенностью. В самом деле: сыновья его, ходившие в епархиальный город за 250 верст с вакации и на вакации всегда пешком, не уносили с собой больше 3—4 гривен медными деньгами, а чем жили — отец и думать боялся (ср.: „Дьячок хвалился детками, а чем они питаются — и думать позабыл“.— Ю.Л.). Стаивал он на перекрестках, выпрашивал у проходящих подаяния, бродил по базарам между возами, собирая высыпавшиеся крохи, и не раз видели его в питейном доме пляшущим и поющим шаловливую песенку не за вино, а за те же медные деньги».

Максимовские темы и образы отзываются и в других произведениях Некрасова. Таков, например, тип рыжего целовальника Калистратушки из поэмы «Коробейники». Впервые он встречается в очерке Максимова «Колдун», опубликованном в ноябрьском номере «Библиотека для чтения» за 1857 год. Кстати, максимовские очерки о костромских и владимирских коробейниках предвосхищают тематику «Коробейников» Н. А. Некрасова.

Максимов первым в русской литературе поэтизировал дух скитальчества, который искони жил в природе его земляков, костромских крестьян-отходников. «Из числа коренных костромичей, — писал он, — вышли первые плотники, печники, маляры и каменщики, употребившие свое доморощенное умение и сметку на постройку большей части домов Петербурга». Да и в нравственном облике самого Максимова жило это народное стремление искать правду в долгих жизненных скитаниях со странническим посохом в руках.

На закате дней «усталый странник», как назвал себя

Максимов в одном из посланий своему молодому другу А. П. Чехову, написал около двадцати произведений, среди которых были книги «О русской земле», «О русских людях», «Дремучие леса», «Русские горы и степи», «Крестьянский быт прежде и теперь», «Крылатые слова», «Нечистая, неведомая и крестная сила» и другие. Еще следует упомянуть книгу писателя, посвященную русскому юношеству, «Куль хлеба и его похождения». По собственному признанию, Максимов писал ее для своих детей, «обреченных на городскую жизнь» и оторванных от деревенских просторов, не имеющих представления о тяжелом труде пахаря-хлебороба. Книга эта — о цене куска хлеба, поныне сохранившая свое непреходящее значение. Не случайно выдержала она в свое время несколько изданий.

Последние годы жизни писателя были связаны с работой в «Этнографическом бюро», основанном богатым меценатом, князем В. Н. Тенишевым в 1898 году. Судя по неопубликованным письмам Максимова, обнаруженным нами в одном из костромских архивохранилищ, эта работа приносила писателю немало огорчений. Один из самых талантливых этнографов вызублен был в своих творческих исканиях придерживаться разработанной Тенишевым «Программы этнографических сведений», которая сковывала его живой, художественный ум. К тому же «Тенишев быстро охладил к этому делу, увидя, что оно не из таких, которые могли бы поднять его на желаемую высоту славы и почетной известности». Проводя большую часть времени в Париже, он поручил заведование «Этнографическим бюро» своему секретарю, Чарушину, с которым у Максимова возникали постоянные столкновения. В одном из писем своему костромскому другу А. Н. Макарову Максимов сообщал: «Скажу одно: Ваши взгляды на все дело Тенишева совпадают с моими личными точка, и если я не передаю их самому Тенишеву, то лишь по той причине, что не изготовил еще самостоятельной работы,— стало быть не закрепил твердого авторитета, который неустанным и самым назойливым образом старается оспаривать тот ловкий, завистливый и ревнивый „чинобрей“, который заведует бюро».

В этой напряженной обстановке, когда у маститого писателя возникает желание «бросить все дело, выместив получаемое от бюро содержание годовыми доходами», когда неизлечимая болезнь — горловая чахотка — подтачивает силы, Максимов получает известие об избрании его почетным академиком императорской Академии наук. Как известно, кандидатуру Максимова предложил для избрания А. П. Чехов. Общественное признание громадных заслуг писателя перед русской литературой пришло к нему слишком поздно, за год до смерти. В

письме к А. Н. Макарову от 19 декабря 1900 года читаем по этому поводу следующие строки: «С возведением меня в звание почетного академика Академии наук „по Разряду изящной словесности, учрежденному в ознаменование столетия со дня рождения А. С. Пушкина“ (таков полный титул в дипломе) обязан надеть белый галстук и черный (чуть не красный, сенаторский) фрак, чтобы представиться Константину Константиновичу. И не знаю теперь, чем я буду говорить с ним: с разбитым вдребезги горлом придется, видимо, обычаем московских купцов, подхватить обеими руками брюхо и кланяться в пояс — кланяться до тех пор, пока глаза не нальются кровью».

В эти годы у Максимова появляется желание оставить Петербург и поселиться в Ялте вместе с А. П. Чеховым. 29 октября 1899 года он сообщил А. Н. Макарову: «...наглотившись досыта крымского винограда в Ялте и напившись эссенцушкой воды в Кисловодске... снова попал в чудовищно-разрушительный климат мерзопакостного города, где теперь действительно нет ни неба, ни земли: одна зыбь поднебесная. А состояние здоровья таково, что врачи в одно слово, как бы сговорившись, советуют навсегда поселиться в Ялте в компании (уже и налаженной мною) с Антоном Чеховым, у которого легочные дела тоже тяжелы очень».

Но заветной мечте не суждено было осуществиться. Максимов, этот «знаток русской коренной жизни, ее духа, ее форм, ее юмора» (А. П. Чехов), скончался в Петербурге 16 июня 1901 года.

Пришло время, когда книги этого писателя переиздаются и становятся, по слову М. Е. Салтыкова-Щедрина, «настольными книгами для всех исследователей русской народности».

БОРТНЯНСКИЙ И РУССКОЕ НОТОПЕЧАТАНИЕ

Рассказывали примерно так: в самый торжественный момент в хоре мальчиков произошло смятение — заснул маленький солист, да так крепко, что никто не мог его разбудить. Императрица Елизавета Петровна обвязала шею спящему «нарушителю» платком и приказала отнести его в свои покои...

С этого момента, быть может, началось восхождение Дмитрия Бортнянского по длинной и тернистой придворной лестнице к блистательной славе композитора и педагога.

Действительно, всю жизнь Бортнянскому сопутствовала удача. Родился в небольшом украинском селе Глухове. В том самом Глухове, где с 1739 года существовала специальная школа по подготовке «кадровых» певцов для придворной капеллы. Уже в Петербурге семилетнего солиста капеллы отличал от других сверстников сильный голос, талант музыканта.

Руководил капеллой Бальдассаре Галуппи — композитор, аранжировщик, человек блестящего образования, оставивший обширное музыкальное наследие. Он берет, по указанию императрицы, юношу с собой в Италию. Десять лет обучения у итальянского маэстро, затем Россия, работа капельмейстером при императорском наследнике, тридцатилетнее руководство придворной капеллой, недруги и поклонники, кипучая деятельность и молчаливое презрение некоторых современников.

Странная судьба...

Как композитор Дмитрий Степанович Бортнянский сыграл свою роль на переломе культурных эпох. Его одинокая фигура иногда с трудом проясняется на фоне расцвета музыкальной культуры России в первой половине XIX столетия. Но все же факт его «присутствия» в прекрасной плеяде русских музыкантов настолько весом и ошеломляющ, что теперь, через двести лет, мы уже не мыслим изучения нашей музыкальной истории без его наследия. Кроме того, Дмитрий



Д. С. Бортнянский. Литография П. Бореля по рисунку А. Афанасьева

Бортнянский был одним из немногих, а может быть, и единственным в то время русским композитором, который увидел при жизни почти все свои произведения изданными типографским способом и немалыми по тогдашним меркам тиражами. Издания нот Бортнянского интересны, как и его нотоиздательская деятельность. Но прежде чем выявить ту роль, которую композитор сыграл в деле нотопечатания в России, вернемся к сложной и запутанной предыстории дела издания нот.

Нотные книги... Как несправедливо многие bibliофилы не обращают на них никакого внимания, разве только тогда, когда на титульном листе стоит чья-то дарственная надпись. А

между тем старинные издания нот, и в особенности древнерусские,— величайшая редкость. Не только потому, что тиражи их всегда мизерны и многократное использование приводило их в негодность. Эти удивительные творения типографов несут в себе как бы магическую тайну, разгадать которую может лишь в нее посвященный. Каждое издание — целая эпоха, событие, вобравшее в себя деятельность автора сочинения, музыкального кружка или направления в музыкальной культуре, а также издателя, его традиций, уникальное мастерство гравера, выполнявшего все работы вручную. Выпуск нот — целая отрасль книгопечатания, вернее, можно сказать, что это — одно из трех направлений в книжном деле, где два других — издание текста и художественная печать. Библиотеки, музеи, некоторые частные собрания в семьях музыкантов, и даже сельских жителей, стали последними хранилищами древнего нотопечатания.

Итак, 1677 год... Симон Гутовский — органист, исполнитель-виртуоз из Москвы, делает оттиски нот с предварительно гравированных металлических досок. Первонотопечатник специально для этого изготовил деревянный станок. Начинание это в дальнейшем, по неизвестной нам причине, не удалось, как, впрочем, и два других, более ранних: в 1652 году, когда Федору Иванову Попову было поручено на Московском печатном дворе «заводить знаменное печатное дело», и в 1655 году, когда на том же Печатном дворе была создана комиссия Александра Мезенца — старца Савво-Сторожевского Звенигородского монастыря, по-видимому, в 1648 году составившего «Азбуку знаменного пения» (издана в 1888 году в Казани) — для переработки древних роспевов и переложения их текстов с целью напечатания. Двухцветная печать была тогда типографам не под силу, ведь в нотах знаменного роспева применялись обязательные пометы красной краской — киноварью. Мезенец предложил новый, одноцветный вариант нотного шрифта, изобретя так называемые «признаки», но «ныне в нашем старороссийском знамени сим согласованным пометам сими известными литерами в печатном тиснении быти невместно», — к такому выводу пришли тогда. Наконец, в 1700 году первую нотную книгу изготовил Иосиф Городецкий из «Львовского братства». Это был «Ирмолог» — сборник ирмосов канонов восьми гласов, распечатанный в новой системе нотации.

Стоит сказать и о событии, происшедшем 66 лет спустя. Насущность печатных нот стала настолько острой, что, соревнуясь в первенстве, в Синод с предложениями по этому вопросу обратились одновременно коллежский асессор Степан Бышковский и певчий придворной капеллы Гаврила Головня.

Бышковский выдвигал новый способ подготовки штампов — путем усовершенствованного набора. Его идея была принята, и 1772 год ознаменовался событием немаловажным в истории русского книгопечатания. Были впервые типографским способом изданы одnogолосные нотные книги: «Ирмолог», «Октоих» (сборник песнопений восьми гласов), «Обиход» и «Праздники» (или «Стихирарь» — сборник стихов, песнопений на двенадцатые праздники), а также книга, значение которой в развитии культуры можно сравнить с «Азбукой» Ивана Федорова, — «Азбука начального учения простого нотного пения». Современник так оценивал издание: «Это есть действительно высокое, нецененное сокровище во всех смыслах, как в духовном, историческом, так и художественном».

Ко времени последнего события как раз и приходится знаменательное пребывание Дмитрия Степановича Бортнянского в Италии. Молодой человек (18 лет от роду) окунается всем своим существом в новый, незнакомый ему мир.

Венеция — город, наполненный суетой, круглосуточной толкотней у стен собора св. Марка и замысловатой гармонией — изощренных в новом итальянском стиле — гениев музицирования... С 1769 года Бортнянский занимается в Венеции у Галуппи. Отсюда он совершает многочисленные поездки в Болонью, где участвует в интенсивной деятельности знаменитой музыкальной академии, в Неаполь, к теплым и белесым от прибрежного песка волнам Средиземного моря, в Рим, без признания которого ни один композитор не считается модным. Бортнянский получает всеобщее признание итальянской публики. Оставаясь посланником России, сознавая всю ответственность предстоящего возвращения на родину, он в Италии постигает музыкальную науку. Здесь он пишет свои первые оперы на античные сюжеты: «Креонт», «Алкид» и «Квинт Фабий».

26 ноября 1776 года венецианский театр «San Benedetto» распахнул двери для его «Креонта». Мы можем судить об опере лишь по ее сюжету, но о музыке мы не знаем ничего. Тогда, в Венеции, либретто оперы было напечатано и распространялось, но партитура нам не известна. Все же факт публикации либретто говорит о важности того события, каким была постановка оперы русского композитора на итальянской сцене. Были ли изданы либретто и партитуры двух других итальянских опер Д. Бортнянского? Об этом остается только догадываться...

Принято считать, что издаваться впервые Бортнянский начал с 1782 года, когда он уже три года жил в России. «Креонт», пожалуй, был первым его произведением, освещен-

Титульный лист оперы
«Креонт».

Факт публикации либретто
говорит о важности того
события, каким была по-
становка оперы русского ком-
позитора на итальянской
сцене



ным в печати. По возвращении на родину композитор быстро входит «в моду», его талант, знания позволяют ему добиться признания придворной публики, нотоиздателей. Действительно, в 1782 году была «напечатана со всеми голосами для любителей музыки» его четырехголосная «Херувимская» (№ 1). Имя издателя неизвестно, но распространялась она «в Луговой Миллионной под № 61 у книгопродавца Миллера». Это издание положило начало музыкальной традиции выпуска в свет авторских духовных сочинений. Затем последовало издание еще одного, трехголосного хора «Да исправится молитва моя», а в 1784 году публика с радостью встретила «сочинение г. Бартиянского» песню «Dans le verger de Cuthère» («В саду Цитеры») «с аккомпанированием клавикордов». И еще одна традиция в русском нотопечатании. Это было первое *отдельное* издание в России авторской песни, а не в коллективном сборнике.

Offert par Bortniansky a M^{te} Barbe D'Olanne.

R E C U E I L
D E
ROMANCES ET CHANSONS,

composees

pour Son Altesse Imperiale

Madame la Grand - Duchesse de Russie,

par D. Bortniansky,

Maitre de Chapelle au service de S. M. I.



PREMIERE LIVRAISON.

A St. Petersbourg, de l'imprimerie de Breitkopf, en 1793.

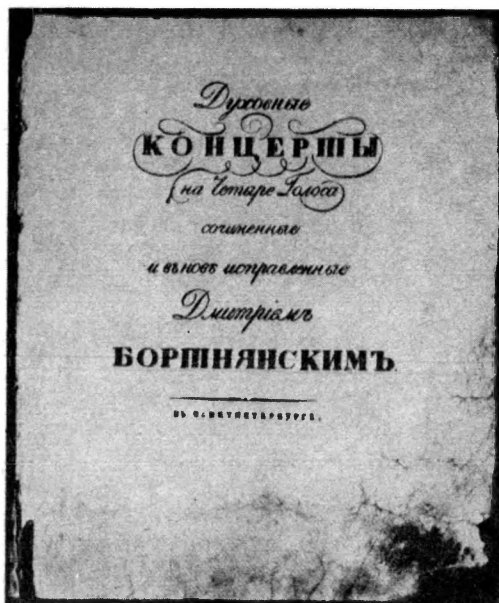
Издание романсов Д. Бортнянского, 1793,
с дарственной надписью автора

Распространители книг все больше привечают Бортнянского. Его песня продается уже «подле манежа Сухопутного Кадетского корпуса у книгопродавца Шеля, у Миллера в Миллионной, и напротив Гостиного двора в доме Шемякина в книжной лавке».

Вслед за этим пойдут еще и еще издания песен, романсов. Так, нотопечататель Брейткопф печатает шесть французских романсов Бортнянского (событие также редчайшее для того времени!), отображающих своеобразную сторону его творчества — сентиментальную, мелодичную любовную лирику.

Те произведения Дмитрия Бортнянского, которые не издавались (все же печатание нот было весьма дорогим делом), широко распространялись в списках. Большинство из них, как известно, тщательно хранились на складе московского купца Х. Б. Гене.

*Концерты Д. Бортнянского
для четырех голосов.
60 лет спустя после первого
издания П. И. Юргенсон ре-
шил вновь выпустить сочи-
нения композитора. Он приг-
ласил к их редактированию
П. И. Чайковского*



Придворная капелла постоянно устраивала концерты, на которых композитор неизменно дирижировал. Вокальный состав капеллы участвует также в концертах Петербургского филармонического общества, которое было основано в 1802 году. Здесь с успехом исполнялись такие произведения, как «Сотворение мира» и «Четыре времени года» Гайдна, реквиемы Керубини и Моцарта, месса Бетховена. Широко известными стали одночастные хоры Бортнянского, в отличие от многочастных его концертов. Сохранилось немало их изданий, выпущенных Дальмасом. Плотные, пожелтевшие обложки. Плохо сохранившиеся, но, как видно, добротные переплеты... Практически хоры сохранились в отпечатанном виде лишь в Москве и Ленинграде. Их вполне можно причислить к ряду редких изданий...

В 1816 году композитор был утвержден в роли главного цензора издаваемых нот духовных произведений. Но прежде ему предложили подготовить литургию, с целью исполнения ее по всей России. Бортнянский сочиняет двухголосную литургию, которая сразу же была издана тем же Дальмасом (известны три издания этих нот). На титульном листе печатной нотной тетради автор не был указан, чтобы придать сочинению универсальный характер.

И вот на руководителя капеллы возлагается обязанность ставить на издаваемых нотах следующую надпись: «Печатать позволяется. Д. Бортнянский». «Все, что поется... по нотам, должно быть печатное»,—гласил одновременно царский указ.

При участии Бортнянского выходят в свет сочинения Бальдассаре Галуппи, Джузеппе Сарти, Павла Турчанинова. Надо отдать должное скромности Бортнянского—в течение девяти лет, будучи нотоиздательским цензором, он не выпускает ни одного своего произведения. Наконец, он осуществляет издание 35 своих четырехголосных концертов. Ноты гравировал Василий Петрович Пядышев, когда-то выполнявший аналогичную работу при подготовке к выходу в свет общегосударственной литургии. 60 лет спустя издатель нот в России П. И. Юргенсон решил вновь выпустить сочинения Бортнянского. Он пригласил к редактированию их П. И. Чайковского. С тех пор и стали известны заметки Петра Ильича о творчестве Бортнянского, в которых он высказывает свое неприятие «итальянской» музыкальной формы своего предшественника, но восхищается цельностью, глубиной и проникновенностью мелодики русского композитора. В концерты Бортнянского «вошли совершенно светские, даже сценические

Автограф Д. С. Бортнянского

оперные приемы,—писал Чайковский,—но в них все же соблюдено приличие, да, наконец, они написаны, во всяком случае, даровитым музыкантом, а некоторые из них (например, „Скажи мне, господи, кончину мою“) положительно прекрасны».

С именем Бортнянского связана также загадочная история подготовки «Проекта об отпечатании древняго российского крюкового пения...» Определить авторство этого «Проекта» до сих пор не представляется возможным из-за отсутствия точных на этот счет данных.

В апреле 1878 года на собрании членов Общества любителей древней письменности Павел Петрович Вяземский—впервые прочел текст этого документа, который был вскоре опубликован в приложении к «Протоколу годового собрания

членов Общества любителей древней письменности 25 апреля 1878 года» (Спб., 1878). Тогда Вяземский выдвинул гипотезу, будто автором проекта является Д. С. Бортнянский. Вскоре это мнение было опровергнуто известным музыкальным критиком В. В. Стасовым, а в наши дни — В. Ф. Ивановым. Предполагалось отдать «пальму авторства» певчему капеллы Алякрицкому. Исследователь творчества Бортнянского М. Г. Рыцарева оставляет идейный приоритет в составлении «Проекта» за Бортнянским, но автором его предлагает считать П. И. Турчанинова — помощника Бортнянского в деле переложения древних роспевов на современную нотную систему.

П. П. Вяземский — автор многочисленных трудов о русской культуре, древнем искусстве и литературе, — организовал Общество любителей древней письменности, серьезно занимался вопросами издания памятников старины. Цель общества как раз и была — «издавать славяно-русские рукописные памятники, замечательные в научном, литературном, художественном или бытовом отношении». Имея в руках текст «Проекта», а также богатую коллекцию рукописей и документов, которая легла в основу музея общества, Вяземский мог более точно говорить об авторстве. И все же...

Крюковая нотная система, значилось в тексте, «лучше означает характер древнего славяно-русского народа, а потому стоит того, чтобы передать потомству понятие об оном, так и изложить для него подобную систему всего древнего славяно-русского крюкового пения. Для сего нет других лучших и надежнейших средств, как собрать все древнейшие сего рода рукописи и отпечатать все крюковое пение».

Автор «Проекта», как следует понимать, предлагает отпечатать, т. е., тщательно обработав, подготовить и издать ноты древнего крюкового обозначения и тем самым, во-первых, упорядочить общий характер духовного пения по всей России, во-вторых, составить полную и подробную азбуку крюковой системы, что исключило бы в дальнейшем ошибки в издании песнопений, а также способствовало бы дальнейшему развитию исконных традиций в музыкальном творчестве русских композиторов, особенно в создании полного отечественного контрапункта. «Наша древнейшая система нот всей остальной Европе неизвестна. Но она известна в отечестве нашем более семи столетий. И семь веков была почтена и удобопонятна, за древность свою заслуживает ли презрения и забвения, которые приближают ее к падению, и, может быть, через полстолетия должна уничтожением своим постыдить наши отечественные исторические памятники, — пишет составитель и, сравнивая историю русской музыки с историей языка, добавляет: — И

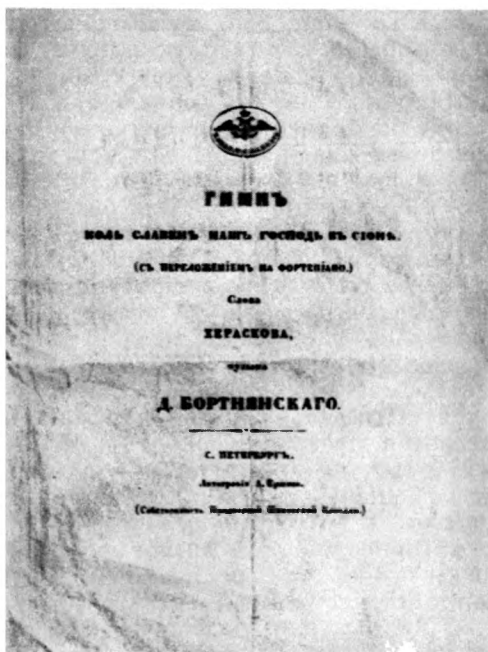


Д. С. Бортнянский

древний славяно-российский язык столь же неудобопонятен, как и крюковое пение, но он породил собственную поэзию, он породил и язык философический, а пение отечественное, оставленное под завесою восточного вкуса, должно сносить противную участь и уступить место искусственной инописьменной изящности, которая оную завесу закрывает дымом, а себя одевает в непроницаемый туман...» «Проект» таил в себе серьезные мысли, связанные с дальнейшими путями развития русской музыкальной культуры, стоявшей в то время на перепутье. Но осуществлен он не был, не был даже обнародован, а стал известен лишь через семь десятилетий (упоминание в нем имен Карамзина и Жуковского как уже известных и маститых авторов действительно заставляет предположить время его составления — первое десятилетие XIX века). Отметим, не прибегая к придиричвому текстологическому и музыковедческому анализу текста «Проекта», что принадлежал он перу высококультурного человека, прекрасно ориентировавшегося не только в традициях и системе древнерусской музыки, но и в наследии итальянской школы. Можно согласиться с мнением, что если Бортнянский и не составлял «Проект», то принимал в его подготовке активное участие. А если предположить, что вдруг обнаружится его текст, переписанный рукой Бортнянского, то и это не станет настоящим доказательством его единоличного авторства. Данных для более точных выводов, к сожалению, пока нет. Факт же появления такого документа говорит о переломном моменте, об интенсивных исканиях среди музыкантов в области русского хорового пения, а если бы задуманное издание было осуществлено, пути творчества привели бы русских композиторов к новым вершинам в развитии национального музыкального искусства.

Бортнянский действительно занимался переложением и аранжировками древнерусских песнопений. Среди этих напевов — «Под твою милость», «Придите, убожим», «Дева днесь», «Достоиню есть», «Ныне силы» и другие. Большая часть этих переложений была издана при жизни композитора, а источниками некоторых из них можно считать упомянутые выше общегосударственного масштаба издания «нотных книг» 1772 года.

Бортнянский продолжал писать в начале XIX века романсы, песни, кантаты. Многие из них были выпущены в свет и даже роскошно оформлены. Композитор стал автором часто исполнявшегося в те времена по частным собраниям гимна, написанного на слова М. М. Хераскова. Последний факт может стать интересным предметом специального исследования.



Д. Бортнянский стал автором часто исполнявшегося в те времена по частным собраниям гимна на слова М. Хераскова

Среди других духовных гимнов композитора известен изданный тем же Дальмасом (Спб., 1814) «Предвечный и необходимый» на слова Ю. А. Нелединского-Мелецкого. Но событием стало создание композитором патриотической песни для хора «Певец во стане русских воинов». Это был его творческий отклик на события Отечественной войны 1812 года. В основу текста песни легло одноименное произведение В. А. Жуковского, напечатанное в 23-м и 24-м номерах «Вестника Европы» за 1812 год.

Отчизне кубок сей, друзья!
Страна, где мы впервые
Вкусили сладость бытия,
Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки,
Что вашу прелесть заменит?
О родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?

Титульный лист партитуры песни «Певец во стане русских воинов»

ПѢВЕЦЪ
во стане русских Воинов
по слову сочиненія
В. Жуковскаго
Музыка сочиненія Д. Бортнянскаго.

Allegretto

CORNI.
FLAUTI.
OBOE.
FAGOTTI.
VIOLINI.
VIOLE.
Canto.
Alto.
Basso.
BASSO.

Известно, какую большую роль сыграло это произведение для патриотического подъема в русской культурной среде. Застольная песня с общим хоровым припевом—это было новое веяние в творчестве Бортнянского. Популярность вещи подтверждает и тот факт, что ноты, изданные типографским способом, не сохранились (до нас дошли лишь рукописные копии)...

Последним и наиболее значительным делом руководителя придворной капеллы в области нотопечатания стала подготовка к изданию полного собрания собственных сочинений. Это стоило ему немалых затрат, так как деньги для гравировки медных плат, используемых в типографском деле, выплачивались самим автором. Вложив в это издание почти все свои средства, Бортнянский так и не увидел его. Он умер в 1825 году. Медные доски с нотами остались у вдовы композитора, которая через несколько лет обратилась к Николаю I с просьбой о возмещении затрат на это предприятие. Работа была частично оплачена, а все материалы и заготовки



Рукописный титульный лист оперы Д. Бортнянского «Сокол»

перешли в собственность Придворной капеллы, которой руководил тогда Ф. П. Львов. Затем их следы теряются... Лишь в конце XIX столетия при участии Чайковского издательство Юргенсона, выиграв в нашумевшем процессе против капеллы право на собственность в отношении нотоиздания духовных музыкальных сочинений, осуществляет выпуск в свет Полного собрания произведений Дмитрия Степановича Бортнянского.

После смерти Бортнянского его произведения начинают как бы новую жизнь. Постоянно издаются и переиздаются его отдельные сочинения, как крупного, так и малого жанра. П. И. Турчанинов объявлял со страниц многих центральных журналов об издании концертов композитора, переложенных для фортепиано. Его имя привлекает и зарубежных исполнителей, что используют многочисленные издатели. Музыка Бортнянского записывается на грамофонные пластинки. Весь XIX век была популярна музыка композитора, произведения его звучали не только в концертных залах и церквях, но и в домах. Отдельные сочинения Бортнянского, часто исполнявшиеся как анонимные, органично входили в быт многих семей. Пример: в Ясной Поляне у Л. Н. Толстого постоянно пели «Херувимскую» композитора, также ее исполняли и в яснополянской школе, причем неизменно на три голоса. Вот как вспоминала С. А. Толстая (запись 1856 года): «Сестра Таня пела первый голос, я — второй, сам он (Толстой. — К. К.)

пел басом... Пели мы „Херувимскую“ Бортнянского, и Лев Николаевич сердился, когда кто фальшивил».

Итак, на протяжении почти полувека жизнь и деятельность композитора была связана с важнейшими процессами становления музыкальной культуры, музыкального образования в России. Педагогическая деятельность Бортнянского, нотопечатательская деятельность его, начатая им и осуществляемая затем Придворной капеллой около столетия,—это образец преданного и самоотверженного служения музыкальной культуре России. Каждое издание нот композитора по сути своей было громадным явлением именно в русской культурной жизни. Широкий кругозор, освоение и переработка им наряду с русской и других музыкальных культурных традиций—украинской, итальянской—отличали его личность. Мне довелось читать известную книгу Б. Доброхотова о Бортнянском из личного собрания А. Б. Гольденвейзера (кстати, на ней имеется следующая дарственная надпись автора: «Глубокоуважаемому Александру Борисовичу Гольденвейзеру на добрую память от автора. Б. Доброхотов. 24.06.50»), который к перечислению истоков (параллелей) и аналогий творчества Бортнянского карандашом на полях приписал грузинские песнопения. Таков был творческий диапазон русского композитора!

Перелистывая нотную библиотеку «Орфея реки Невы», которую нам когда-нибудь предстоит собрать воедино, еще и еще раз убеждаешься в том, насколько твердую и достойную базу создали его творения для расцвета таких российских музыкальных гениев, как Глинка, Римский-Корсаков, Чайковский, Рахманинов. Имя Бортнянского по праву стоит у начала этого ряда.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ

Последняя четверть XVIII столетия характеризуется значительным подъемом русской национальной культуры. Возрастает значение отечественной литературы, расширяется круг ее читателей, появляются имена новых писателей. Если в 30—50-е годы XVIII века литературным трудом в России занимались немногие, то в «Опыте исторического словаря о российских писателях» Н. И. Новикова приведены сведения уже о 250 литераторах-современниках.

Необходимо отметить, что Новиковым собраны материалы о писателях, принадлежавших к различным общественным слоям русского общества. Наряду с именами А. П. Сумарокова, Я. Б. Княжнина, М. М. Щербатова в «Опыте исторического словаря» мы узнаем о литературном творчестве старшего наборщика одной из столичных типографий Ивана Рудакова, «который сочинял разные, весьма изрядные стихотворения, а по большей части, сатирические», или же об Иване Голеневском, певчем, написавшем несколько од и песен.

Бурный процесс развития русской литературы в последней четверти XVIII века потребовал образования научного учреждения, в задачу которого входило бы изучение русского литературного языка, разработка грамматических правил и словарей.

Таким учреждением стала Российская Академия. Образованная в сентябре 1783 года, она явилась одним из полезных учреждений.

Пятьдесят восемь лет просуществовала Российская Академия. За это время она выпустила в свет несколько словарей русского языка, причем первый из них — «Словарь Академии Российской» — стал гордостью отечественного языкознания. Он вобрал в себя все лучшее, что было в русском языкознании на конец XVIII века. Удивляют и сроки разработки «Словаря». Работа над ним началась в 1784 году, а последний, шестой том

увидел свет в 1794-м. Для сравнения укажем, что толковый словарь французского языка Парижская Академия разрабатывала пятьдесят девять лет. Флорентийская Академия словарь итальянского языка создавала на протяжении трех десятилетий.

Таким образом, составители «Словаря Академии Российской» совершили научный подвиг, а издание вошло в историю отечественного языкознания как одно из выдающихся.

Словарем в работе пользовались многие писатели первой половины XIX века. Все шесть томов его хранились в библиотеках Н. М. Карамзина и А. С. Пушкина. Он просуществовал в научном обороте свыше ста лет и в наше время не потерял своей научной значимости.

За время существования Российской Академии в ее состав избирались лучшие представители отечественной культуры. Помимо Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина, Я. Б. Княжнина в последнее десятилетие XVIII века ее членами стали писатели М. М. Херасков, И. Ф. Богданович, И. И. Хемницер, архитектор В. И. Баженов, будущий президент Академии художеств А. Н. Оленин, адмирал и писатель А. С. Шишков, баснописец И. А. Крылов.

История русской словесности хранит в своей памяти имена учеников М. В. Ломоносова: географа и ботаника И. И. Лепехина, математика С. К. Котельникова, астронома С. Я. Румовского и других, сумевших своим деятельным участием в разработке первого толкового словаря «показать красоту и богатство русского языка».

До 1818 года работа Академии регламентировалась «Краткими начертаниями», разработанными основателем этого научного учреждения и первым его главой Е. Р. Воронцовой-Дашковой. Три десятилетия выявили необходимость пересмотра «Начертаний». Новый устав, принятый 29 мая 1818 года, значительно разнообразил и расширил круг задач Академии. Наряду со словарными работами велись исследования в области отечественной истории, географии, переводились языковедческие и исторические труды зарубежных авторов.

Значительным событием в жизни Академии стал выпуск в свет в 1805 году первого периодического издания — «Сочинения и переводы». У журналов, издаваемых Российской Академией, была одна цель — популяризация своих работ среди просвещенных русских людей.

Журналы находили своего читателя в столице и за ее пределами. Через свою периодическую печать Академия объявляла открытые конкурсы на сочинения, посвященные подвигу Минина и Пожарского, военной деятельности П. А. Румян-

цева, А. В. Суворова, победе Дмитрия Донского на Куликовом поле. В области языкознания был объявлен конкурс на лучшую работу под названием «Рассуждение о начале, успехах и распространении словесных наук в России».

В 1819 году Российская Академия открывает собственную типографию. В этом же году создается так называемый Рассматривательный комитет, в состав которого вошли специалисты по языку и истории. В Комитете долгое время плодотворно работали выдающийся русский филолог А. Х. Востоков, баснописец И. А. Крылов, историк В. А. Поленов, одна из работ которого получила высокую оценку А. С. Пушкина.

Круг деятельности был достаточно широк. Члены Комитета давали оценку сочинениям по всеобщей и отечественной истории, географии, произведениям для детей и юношества, переводам трудов зарубежных славистов, работам в области русского языка и словесности. Произведения, рекомендованные к опубликованию, печатались в типографии Академии. Авторы наиболее талантливых работ поощрялись денежными премиями. Сочинения выдающихся представителей русской словесности обычно рассматривались на общих собраниях Академии. Золотыми и серебряными медалями были награждены И. А. Крылов, Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский.

Российская Академия поддерживала творческие связи с учеными-славистами ряда зарубежных стран. По замыслу последнего президента — А. С. Шишкова — Академия должна была стать славянским центром, в котором изучались бы история славянских народов, их языки, печатались труды ученых-славистов. Краткий план деятельности славянского центра был изложен президентом в письме к министру народного просвещения К. А. Ливену. Шишков писал: «...необходимо иметь достаточные сведения о всех, составляющих славянский язык наречиях, как то польский, богемский, сербский, словацкий и прочих, знать о сочинениях и сочиняемых на оных книгах, вести о том переписку с учеными из писателей на сих наречиях и получать известия как о ходе их языков, так и об исторических с ними народами происшествиями». Начинание А. С. Шишкова приветствовала прогрессивная общественность России. Находясь под игом Османской империи и Австрийской монархии, многие славянские народы испытывали национальный гнет. Колонизаторы делали все для того, чтобы уничтожить национальную культуру поработанных народов.

В 1838 году Академия направляет чешским ученым П. Шафарiku и В. Ганке 6 тысяч рублей для издания резуль-

татов научных исследований на родине. В 1840 году, по просьбе Ганки, для издания грамматики Российская Академия отправляет в Прагу матрицы русского шрифта. Несомненно, что поддержка научной деятельности ученых-славистов за рубежом способствовала росту национального самосознания угнетенных в те годы славянских народов.

Для популяризации своей деятельности за границей Академия входит в контакт с рядом ученых обществ стран Западной Европы и США. С этой целью в Лондон, Париж, Вену, Ростов, Филадельфию и другие города направляются периодические издания и отдельные труды членов Российской Академии. Президент американского философского общества Дюпонсо, поблагодарив А. С. Шишкова за присылку книг, в своем письме, в частности, пишет: «Русский прекраснейший язык слишком мало известен в Европе, а еще менее того в Америке». Дюпонсо предлагает организовать кафедру российской словесности в одном из университетов Европы с тем, чтобы «открыть для нее великий народ».

Академия серьезное внимание уделяла просветительской деятельности. С этой целью в крупных провинциальных городах комиссионеры на льготных условиях продавали ее издания, причем Академия запрещала повышать установленные цены. Публичные библиотеки ряда провинциальных городов, таких как Гродно, Житомир, Чернигов, Уфа и других, на протяжении долгого времени пользовались правом бесплатного получения книг из Российской Академии. Она способствовала организации публичной библиотеки для моряков Кронштадта и постоянно пополняла ее фонд своими изданиями.

Серьезное внимание уделялось популяризации сочинений классиков русской литературы. Трижды, например, издавались сочинения М. В. Ломоносова и А. П. Сумарокова. Академия активно поддерживала творчество писателей-женщин. Л. А. Ярцова за написание научно-популярных произведений для детей и юношества была удостоена золотой медали. Именно Академия впервые напечатала все шесть частей «Истории России в рассказах для детей» А. О. Ишимовой. Этот труд писательницы, как известно, был высоко оценен А. С. Пушкиным. Академия в свою очередь премировала автора. А. П. Бунина, первая русская женщина — профессиональный литератор, пользовалась покровительством А. С. Шишкова и Г. Р. Державина. Перевод Буниной «Поэтического искусства» Буало также получил благожелательную оценку Рассматривательного комитета.

Российская Академия в силу своих возможностей популяризировала и материально поддерживала творчество крестьян-

ских поэтов. Так, Е. И. Алипанов был выкуплен А. С. Шишковым из крепостной зависимости. В 1831 году сборник басен этого крестьянского поэта удостоивается серебряной медали. В 1828 году Академия издала «Басни, песни и разные стихотворения крестьянина Михайлы Суханова». За свои сочинения М. Д. Суханов был также награжден серебряной медалью. Помимо этого Академия премировала его 1000 рублями и освободила от рекрутского набора. В 1826 году золотой медалью были отмечены творческие успехи крестьянского поэта Ф. Н. Слепушкина. Высоко оценивая сборник стихов «Досуги сельского жителя», А. С. Шишков писал автору: «Академия с удовольствием и не без уважения к природным дарованиям твоим нашла оное весьма хорошим, как по изящному слогу и благонаравию, так равно по простому, но благородному слогу и чистому языку». О даровании Слепушкина с похвалой отзывался А. С. Пушкин. В одном из писем к Дельвигу он утверждал: «...у него истинный свой талант...»

...Пришла весна и ручейки
В подгорьях дружно зашумели.
Луга, крутые бережки
И озими зазеленели...

Благодаря широкой издательской деятельности Академия сумела скопить значительную сумму денег. В 1838 году она передала на строительство Пулковской обсерватории 400 тысяч рублей. В том же году Российская Академия предприняла издание произведений византийских и европейских средневековых писателей и историков.

К выполнению переводных работ привлечены были литераторы, рекомендованные Петербургской Академией наук. О размахе предпринятого издания свидетельствует тот факт, что по плану предусматривалось осуществить перевод не только художественных произведений, но и исторических документов, «не исключая даже исландских саг». Но эту работу полностью осуществить не удалось.

В октябре 1841 года специальным рескриптом Российская Академия была преобразована во второе отделение языка и словесности Академии наук. Почти шесть десятилетий она была единственным научным учреждением России, где велась обширная работа по изучению родного языка, словесности и истории. Академия выполнила поставленную перед ней задачу и сумела, по словам Е. Р. Воронцовой-Дашковой, «показать обширность и богатство языка нашего».

Виктор Чистяков

ИЗ КОТОМКИ ОФЕНИ

Старинные песенники

Маленькая, занесенная снегом деревушка на высоком берегу Мезени. Поздний вечер. В просторной избе, глядящей окнами на реку, сегодня оживленно. На тяжелом, сколоченном из листовых плах столе монументально возвышается самовар. За столом восемь человек. Во главе стола — Клавдий Панферович, хозяин, место около пока пусто: Анна Кирилловна суетится у печки. Рядом сидят три сестры: Елизавета Саввишна (91 год), Капитолина Саввишна (84 года), Евстолия Саввишна (82 года) — старушки очень похожи друг на друга. Рядом с сестрами — шестидесятилетний Егор Петрович, маленький, подвижный старичок, сестры за столом называют его «Егорка» или «парень». И, наконец, мы, московские фольклористы, собирающие мезенскую песенную старину. Только утром мы прилетели в деревню, по дороге с поляны, где села наша «Аннушка», встретили Клавдия Панферовича, быстро познакомились и стали его постояльцами. По нашей просьбе Анна Кирилловна пригласила сестер Бобрецовых, лучших «песельниц» в деревне, пришел и Егор Петрович — знаток сказок, прибауток, охотничьих историй.

Первым начинает хозяин: он рассказывает нам о шуте Балакиреве, о пошехонцах, о проказах лешего и водяного. Не отстает от него и Егор Петрович. Только сестры на просьбу спеть старинную песню отговариваются тем, что «голосок уж нонеча не бежит». После долгих уговоров они сдаются и, пошептавшись, неожиданно высокими и сильными голосами заводят:

Выду я на реченьку,
Посмотрю на быстрюю —
Унеси ты мое горе,
Быстра реченька, с собой!
Унести с собой не можешь
Злой ты горести моей...

Мы с коллегой удивленно переглянулись: это же песня Нелединского-Мелецкого, почти забытого ныне поэта XVIII века! Откуда ее знают здесь? Когда песня кончилась, спрашиваем у старшей сестры, Елизаветы Саввишны, когда она впервые услышала эту песню и от кого ее «переняла».

— Это песня досюльная,— неторопливо начинает старушка,— давно ее поют. Я еще маленькой была, так помню, что матушка покойная ее часто пела, а я все слушала. Она говорила, что песня старинная, из книги...

— Какая же это книга? Не сохранилась ли она у вас?

— Уж не помню. Если вам нужна такая, девки завтра поглядят на повети да в чулане. Маленька така книжка...

Наутро восьмидесятилетние «девки», сестры Елизаветы Саввишны, принесли нам загадочную книжку. Это был «Песенник, или Собрание избранных песен, романсов и водевильных куплетов. В трех частях. Часть первая. Песни известных русских писателей». Книга издана в 1855 году в типографии Штаба отдельного корпуса внутренней стражи в Санкт-Петербурге. Вслед за песнями Жуковского, на страницах 35—37, находим «Выйду я на реченьку» Нелединского-Мелецкого. Спетая старушками песня (свернем с записями в тетрадях) очень близка к оригиналу, но значительно короче. Позднее сестры спели нам и другие песни, источником которых тоже был найденный нами песенник или похожий на него сборник. А когда перед отъездом мы зашли поблагодарить сестер за помощь в нашей работе, Елизавета Саввишна подарила эту интересную книжицу.

Рассматривая ее в самолете, я впервые задумался над тем, какую роль сыграли песенники в истории русского устного народного творчества и, шире, в истории русской культуры. В Москве, сдав экспедиционные материалы, я принялся искать литературу о песенниках; постепенно стала складываться и коллекция этих изданий. Особенно заинтересовала меня история публикации «собраний песен», смена различных типов песенников с XVIII до начала XX века...

* * *

В конце XVII—первой половине XVIII века в России зарождалось и утверждалось новое значительное явление— светское пение. Непосредственными предшественниками светских песен, той основой, на которой они возникли, были псалмы и канты, то есть вирши духовного содержания, проникавшие в Московскую Русь преимущественно из Польши и опиравшиеся на латинскую традицию. Псалмы и канты переписывались от руки и объединялись в сборники, которые

быстро завоевали популярность в среде духовенства, дворянства и купечества. Характерным образцом сборников такого рода были «Псалтырь рифмотворная» и «Месяцеслов в стихах» Симеона Полоцкого, положенные на ноты дяком Василием Титовым. В эпоху реформ Петра I в сборники все в большем количестве начали проникать канты светского содержания, постепенно вытесняя духовные. Они воспевали военные победы молодой империи (канты «триумфальные», «вираты»), значительные государственные события; стали известны и канты любовного содержания.

Сначала сочинения эти были распространены только при дворе и в среде именитого дворянства, однако со временем круг исполнителей и любителей таких песен стал шире. В это время (середина XVIII века) интерес к светским кантам и песням быстро возрастал, они стали неотъемлемой частью культурной жизни эпохи, которую Державин назвал «веком песни». До нас дошли многочисленные рукописные песенники, владельцами которых были тогдашние щеголи и щеголихи. Большую популярность приобрели печатные издания, ставшие необходимыми для разучивания новых произведений хорами, которых немало было при царском дворе, в поместьях именитых вельмож.

В 1759 году в Петербурге выходит первый в России печатный песенник «Между делом безделье, или Собрание разных песен с приложением тонами на три голоса. Музыка Г. Т.» Под инициалами «Г. Т.» скрывался Григорий Николаевич Теплов, воспитатель графа Разумовского, в будущем — тайный советник и директор государственного фарфорового завода. В сборник Теплова вошли «галантные» песни придворных поэтов о любви, в том числе семь — на стихи А. П. Сумарокова. Всего же Теплов напечатал 17 текстов с нотами. Главное место в тепловском «Собрании» принадлежит, конечно, Сумарокову, который как поэт-песенник пользовался в то время популярностью и был, пожалуй, основоположником нового жанра в русской поэзии. Всего он написал 160 песен и хоров, которые намеревался издать отдельным сборником. Многие песни Сумарокова, как свидетельствуют современники, были приняты «с восхищением знатнейшими дамами», под их «голос» танцевали модные тогда менуэты.

Интересен сборник Теплова и с музыкальной стороны: изданные им песни занимают промежуточное положение между кантами и более поздними романсами, в них уже чувствуется влияние новой европейской музыки: французского менуэта, итальянской сицилианы, польских полонеза и мазурки.

Новый этап в развитии русской музыкально-песенной культуры открыло «Собрание разных песен» М. Д. Чулкова (Спб., 1770—1774). Жизнь Михаила Дмитриевича Чулкова — солдатского сына, бывшего актером, лакеем, квартирмейстером, чиновником Сената — одного из крупнейших литераторов своего времени, была замечательна последовательным стремлением к созданию «неаристократической» словесности, близкой и понятной простым горожанам. Позиция Чулкова, относившего себя к «мелкотравчатым» писателям, отразилась и в его «Собрании». В книгу, как это и обещано заглавием, вошли «разные» песни: от сентиментального романса и пасторали до народной солдатской песни.

В то время, когда Чулков создавал свой песенник, устанавливается своеобразное взаимное тяготение книжной дворянской лирики и устного народного творчества. В образованных кругах возникает интерес к фольклору, многие поэты сознательно подражают крестьянским образцам, создают стилизации под «простонародную» песню. В 60—70-е годы, когда Чулков готовил и издавал свое «Собрание», народные песни еще не были полностью вытеснены из дворянского быта — процесс был длительным и неравномерным. В этом отношении интересна композиция чулковского «Собрания»: каждую часть песенника (всего их четыре, не считая «Прибавления») можно разделить на два отдела. В первом составитель помещал песни литературного происхождения, то есть песни на стихи современных ему поэтов, во второй отдел входили традиционные народные песни.

Всего же сборник Чулкова объединил огромный по тем временам материал: около 800 текстов, среди которых народных — около 300.

Чулков сам не записывал песни. При составлении книги он пользовался рукописными сборниками и другими материалами. Так, большая часть песен Сумарокова, помещенных Чулковым в «Собрании», могла быть известна ему по рукописным тетрадам, как и песни других поэтов XVIII века.

Среди прочих Чулковым была опубликована песня, приписываемая М. В. Ломоносову:

Молчите, струйки чисты,
И дайте мне вещать;
Вы, птички голосисты,
Престаньте воспевать...
Ты здесь, моя отрада,
Любезной пастушок,
Со мной ходил от стада
На крутой бережок...

Варианты этого текста встречаются в рукописных песенниках, а в более поздних печатных сборниках он часто имеет подзаголовок «Пастушеская песня». Дальнейшая судьба этого произведения необычна: оно многократно переделывалось в народной среде, в результате чего возникла очень популярная на рубеже XIX—XX веков песня «Сережа-пастушок», которая поется в некоторых деревнях и сегодня:

Последний час разлуки
С тобою, милый мой.
Не вижу, кроме скуки,
Утехи никакой...
Где ж ты, моя радость,
Сережа-пастушок?
Ходил ко мне от стада
На крутой бережок,
Играл ты, моя радость,
В серебряный рожок,
И сладко целовался
Со мною, мил дружок...

Эта переделка в свою очередь неоднократно печаталась в песенниках и даже дала название одному из них. (Сережа-пастушок. Киев, 1911.)

Интересны принципы, которыми руководствовался Чулков при работе над «Собранием». Он считал, что вправе исправлять тексты, приводя их в соответствие с поэтическими канонами своего времени. В «Предуведомлении» он характеризует свой метод так: «Всякое дело требует труда и прилежания. Сколько я трудился в собрании сих песен, о том ведают те люди, которым известны безграмотные писцы наши, кои пишут, а что пишут, того не разумеют. Их неискусство находил я почти во всякой песне, так что инде ни стиха, ни рифмы ниже мысли узнать мне было не можно; да я чаю, что они и сами растолковать бы мне не сумели; для того принужден я был употреблять догадку».

«Собрание разных песен» Чулкова пользовалось большой популярностью и было несколько раз переиздано. В 1770 году его выпустил сам составитель. В 1780—1781 годах вышел в свет песенник Н. И. Новикова «Новое и полное собрание российских песен, содержащих в себе песни: любовные, пастушеские, шутливые, простонародные, свадебные, святочные, с присовокуплением песен из разных российских опер и комедий» в шести частях. Первые четыре части так называемого «новиковского песенника» представляют собой перепечатку «Собрания» Чулкова. Новое издание появилось в 1913 году, когда вышел из печати первый и единственный, так как

второго не последовало, том «Сочинений Ивана Дмитриевича Чулкова», в который вошли I—III части «Собрания» и «Прибавление». Эту кропотливую работу проделал известный ученый П. К. Симиони.

Вслед за Чулковым издает свое «Собрание русских простых песен с нотами» В. Ф. Трутовский (СПб., 1776—1795). Трутовский отличался от своих предшественников тем, что был профессиональным музыкантом, «камер-гуслистом, употреблявшимся единственно во внутренних ее императорского величества аппаратах для игры на гусях». При составлении сборника он тоже пользовался рукописными и печатными песенниками. «Камер-гуслист» императрицы и сам занимался собиранием песен. Во многом сходная с трудом Чулкова книга Трутовского показывает устойчивость интереса в дворянской среде не только к «искусственной», но и к народной песне, которая в то время еще оставалась неотъемлемой частью вокального репертуара. Гармонизацию «простых песен» Трутовский считал своей важной заслугой. В «Предуведомлении» к I части «Собрания» он писал: «Уже издавна любители русских простых песен желали, чтобы оные выданы были с нотами в музыкальных правилах; но никто еще по сие время не принял на себя сего труда, чтоб их собрав привести в некоторый порядок и подложить басовые ноты».

Чрезвычайно интересным в музыкальном и этнографическом отношении было «Собрание народных русских песен с их голосами. На музыку положил Иван Прач» (СПб., 1790), составленное Н. А. Львовым и И. Прачем. Инициатором издания был Н. А. Львов — поэт, архитектор, геолог, почетный член Российской Академии и Академии художеств. Вот что писал о Львове его современник: «Мастер клавикордный просит его мнения на новую механику своего инструмента. Балетмейстер говорит с ним о живописном расположении групп своих. Там господин Львов устраивает картинную галерею. Тут, на чугунном заводе, занимается он огненной машиной. Во многих местах возвышаются здания по его проектам. Академия ставит его в почетные члены. Вольное экономическое общество приглашает его к себе». Литературное наследие Львова невелико.

Писал Львов и песни, в которых стремился достичь простоты народной лирики:

Я от тебя не потаю:
По нотам мерного я не причастен вою,
Доволен песенкой простою,
Ямскою, хватской, удаюю;
Я сам по русскому покров

- Между приятелей порою
С заливцем иногда пов.

Сборник Львова и Прача переиздавался в 1806, 1815, 1896 и 1955 годах.

В 1792 году увидел свет песенник под пышным названием «Российская Эрата, или Выбор наилучших российских песен поныне сочиненных, любовных, нежных, городских, пастушьих, любовных на старинный русский вкус, простонародных, святочных, свадебных, хороводных, маскарадных, малороссийских, сатирических, столовых, военных, театральных и нравоучительных. Собранные и частью сочиненные покойным Михаилом Поповым, с его предисловием» (Спб., 1792).

Михаил Иванович Попов (1742—1790) происходил из купеческого сословия, был актером придворного театра в Петербурге, переводчиком, сотрудником сатирических журналов Новикова. Известность Попову принесли его стихотворения и любовные песни в народном стиле; его перу принадлежит также первая русская опера на народную тему «Анюта» (1772), в которую он ввел фольклорные тексты. Попов первым из русских поэтов издал отдельный сборник сочиненных им песен («Песни», первое издание — 1765, второе — 1768). Интересными были попытки Попова (совместно с Чулковым) воссоздать русскую национальную мифологию, взяв за образец мифы Греции и Рима.

В общественно-литературных взглядах Чулкова и Попова было много сходного, но несмотря на это Попов стремился противопоставить «Российскую Эрату» чулковскому «Собранию», что ясно видно из полемиического предисловия. Попов поставил перед собой задачу отделить песни литературного происхождения от народных, разработал новый подход к изданию песенников, к классификации и расположению материала внутри книги.

Песни, включенные составителем в «Российскую Эрату», отчетливо распадаются на несколько групп. Первую составляют любовные песни литературного происхождения: городские, пастушеские, «на старинный русский вкус». Вторая группа — «старинные простонародные песни любовные», третья — народные святочные, свадебные и хороводные песни. В отдельные группы можно выделить песни «маскарадные», «сатирические», «военные и победные», «театральные» и другие.

Как и предыдущие составители, Попов признавал необходимость «выправления» песенных текстов в соответствии с правилами поэтики и стилистики своего времени. В предисловии к сборнику он писал, что «решился выправить их

(тексты.— В. Ч.) повсюду, где взыскивала того нужда правил: убавляя и прибавляя вновь многие мысли, переделывая стихи и переиначивая в иных и самое расположение, когда пристойность связи требовала того необходимо». Характерным для конца XVIII века было это отношение Попова к старинным русским песням. Он видел в них только памятники национальной истории, но не считал их самобытными произведениями искусства. В народных песнях, по его мнению, нет «ни ровной меры, ни повсюдного равногласия стоп, ни единственности во предмете содержания, ни непрерывной связи в идеях, ниже чистоты и благородства в слоге; но одни только нескладные стайки обыкновенных и наудачу попавшихся мыслей, грубым и низким изъясненными слогом, и повествующих о некоем по большей части злонравном и распутном или низком и площадном предмете».

Сборник Попова, содержащий свыше 500 песен, явился крупным событием в жизни русского образованного общества конца XVIII века. Не утратил он значения и в начале следующего столетия, когда был переиздан под новым названием: «Всеобщий российский песенник, или Новое собрание лучших всякого рода песен».

Среди песенников, составленных русскими поэтами XVIII века, почетное место занимает «Карманный песенник, или Собрание лучших светских и простонародных песен» И. И. Дмитриева, изданный в 1796 году в трех частях.

Иван Иванович Дмитриев (1760—1837) с четырнадцати лет находился на военной службе, достиг чина полковника и ушел в отставку. Но на этом его служебная карьера не закончилась: позднее становится обер-прокурором, сенатором и, наконец, министром юстиции. В 1795 году он издает сборник «И мои безделки», который перекликается с книгой «Мои безделки» Карамзина. В эту книгу Дмитриев включает большую часть написанных им песен.

Шумный успех в литературных кругах имела песня «Стонет сизый голубочек», напечатанная в разделе «Песни нежные» сборника. Она была популярна в различных слоях общества. Об успехе этой песни Пушкин написал в поэме «Домик в Коломне». Героиня поэмы, Параша,

Играть умела также на гитаре
И пела: *Стонет сизый голубок,*
и *Выду ль я,* и то, что уж постаре,
Все, что у печки в зимний вечерок
Иль скучной осенью при самоваре,
Или весною, обходя лесок,
Поет уныло русская девица,
Как музы наши, грустная певица.

Другое характерное упоминание — в «Очерках бурсы» Помяловского. В главе «Зимний вечер в бурсе» писатель так характеризует бытовавшие песни: «Из общего же всем репертуара певались здесь либо жестокие романсы: „Стонет сизый голубочек“, „Ночною темнотою“, „Я, бедная пастушка“, „Уж солнце зашло, вверх горя“ и т. п., либо чисто народные песни».

В «Карманном песеннике» Дмитриев опубликовал также песни Державина, Нелединского-Мелецкого, Хераскова, Карбанова и других поэтов. Интересно, что Дмитриев первым вынес на обложку книги слово «песенник», которое позднее получило права гражданства в русском языке и стало термином.

Последним печатным песенником XVIII века стало издание «Песни русские известного охотника М*****, изданные им же» (Спб., 1799). «Охотник М*****» (здесь «охотник» — любитель пения) — это малоизвестный поэт С. Митрофанов, о жизни и творчестве которого не сохранилось почти никаких сведений. Предисловие, написанное автором к этой небольшой по объему книжечке (в нее вошло всего 12 песен), отражает растущий интерес к «русской песне», то есть к авторской песне, стилизованной под народную: «Я курныкаю кое-как в удовольствии любящих русский голос русские песенки про невинную любовь; признаюсь, что нет ничего приятнее для сердца моего, как когда на досуге хвачу с раскатцем и балалаечкой песенку про матушку, про любовь...» Книга Митрофанова была издана небольшим тиражом и уже в начале XIX века стала библиографической редкостью.

Песенники, издающиеся в первой половине XIX века, предназначаются не только для любителей пения из дворян, но и для купцов, мещан. Все больше появляется сборников для женщин: «Избранный песенник для прекрасных девушек и любезных женщин, содержащий собрание лучших русских песен разных сочинителей...» (М., 1816), «Новейший туалетный песенник для милых девушек и любезных женщин, или Собрание лучших песен, с объяснением содержания и голосов оных и с присовокуплением приличных каждой песне девизов в стихах» (Орел, 1820). «Эрато, приношение прекрасному полу, или Собрание новейших отборных и употребительнейших романсов и песен» (М., 1829).

Составители песенников старались включать в них все новинки, все, что уже пелось или могло петься. Интересна в этом отношении судьба некоторых стихотворений Пушкина. Так «Романс» («Под вечер, осенью ненастной...») был опубликован в «Памятнике отечественных муз на 1827 год» и уже на следующий год печатается в песеннике «Эвтерпа» (М., 1828).

НОВѢЙШІЙ, ПОЛНЫЙ и ВСЕОБЩІЙ ПѢСЕННИКЪ,

содержащій въ себѣ собраніе отборныхъ и всѣхъ доселѣ извѣстныхъ употребительныхъ и новыхъ всякаго рода пѣсенъ;

ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ЧАСТЯХЪ,

съ дополненіемъ вышедшихъ въ 1812, 1813, 1814 и 1815-мъ годахъ патриотическихъ и военныхъ пѣсенъ, арій и хоромъ; также дѣсенъ изъ новѣйшихъ оперъ: Сандриона, Иосифа прекраснаго, Лодоиски, Павла и Виргиніи, Тайны Подлоза, Миннаго Невидима, Алины, Крестьяне, или Встрѣча незнакомыхъ, Руслаки 4-хъ частей; изъ балетовъ Русскихъ въ Германіи, Любовь къ Отечеству, Русскихъ въ Парижѣ, Праздника въ славѣ Русскихъ воиновъ, и проч. и проч.

Расположенный на

вѣнныя, любовныя, просопоародныя, вѣстужескія, военныя, патриотическія, хорородныя, святочныя, подбаудныя, свадебныя, Малороссійскія, Театральныя, издѣвочныя, выговорныя, ариническія, веселыя и печальныя, Плясовыя, Цыганскія и пр.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,

въ типографіи Императорскаго театра,
1818 года.

БИБЛИОТЕКА

Виктора Александровича
Чистякова

Одна из частей «Новейшего песенника», изданного в 1818 г.

Составители песенников старались включить в них все, что уже пелось или могло петься

Очень популярны были пушкинские «Казак», «Узник», «Зимний вечер», «Талисман». Пожалуй, самый длительный успех выпал на долю «Черной шали». В 1825 году этот романс был помещен в «Избранный новейший песенник» под первым номером. К этому времени «Черная шаль» была уже широко известна, с 1823 года ее переписывали, разучивали и пели не только любители, но и профессиональные хоры, в том числе и цыганские, исполнялась она и многими солистами.

Во второй половине XIX века сложился новый огромный рынок сбыта песенников — мелкое и среднее чиновничество, некоторые слои крестьян и рабочих. Соответственно меняются и песенники: ориентируется на демократического читателя их содержание, оформление. Дешевый лубочный песенник был обычно небольшим по объему (лист или полулист), с броской

Обложка сборника русских песен «Соловушка», 1891.

Во второй половине XIX в. сложился новый огромный рынок сбыта песенников — мелкое и среднее чиновничество, некоторые слои крестьян и рабочих. Ориентируются на демократического читателя и содержание и оформление песенников



обложкой, издавался он довольно высоким по тем временам тиражом (до нескольких десятков тысяч экземпляров). Возникает множество издательских фирм, специализирующихся на выпуске лубочной литературы, частью которой были песенники. Фирмы Морозова, Абрамова и Сазонова, Коноваловой, Шалимова, Баркова, Шарапова, Губанова, Сыгина, Максимова, Балашова в совокупности выпускали миллионы экземпляров песенников ежегодно. Например, только в 1894 году фирмой Сыгина было выпущено 62 тысячи, а фирмой Губанова — 66 тысяч экземпляров песенников, годовой оборот крупнейших лубочных фирм превышал миллион рублей. Вместе с тиражами росла и «номенклатура». Вторые и третьи издания песенников выходили редко, вместо этого составители включали в книгу несколько новых текстов, и подновленный таким образом песенник выходил под другим названием. В период,



Иллюстрация из сборника песен «Соловушка». Песенники стали характерной приметой тогдашнего деревенского быта

предшествующий первой мировой войне, издавалось примерно 150—180 названий песенников ежегодно. Многими фирмами популярные романы печатались в виде лубочной «картины», состоящей из текста песни и иллюстрации (или ряда иллюстраций) к ней. «Не помню сейчас,—пишет И. Д. Сытин в своих воспоминаниях,—как велик был общий тираж лубочной картины, но, конечно, это были цифры астрономические: сотни миллионов, а может быть, и весь миллиард наберется». А всего лубочных изданий лишь за 1892 год, по сведениям Московского комитета грамотности, было издано 3 929 200 экземпляров.

Несмотря на то что тиражи сборников были довольно велики, они мгновенно раскупались, а несколько лет спустя становились библиографической редкостью. Уже в начале XX века редко встречались песенники, изданные фирмами Манухина, Преснова, Леухина, Бриллиантова и других. Возникает, как может показаться, парадоксальная ситуация: с одной стороны, тиражи в десятки тысяч экземпляров, с другой—библиографическая редкость. Причина быстрого исчезновения песенников кроется в их бытовой функции. Песенники, конеч-

Обложка сытинского издания «600 песен», 1898. Среди книг, которые офени разносили по деревням, были и народные издания русских классиков, да и песенники нередко представляли собой своеобразную антологию русской поэзии



но же, не покоились мирно на книжных полках, их часто брали в руки, отдавали для переписки и т. д. Да и отношение к ним было иное, чем к «серьезной» книге.

Новый тип песенника требовал и новых форм распространения. Сборники продавались приказчиками всех крупных фирм на всех больших ярмарках и базарах, куда приезжали и оптовые покупатели. Особенно важную роль в продаже песенников сыгнали офени, бродячие торговцы книгами. В их котомках были книги духовного содержания, лубочные картины, другая продукция Никольского рынка, но всегда находилось место и для песенников, так как спрос на них был очень велик. Описание торгового приказчика книжной лавки с офенями, пришедшими в город за «товаром», мы находим в воспоминаниях Сытина:

«Торг с офенями был очень длителен... Когда условия можно было считать окончательно выработанными, присту-па-

ли к отбору товаров. Это продолжалось иногда не день, а два и даже три дня.

Мужики садились на лавки в ряду у прилавка, и приказчик спрашивал:

— Сколько тебе? Чего тебе?

Перед покупателями раскладывались книги и картины, и начинались веселые шутки и восклицания:

— Святых поменьше, Бовы, Еруслана и Ивана-царевича побольше, песенников помоднее!»

Среди книг, которые офени разносили по деревням, были и народные издания русских классиков, да и песенники нередко представляли собой своеобразную антологию русской поэзии. О роли офени лучше всего сказал И. Д. Сытин: «Вспоминая тысячи лиц, промелькнувших передо мной, я чувствую к тебе глубокую благодарность, мой дорогой брат офеня. Ты объединил нас не только с городом, но и с каждой деревенской избой».

Сейчас уже невозможно подсчитать, сколько песенников проникло в деревню, но они стали характерной приметой тогдашнего деревенского быта. Молодые парни, побывавшие в городе или на большой ярмарке, тоже привозили с собой дешевые сборнички. «Кроме „Оракула“ и псалтыря, у нас в деревне изредка появлялись и другие книжки. Кто-либо из уезжавших в город на заработки вдруг привезет сказку о Бове-королевиче или тоненькую лубочную книжечку „Как солдат спас Петра Великого“, а то и песенник „Липа вековая“», — пишет М. Исаковский в книге «На ельнинской земле».

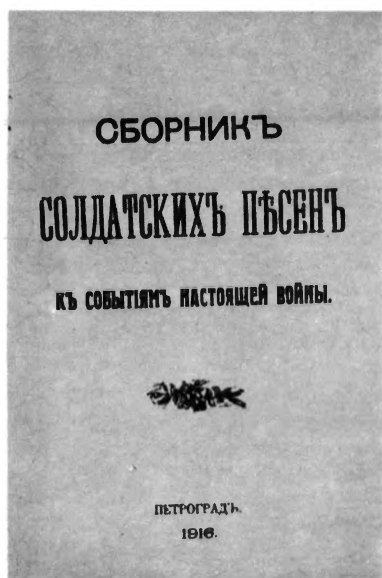
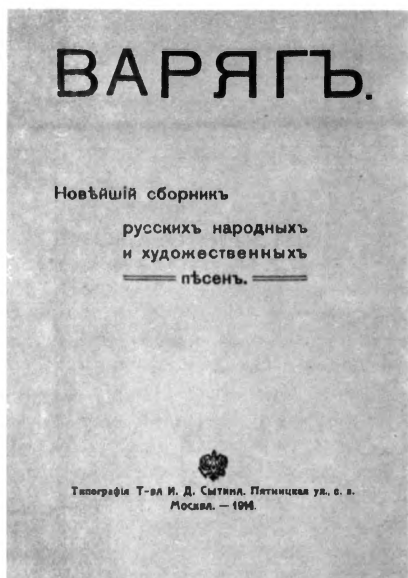
Мы знаем очень мало имен составителей песенников конца XIX—начала XX века, большинство сборников выходило анонимно. Лишь изредка на титульных листах встречались фамилии В. И. Симакова, М. И. Ожегова, И. Горбунова-Посадова, Н. Красовского и некоторых других.

В. И. Симаков — уроженец Тверской губернии, крестьянин-самоучка, всю свою жизнь посвятивший пропаганде народной песни. Он собрал крупнейшую коллекцию частушек — свыше 200 тысяч, одним из первых начал издавать частушечные сборники, предоставив в распоряжение ученых ценнейший материал. Всего Симаков выпустил четырнадцать таких книжек. В предреволюционные годы им было издано пятнадцать песенников, в том числе два выпуска «Новых современных песен поэтов из народа», которые вышли в библиотечке «Мужичок» в 1914 году, «Сборник новейших романсов» (М., 1915), «Стенька Разин и княжна» (Ярославль, 1915), «Арестант» (М., 1917) и другие. Симаков — автор интересного исследования «Народные песни, их составители и их

Обложка песенника
В. Симакова.
В. И. Симаков — уроженец
Тверской губернии, кре-
стьянин-самоучка, всю
жизнь посвятил пропа-
ганде народной песни



варианты» (М., 1929). Кроме того, он собирал русские прозвища (сейчас эти материалы хранятся в Институте русского языка АН СССР), писал книгу о старой Москве. А библиотеку, собранную В. И. Симаковым, можно назвать уникальной. Ученый А. М. Смирнов-Кутачевский описывает ее так: «Кто бы мог подумать, что в маленькой деревеньке Челагино, в семи километрах от Кашина, в глухо заросшем огорожке, почти на задворках хранится драгоценный клад: семь тысяч редчайших интересных изданий о литературе... По русскому фольклору, можно смело сказать, здесь все главнейшее собрано. Песенное творчество в текстах печатных, рукописных, в разных редакциях и изданиях представлено так, что всему этому может позавидовать специальное ученое учреждение... Особенно обширно у Василия Ивановича собрание лубочной литературы». К сожалению, дальнейшая судьба уникального собрания В. И. Симакова неизвестна.



Сборники песен времен русско-японской и первой мировой войн

Составителем нескольких очень популярных песенников стал М. И. Ожегов (1860—1931), за свою жизнь сменивший множество профессий: он был батраком, половым в трактире, штейгером на золотых приисках, сторожем при церкви, кабатчиком, кочегаром, кассиром, рабочим и т. д. Поэт-самоучка, Ожегов еще в детстве начал сочинять стихи и песни, впоследствии стал активным членом Суриковского кружка. Самыми известными песенниками Ожегова были «Чудный месяц» и «Колечко», названия которым дали два написанных самим составителем романса. В песенниках Ожегов часто помещал свои стихи и переделки известных песен, некоторые из которых поются и сегодня: «Зачем ты, безумная, губишь...», «Меж крутых бережков...» и другие. Нередко Ожегов переделки песен выдавал за свои сочинения или ставил под ними подпись: «Испр. Ожегов». Друзья в шутку спрашивали его: «Что такое „испр.“: исправил или испортил?» Романсы Ожегова часто пелись с трактирной эстрады, особенно любила публика его «Чудный месяц»:

Обложка песенника «Коробушка», 1916.

Песенники — это своего рода ориентиры во времени. Для библиофила они — источник интересных открытий и находок, толчок к дальнейшим поискам



Чудный месяц плывет над рекою,
Все в объятьях ночной тишины.
Милый друг, ты гуляешь со мною,
Мы с тобою свободны, вольны...

М. И. Ожеговым издана также автобиография «Моя жизнь и песни для народа» (М., 1901).

Примечательна группа песенников, рожденных событиями русско-японской и первой мировой войн. Большинство из них содержало примитивные, «ура-патриотические» песни. Солдаты их почти не пели. Но в некоторых сборниках были напечатаны и народные песни, в которых рассказывалась правда об окопной жизни, об отношении солдат к несправедливой войне.

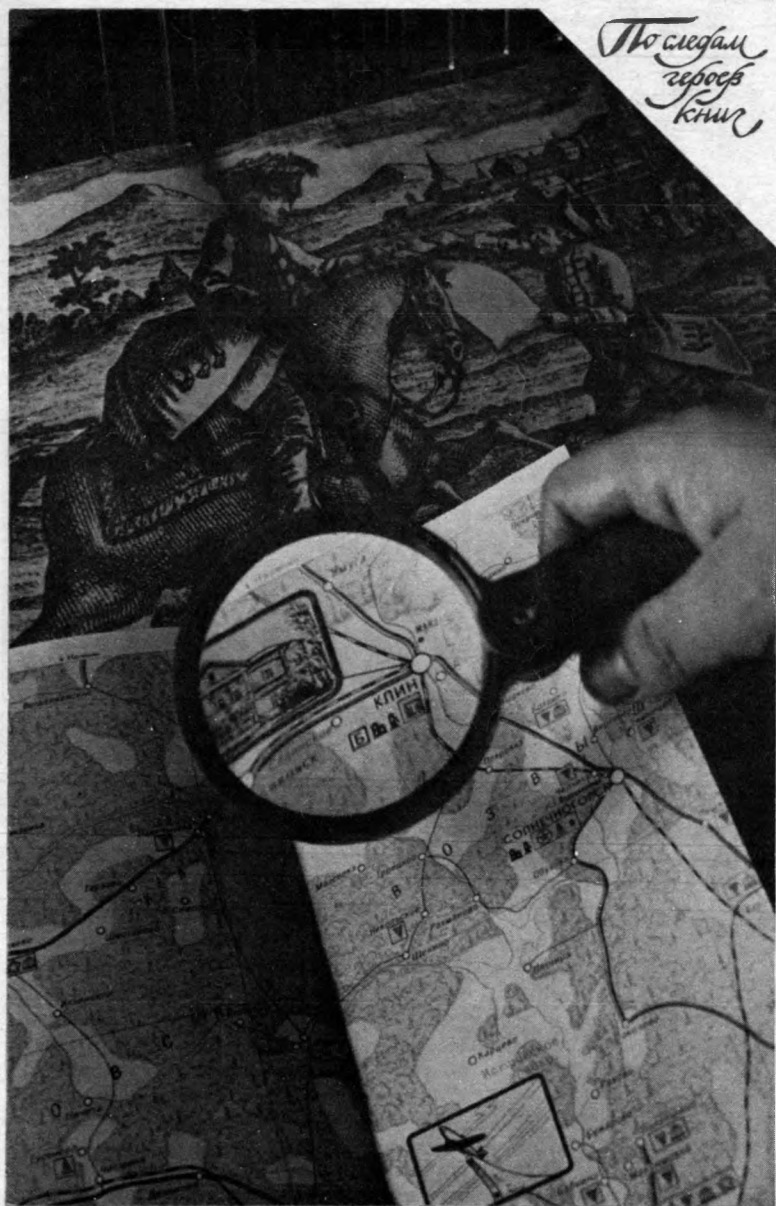
Песенники — это своего рода ориентиры во времени, маяки, которые могут помочь исследователю открыть новые подробности литературной жизни, увидеть многих известных

поэтов и писателей в новом качестве — как авторов популярных песен. Песенники вводят в науку новые имена, воскрешают имена забытые. Для библиофила они — источник множества интереснейших открытий и находок, толчок к дальнейшим поискам. До сих пор нет более или менее полной библиографии этих изданий, им посвящено очень мало работ, почти ничего не известно о коллекционерах и коллекциях песенников. Исключение — коллекция И. Н. Розанова, историка русской поэзии, художественной песни, издавшего замечательные сборники песен русских поэтов.

Профессор И. Н. Розанов, известный литературовед и библиофил, был знатоком и страстным пропагандистом русской песни. Составленные им сборники (Песни русских поэтов, Л., 1936; Русские песни XIX века, М., 1944 и др.) отличаются исчерпывающей полнотой: они содержат сотни песен, из которых одни давно забыты, а другие поются и по сей день. В многолетней работе над этими книгами Розанов не раз обращался к своей коллекции русских песенников XIX — начала XX века. Эта коллекция была для ученого в подлинном смысле слова «рабочей»: на страницах многих книг сохранились сделанные рукой Розанова пометки — фамилии забытых поэтов, даты первых публикаций, разночтения. Кропотливое изучение песенников и современных им периодических изданий привело Розанова к разгадке нескольких литературных тайн: были найдены авторы ряда широко популярных песен и прослежена судьба этих замечательных произведений.

В наши дни собирание, научное описание, изучение и в перспективе переиздание отдельных наиболее ценных сборников — актуальные задачи, которые стоят перед учеными, библиофилами, перед всеми, кто любит и ценит книгу.

По следам
героев
книг



В ГОСТЯХ У ЗНАМЕНИТОГО БАХВАЛА

Майским вечером 1773 года в небольшом немецком городке Боденвердере, расположенном на реке Везер, встретились два человека, имена которых ныне стоят рядом: Распе и Мюнхгаузен.

Встреча состоялась в заполненном людьми павильоне, построенном в саду дома, принадлежащего Иерониму Карлу Фридриху Мюнхгаузену, более известному как барон Мюнхгаузен — действительно существовавший во плоти прототип знаменитого литературного героя.

Хозяин павильона, только что вернувшийся с удачной охоты, был в прекрасном расположении духа. Он сидел в кресле, раскуривал пеньковую трубку и, прихлебывая из бокала пунш, который не забывал подогревать и подливать стоявший рядом слуга, рассказывал одну историю за другой. Любой оценил бы искусство рассказчика. Это был подлинный мастер импровизации. Друзья и гости шумно выражали свое восхищение талантом хозяина, из уст которого так и лились истории одна занимательнее другой.

Среди слушателей находился гость в красном мундире — судя по костюму, приближенный одного из бесчисленных в то время немецких князьков. Это и был тридцатишестилетний Рудольф Эрих Распе, служащий при дворе Фридриха II, ландграфа Гессен-Кассельского. Или как он официально представлялся: княжеский советник, хранитель древностей и заместитель-библиотекарь, профессор античности в кассельском коллеже Карла Великого. Выполняя задание своего ландграфа, Распе совершал поездку по монастырям, отыскивая манускрипты и памятники старины, что привело его в Боденвердер, неподалеку от которого был расположен древний монастырь Кемнадэ.

По мере того как рассказчик воодушевлялся, дым из трубки струился все гуще, лицо преображалось, руки станови-



Иероним фон Мюнхгаузен. Помимо своей воли он попал в литературу, приобрел известность как прообраз бессмертного литературного типа — враля и хвастуна Мюнхгаузена

лись беспокойными, и маленький паричок начинал приплясывать на его голове от сотрясений, вызванных жестикуляцией, и еще от того, что, увлекаясь, барон непрестанно почесывал в затылке. Постепенно повествование его покидало берега реальности и челн воображения устремлялся в море безбрежной фантазии. Правда незаметно переходила в ложь, истинное перемешивалось с вымыслом. Однако природная наблюдательность, меткие характеристики, живой юмор и дар красноречия увлекали слушателей. Иные внимали рассказам развесив уши. Другие, те, кто был менее доверчив, посмеивались в душе над хвастовством охотника.

Таким увидел Мюнхгаузена в тот майский вечер и Рудольф Распе. Увидел, запомнил и изобразил в своей знаменитой книжке, изданной анонимно в 1785 году.

Прочитав, какие чудеса заставил его вытворять сочинитель книжонки, какие плести небылицы, престарелый барон был взбешен. Оскорбленный прототип пробовал подать в суд, привлечь к ответу обидчика. Но закон был бессилен перед анонимным титульным листом.

Знай Мюнхгаузен в тот майский вечер, когда впервые в его доме появился гость в красном мундире, какую тот сослужит ему службу, поостерегся и не стал бы распространяться при нем о своих подвигах. Но Иероним фон Мюнхгаузен так никогда и не узнал, кто же был истинным виновником его позора. Позора? Напротив — славы. Как это ни парадоксально, но маленькая книжка принесла владельцу поместья в Боденвердере большую популярность. Помимо своей воли он попал в литературу, приобрел известность как прообраз бессмертного литературного типа — враля и хвастуна Мюнхгаузена.

Благодаря такой известности мы многое знаем о жизни боденвердерского барона. Центром изучения жизни и деяний знаменитого барона стал музей Мюнхгаузена в Боденвердере. Давайте побываем в этом городке и посетим уникальный музей.

За два столетия в Боденвердере мало что изменилось. Великий пример — Время едва прикоснулось к городку своей рукой, повсюду приметы старины. Если про Веймар говорят, что это город многих «домов» — здесь дома Гёте и Шиллера, писателя Гердера, художника Кранаха, композитора Листа и поэта Виланда, то Боденвердер — город одного «дома». Сегодня главная его достопримечательность — усадьба, где жил знаменитый барон Мюнхгаузен. В любом справочнике Боденвердер обозначен, как «родина Мюнхгаузена», а на туристских проспектах рядом с городским гербом неизменно красуется летящий на ядре приветливо улыбающийся барон — символ города, его рекламная вывеска, приманка для туристов.

В старинном доме, окруженном тенистым вековым парком, музей Мюнхгаузена. Около здания памятник-фонтан: Мюнхгаузен сидит на лошади, заднюю часть которой, как вы помните, отсекло во время жаркого боя: «Поэтому вода вытекала сзади по мере того, как она поглощалась спереди, без всякой пользы для коня и не утоляя его жажды». До наших дней сохранился и павильон Мюнхгаузена, где он имел обыкновение за бутылкой вина рассказывать свои истории. Немного на свете таких уголков — музей в честь литературного героя! Впрочем, это не совсем точно. Музей этот особый, можно сказать, специфический. Он посвящен прототипу героя книги — подлинному Мюнхгаузену, приобретшему известность лишь благодаря своему литературному тезке.

Внутри дома старинная мебель, подвешанные на цепях огромные люстры из оленьих рогов. Всюду охотничьи трофеи, доспехи времен крестоносцев, оружие предков барона — потомка воинственного рыцаря Гейне, участника походов в

Палестину в начале XIII века под знаменами германского императора Фридриха II. Род Мюнхгаузена упоминается еще в документах XII века; жили его представители, главным образом, в Нижней Саксонии и Центральной Германии. Поместье Боденвердер числилось за Мюнхгаузенами лет за сто до рождения Иеронима Мюнхгаузена. Его отец Георг Отто был первым, кто прожил почти всю жизнь в этом поместье, до своей смерти в 1724 году. Женат он был на Сабилле фон Реден-Харстенбек (умерла в 1741 г.). Оба они похоронены в фамильном склепе в Кемнадской церкви. У них было семеро детей — четыре сына и три дочери.

Мать, несмотря на скромные условия жизни, старалась создать детям приличествующее их званию положение. Для сыновей была избрана военная карьера, дочерей выдали за дворян. Так, старший сын Хильмар стал лейтенантом ганноверской гвардии, а затем капитаном на голландской службе. Второй сын, Вильгельм, в чине полковника вышел в отставку, служил ландератом (начальником окружной администрации) и жил в Ринтельне (втором поместье Мюнхгаузенев). Младший сын Георг — лейтенант Гаммерштейнского кавалерийского полка — был убит в 1747 году в битве при бельгийском городке Лаффельде. Но подлинную, можно сказать, всемирную славу заслужил лишь третий сын — Иероним.

Стены его бывшего дома разрисованы эпизодами из жизни Мюнхгаузена. Огромная роспись: Мюнхгаузен со шпагой в руке несется на горячем коне в атаку во главе отряда. Рядом — эпизод охоты на медведя: бесстрашный барон один на один с рассвирепевшим зверем. Мюнхгаузен в форме кирасира и даты его жизни: 1720—1797. Повсюду книги. Заядлый охотник, барон был не менее страстным книголюбом. Его эскибрис, выполненный с большим мастерством, хорошо известен коллекционерам книжных знаков.

На одной из стен — изображение фамильного герба Мюнхгаузенев: путник с фонарем и посохом в руке, как бы отправляющийся на поиски истины, и латинский девиз: «Бог — мое прибежище». Хранятся в этой комнате и подлинные вещи барона. Особенно ценны среди этих реликвий (они лежат в стеклянном шкафу): пенковая трубка — неизменная спутница вдохновений Мюнхгаузена, его походный сундучок и пушечное ядро. Для маловеров оно, видимо, должно служить «вещественным доказательством» правдивости рассказа фантазера-барона о том, как верхом на ядре он вернулся целым и невредимым из «воздушной» разведки. Здесь же можно увидеть офицерскую сумку, пороховницы и даже пистолет — возможно, именно тот, как полагают доверчивые посетители

музея, из которого находчивый барон выстрелил в недоуздок своей лошади, привязанной к колокольне. И таким образом благополучно вернул себе коня, чтобы продолжить путешествие в Россию. Что касается последнего факта, то это истинная правда. Мюнхгаузен действительно совершил поездку в Россию, прожил здесь много лет, сражался на стороне русских против турок и шведов и был отмечен наградами за проявленную храбрость. Эта сторона биографии барона для нас представляет особый интерес.

Конечно, в Санкт-Петербург Мюнхгаузен въехал отнюдь не бешеным галопом и вовсе не в саях, запряженных волком. К тому же это случилось в конце 1737 года. Юный барон — ему минуло тогда уже семнадцать лет — прибыл в столицу России, чтобы присоединиться в качестве пажа к свите столь же юного принца Антона Ульриха Брауншвейгского — мужа Анны Лепольдовны, племянницы императрицы Анны Иоанновны.

Мюнхгаузен состоял пажом при Антоне Ульрихе, не отличавшимся ни особой внешностью, ни особым умом, про которого русский фельдмаршал Миних (кстати сказать, упоминаемый в книжке Распе) говорил, что не знает «рыба он или мясо». Не успел этот отпрыск римских кесарей прибыть в Россию, как тотчас же ее величество издает указ о переименовании бывшего Ярославского драгунского полка в Брауншвейгский кирасирский. Антон Ульрих назначается шефом сего полка, причем при его комплектовании отныне «дозволено было принимать в оный курляндцев и иноземцев, годных к службе, кои изъявляли на то свое желание».

Надел на себя мундир Брауншвейгского полка и молодой Мюнхгаузен. Теперь он щеголял по Петербургу в лосиных колетах, в красном камзоле и таком же красном плаще, с подбоем из синей байки. На шее, прикрытой воротником василькового цвета, красовался кожаный галстук, в косу парика вплетена черная муаровая лента. На ботфортах позвякивали шпоры, на боку бренчала шпага. Для боевого костюма полагалась еще вороненая железная кираса, надеваемая вроде панциря на грудь (в ней он изображен на прижизненном портрете). Мундир кирасира, подобно пропуску, дал возможность Мюнхгаузену проникнуть в высший свет. Это было тем более кстати, что юного любознательного немца интересовали различные стороны жизни «изумительной столицы России» того времени: образ правления, искусство, науки. Вскоре он оказывается в курсе придворных интриг, становится участником веселых приключений праздной молодежи. Не одну ночь провел барон «под звон полных бокалов» за игорным карточным столом, не раз участвовал в веселых холостяцких пируш-

ках. Но обо всем этом барон не будет распространяться впоследствии. И не столько из-за скромности, сколько из-за того, что его занимали в то время дела «более важные и благородные». Больше всего его интересовали лошади и собаки, лисицы, волки и медведи, которых в России, по его словам, такое изобилие, что ей может позавидовать любая другая страна на земном шаре. Ну и, конечно, еще дела рыцарские, славные подвиги, «которые дворянину более к лицу, чем крохи затхлой латыни и греческой премудрости».

Понюхать пороху ему пришлось довольно скоро. В 1738 году вместе с русской армией он отправляется в поход против турок. Затем вместе с полком Мюнхгаузен попадает в Ригу. И здесь становится свидетелем и участником еще одного события.

Вьюжным февральским днем 1744 года ангильт-цербская принцесса Софья и ее мать подъезжали к Риге. Зима была холодная, бесснежная, поэтому ехали в колесной кибитке. В Риге пятнадцатилетняя принцесса должна была пересест в удобную карету и, получив эскорт, следовать дальше в Россию, где впоследствии взойдет на престол под именем Екатерины II.

Когда кибитка с высокой гостьюей переехала по льду Двину, из крепости грянул пушечный залп. А еще будущую императрицу на границе России встречали звоном литавр и боем барабанов. Гоффурьеры, кирасиры и почетный караул приветствовали ее. Салютовал ей и начальник караула барон Мюнхгаузен.

Через несколько лет, в 1750 году, Мюнхгаузен получит чин ротмистра. В патенте, выданном ему и собственноручно подписанном императрицей Елизаветой Петровной (ныне он хранится среди реликвий в музее Мюнхгаузена), говорилось: «Известно и ведомо да будет каждому, что Мы Иеронимуса Мюнхгаузена, который нам почтением служил, для его оказанной к службе Нашей ревности и прилежности, в Наши ротмистры 1750 года февраля 20 дня всемиловитейше пожаловали и учредили, якоже Мы сим жалуем и учреждаем, повелевая всем Нашим помянутого Иеронимуса Мюнхгаузена за Нашего ротмистра надлежащим образом признавать и почитать; напротив чего и Мы надеемся, что он в сем ему от Нас пожалованном новом чине так верно и прилежно поступать будет, как верному и доброму офицеру надлежит».

Но именно в этот момент наш герой затоскует по родному Боденвердеру. А если учесть, что незадолго до этого барон женился на лифляндской дворянке, дочери рижского судьи

Хильмар — самый юный из потомков Мюнхгаузена



Якобине фон Дунтен, то понятно его стремление домой, к семейному очагу. Недолго думая, он выходит в отставку и покидает Россию.

И вот он уже в родовом поместье на берегу тихого Везера. Столь же тихо и безмятежно отныне течет его жизнь. Бывший кирасир занялся сельским хозяйством, управлял имением и предавался своей страсти — охоте, благо окрестные леса были так богаты тогда разной живностью. А по вечерам рассказывал истории о своих приключениях в России, полные безобидного хвастовства и выдумок.

Когда барону исполнилось 70 лет, умерла его жена, не оставив ему наследников. Полное одиночество побудило его вступить в новый брак. Женился он на 17-летней Бернардине, дочери своего товарища — майора фон Брунна. Однако женитьба эта не принесла престарелому барону счастья. Молодая жена оказалась расточительной, любительницей развлечений и дорогих туалетов. Кончилось дело тем, что она убежала с

поклонником в Голландию, где следы ее затерялись. Разгневанный и опозоренный Мюнхгаузен завещал свое поместье племяннику. Умер он на 77 году жизни.

...Не так давно барон ожил и появился на улицах Боденвердера. Случилось это в юбилейные дни, когда город отмечал 250-летие со дня рождения своего знаменитого земляка. На празднество съехалось около десяти тысяч человек, из них 60, считающих себя потомками Мюнхгаузена. С лестницы ратуши гостей приветствовал сам барон в парадном мундире,—его изображал актер ганноверского театра.

Устроители праздника сумели создать яркое зрелище. Дома и улицы были украшены флагами и плакатами. Из городского фонтана, изображающего Мюнхгаузена верхом на половине лошади, в течение двух часов вместо воды текло пиво (для того чтобы получить его, надо было приобрести специальный стакан). Затем был продемонстрирован знаменитый полет на пушечном ядре—на этот раз Мюнхгаузена изображала кукла. Вечером состоялся спектакль, в котором, кроме самого барона, приняли участие еще два прославленных литературных персонажа и земляка барона-враля—лекарь Айзенбарт и Крысолов из Гамельна. Почтовое ведомство выпустило в честь события памятную марку, на которой запечатлен памятник-фонтан.

Фигуру знаменитого барона можно встретить в Боденвердере не только по праздникам. Наш старый знакомый появляется на пристани каждое воскресенье. Он приходит сюда встречать прогулочные пароходы с туристами. На нем камзол по моде XVIII столетия, треуголка, на боку шпага. Роль Мюнхгаузена исполняет бывший учитель, «мобилизованный» местным туристическим объединением.

Барон приветствует прибывших пассажиров, рассказывает им, как когда-то, небылицы, затем ведет к Дому-музею через город, мимо множества вывесок, на которых написано: «Мюнхгаузен-аптека», «Мюнхгаузен-булочная», «Мюнхгаузен-кино-театр».

Походил ли подлинный барон Мюнхгаузен на литературного героя? Если обратиться к свидетельствам современников, то мы увидим, что барон не прочь был прихвастнуть, любил поражать слушателей необычайными рассказами о своих охотничьих и военных подвигах.

Таким и изображен он в книге Распе. Мюнхгаузен лжет по врожденной привычке, лжет самозабвенно, сам искренне веруя в свои рассказы. Недаром у него через весь герб, на котором Густав Доре изобразил топорик, уток, колесо и бутылку, красуется девиз, написанный, как принято в геральдике,

Памятник-фонтан в замке
Боденвердера



по-латыни, «Mendace veritas» — «Во лжи истина». Говорят, что самая опасная ложь та, в которую автор сам искренне верит. У медиков даже существует такое определение, как «синдром Мюнхгаузена» — склонность к патологической лжи. Но барон Мюнхгаузен не столько возвеличивает ложь, сколько мастерски разоблачает этот порок. Своими рассказами о путешествиях, походах и забавных приключениях он обличает искусство лжи, выступает как бы ее карателем. Рудольф Эрих Распе именно так и определял морально-воспитательное значение своей сатирической пародии на вралей и хвастунов.

С тех пор имя героя этой книжки стало давно уже нарицательным. «Субъект этот — настоящий Мюнхгаузен по лживости», — сказал однажды Карл Маркс об одном хвастливом буржуазном литераторе. И сегодня нередко мы говорим: «Ты настоящий Мюнхгаузен», когда видим, что фантазия собеседника слишком разыгралась и вышла из берегов реальности.

КНИГИ

В книгах счастья не ищи.
Каждый книжный том —
Это только путь к тому,
Что в тебе самом.

Там и солнце, и луна,
Там весь мир — он твой.
Свет, который ты искал,
Ты в себе открой.

И тогда вся мудрость книг,
Вся их красота
Засияют для тебя
С каждого листа.

Перевод с немецкого Л. Мотылева

Резьба
и кистью



КНИЖНАЯ ГРАФИКА А. И. КРАВЧЕНКО

Алексей Ильич Кравченко (1889—1940), один из крупнейших советских художников, был разносторонне одаренным человеком. Он прекрасно писал маслом и акварелью, рисовал, успешно работал в области офорта и гравюры на линолеуме, но мировую известность получил как мастер ксилографии, в которой достиг высокого совершенства. Он придал черно-белой гравюре поразительную эмоциональность, заставил ее заговорить полным голосом. Его гравюры стали для большинства настоящим откровением. Он показал всему миру, какие динамические силы, какие удивительные средства воздействия на зрителя таятся в гравюре на дереве...

Кравченко прокладывал в ксилографии новые пути, был подлинным новатором. Весь его творческий путь — неустанный поиск. Он искал наиболее выразительную манеру изображения, постоянно изобретал новые технические приемы, применял новые инструменты и достигал поразительных результатов. Его гравюры полны жизни. В них все — стремительный бег линий, причудливые их переплетения, игра черного и белого — служит одной цели: показать изображаемое не в холодной статичности, а в движении, сделать его живым, как можно глубже и ярче раскрыть его содержание.

«С какой изобретательностью, — писал ему Б. М. Кустодиев, — и неповторимым нигде в двух вещах подходом к разрешению светотени, делаете Вы это волшебство силой то черных, то белых линий... Я восхищался уверенностью, четкостью и вкусом этих еле заметных, но всегда говорящих линий... Все сделано такими минимальными, такими лаконичными средствами, а достигнут максимум выразительности!»

В области книжной графики Кравченко начал работать почти сразу после окончания Московского училища живописи, ваяния и зодчества — в 1912—1913 годах. Вначале он делал обложки для детских книг, издававшихся И. Сыгиным,



Книжный знак А. А. Сидорова, 1921

И. Кнебелем и другими. В 1914 году вышла первая иллюстрированная им книга «Арабские сказки», а в 1916—1917 годах — тонкие детские книжки с цветными рисунками «Детство» И. Сурикова и «Приключения Чибя» Дж. Кеннеди.



Гравюра на дереве к «Повелителю блох» Э. Гофмана, 1922

До революции художественно оформлялись, как правило, книги для детей и юношества или «роскошные» дорогие издания большого формата, рассчитанные на состоятельных покупателей. Многие книги иллюстрировались рисунками иностранных художников. Гравюра на дереве применялась, за исключением единичных случаев, только для репродукционных целей. Книги, оформленные Кравченко в эти годы, особо не выделялись. Перед самой революцией было выпущено с большим вкусом несколько иллюстрированных изданий в оформлении лучших художников — «Горе от ума» А. Грибоедова с рисунками Д. Кардовского, «Пиковая дама» А. Пушкина с рисунками А. Бенуа, «Хаджи-Мурат» Л. Толстого с рисунками Е. Лансере и некоторые другие, но это тоже были дорогие издания для «любителей».

В послереволюционные годы А. И. Кравченко одновременно с В. А. Фаворским ввел в издательскую практику новый тип изданий, массовых и, в то же время, художественных, иллюстрированных оригинальными гравюрами на дереве, позволяющими печатать книги тиражами, доступными широким кругам читателей.

Старые книжники хорошо помнят, какое огромное, почти сенсационное впечатление произвели первые издания с гравюрами на дереве Кравченко — «Деревянная королева» Л. Леонова и «Сверчок на печи» Ч. Диккенса, а несколько позднее — «Повелитель блох» Э. Гофмана и «Портрет» Н. Гоголя. Несмотря на довольно значительные по тому времени тиражи, эти книги сразу стали библиографической редкостью, за ними охотились, их дарили как ценный подарок.

Всеобщее восхищение творчеством Кравченко в эти годы хорошо выражено в сонете известного искусствоведа, одного из создателей Русского общества друзей книги, А. А. Сидорова, напечатанном в 1924 году в сборнике «Гравюра и книга»:

Поистине источник не иссох
 былых великолепных достижений:
 ксилографуры чернобелый гений
 вздымает вновь восхищенный вздох.

Опять над оттиском, хорош он или плох,
 любители ведут игру суждений —
 что ж! Руководит сетью наслаждений
 тобой заклятый Повелитель блох!

Резцу покорны вымыслы поэта —
 и тайна Гоголевского портрета
 и Диккенсовского сверчка уют.

Привет, художник! Вывод одинаков —
 и Кравченке корону книжных знаков
 признательные наши дни куют.

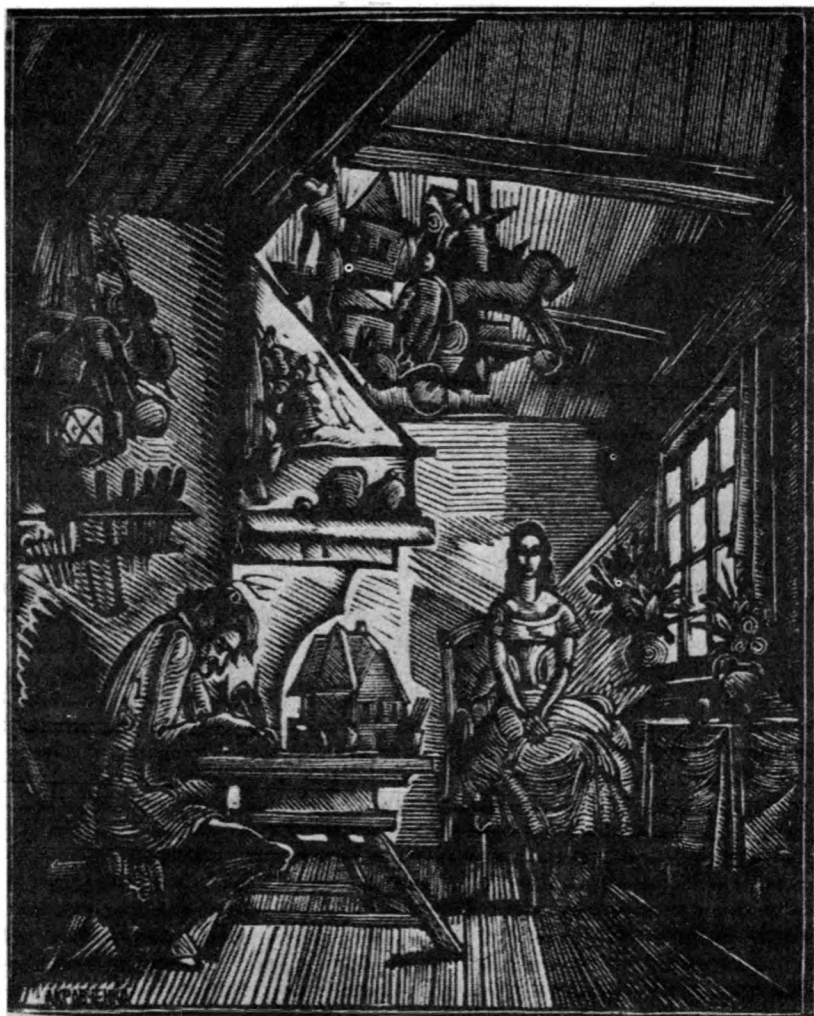


Иллюстрация к «Сверчку на печи» Ч. Диккенса, 1923

Вскоре после появления первых книг Кравченко с гравюрами на дереве началось триумфальное шествие произведений художника по выставочным залам всего мира. Достаточно сказать, что с 1917 года до конца своей жизни он участвовал более чем в 140 выставках, в том числе 72 раза в 25

зарубежных странах. В 1925 году на Международной выставке в Париже ему была единогласно присуждена высшая награда — Гран При. После этого он почти каждый год становился лауреатом различных международных выставок и конкурсов гравюры.

Всего Алексей Ильич художественно оформил около 100 книг и 70 из них проиллюстрировал — главным образом, произведения русских и зарубежных классиков. К лучшим иллюстрированным им изданиям, кроме уже упоминавшихся, относятся «Египетские ночи» А. Пушкина, «Повести» Н. Гоголя, «Слепой музыкант» В. Короленко, «Легенда об Уленшпигеле» Ш. Костера, «Мистерии» Дж. Байрона, рыцарская повесть «Окассен и Николет», собрание избранных сочинений А. Франса, «Новеллы» С. Цвейга и другие, а также рассказ Н. Лескова «Как Христос посетил крестьянина», опубликованный в 1926 году в Париже в журнале «Иллюстрасьон». Из превосходных гравюр к этому рассказу нашим читателям известна только одна, воспроизведенная в монографии С. Разумовской.

Особо следует отметить, что Кравченко был одним из первых иллюстраторов советских писателей — М. Горького, В. Маяковского, Л. Леонова, А. Ширяевца и других. Им выполнены первые иллюстрации к крупнейшему произведению советской литературы — «Тихому Дону» М. Шолохова (1933).

В своих иллюстрациях Кравченко передавал дух произведения, раскрывал перед читателем внутренний мир писателя. Он говорил: «Художника следует рассматривать не как инертную фигуру, включающуюся в „оформление“ кем-то другим созданной книги, а как сотворца ее наряду с писателем. Я как художник хочу иметь право прочесть автора также и между строк, дополнить автора собственными замыслами и индивидуальной трактовкой его персонажей и их поведения». И он так и делал.

Его гравюры достигают особого блеска и звучания, поразительной выразительности, поднимаются до вершин мастерства, когда он иллюстрирует произведения авторов, отвечающих его вкусам и темпераменту. Он не мог оставаться равнодушным к героям иллюстрируемых книг, будь то средневековая повесть или современный роман. Для него они были не выдуманные литературные персонажи, а живые люди, с их достоинствами и недостатками. И его чувства передаются читателю, заставляют сопереживать прочитанное, делают участником описываемых событий.

Его творчеству свойственна романтичность. «Я до известной степени романтик по своему художественному методу», — писал он в «Советском искусстве» в 1934 году. Думается,



Рисунок к «Фантастической повести Ботаника X.» из «Необычайных, но истинных приключений графа Бутурлина», 1928

что он был романтиком и по своей натуре; его романтизм проистекал из обостренного эмоционального восприятия окружающего. Ему была близка романтика современности, устремленная в будущее, романтика революции, гражданской войны и перестройки старого мира. Он принадлежал к тем, кто творит не холодным рассудком, а горячим сердцем. А. Сидоров

в статье «Московская школа гравюры», вошедшей в сборник «Мастера современной гравюры и графики» (М., 1928), писал: «Кравченко единственный из наших граверов, вкладывающий в свои произведения свое сердце... Рядом с ним мастерство Павлова превращается в механику гравюры...» Можно спорить о характеристике Павлова, как художника-гравера, которую дал ему А. А. Сидоров, но сказанное о Кравченко совершенно бесспорно. Он действительно вкладывал в свои произведения сердце, насыщал их своими чувствами, и это делало их близкими и понятными широким массам читателей.

Наверное, в этой же особенности его творческого характера коренится и его любовь к живописи. Начав свой художественный путь как живописец, он продолжал увлеченно работать красками и тогда, когда стал признанным мастером ксилографии. Отсюда его любовь к цветным гравюрам и живсписность черно-белых. Сочетанием штрихов, дающих то переливающиеся серебристые, то густые бархатисто-черные тона, сплошных черных пятен и белых поверхностей, разнообразной фактурой он создает подчас впечатление красочности, необычной для черно-белой гравюры. Известный искусствовед, большой знаток графики А. Бакушинский писал в 1929 году в сборнике «Гравюра на дереве»: «Деревянная гравюра последнего периода у Кравченко еще более, чем раньше, выявляет всю свою звучность и силу прежде всего как живописная стихия. Все ее формальные свойства: черное и белое с их тональными градациями действуют прежде всего как цвет. Кравченко чужд графичности даже в чисто линейном приеме. И здесь господствует живописный короткий штрих и, как общее явление, разорванная форма контура». «Я больше живописец, чем чистый график»,— писал сам художник.

Большинство иллюстраций Кравченко— гравюры на дереве, иногда на линолеуме. Несколько книг иллюстрировано рисунками, сделанными пером и тушью, а последняя его книга— «Собор Парижской богородицы» В. Гюго— тоновыми рисунками тушью и кистью.

Художник, как правило, очень лаконичен: он ограничивается двумя-тремя иллюстрациями, а часто и одной— фронтисписом. Поэтому он выбирает самые главные, узловые моменты повествования. Он не следует за каждым словом автора, он пишет картину широкими мазками, передает не букву, а дух произведения. Среди его иллюстраций почти нет портретов действующих лиц, столь излюбленных некоторыми художниками, пейзажей, ничего лишнего, даже детали, характеризующие время и место происходящего, доведены до минимума.



О. Бальзак. «Шагреневая кожа», 1931



Вариант иллюстрации к «Деревянной королеве» Л. Леонова, 1923

Интересно сопоставить иллюстрации Кравченко с иллюстрациями других художников к одним и тем же произведениям. В «Повестях» Н. Гоголя, вышедших в издательстве «Художественная литература» в 1935 году, Кравченко иллюстрировал первые три: «Нос», «Невский проспект» и «Шинель». В. Масютин, иллюстрируя «Нос», сделал 23 рисунка, заставку и концовку; Д. Кардовский для «Невского проспекта» исполнил 25 рисунков; Б. Кустодиев для «Шинели» — семь. Все эти рисунки подробно изображают развитие описываемых в повестях событий. Кравченко сделал к каждой из этих повестей всего по три гравюры. Сюжеты иллюстраций для «Носа»: Ковалев обнаруживает пропажу носа, нос входит в лавку и нос снова на месте; для «Невского проспекта»: погоня за незнакомкой, сон Пискарева, похороны Пискарева; для «Шинели»: Акакий Акакиевич у портного, ограбление, Акакий Акакиевич снимает шубу со «значительного» лица.

А вот еще интересное сравнение: к «Медному всаднику» А. Пушкина А. Бенуа сделал 35 рисунков, проиллюстрировав чуть ли не каждую строчку этой Петербургской повести. Кравченко — всего три иллюстрации и две заставки. Он ограничился сценами обращения Евгения к памятнику, бегства от памятника и переправы на лодке.

Хорош или плох такой лаконизм в иллюстрировании? Перечисленные выше художники развертывают перед читателем действие как в театре или кинематографе. Кравченко дает читателю только отправные пункты и предлагает ему самому представить, о чем рассказывает писатель.

Есть и средние пути, и, наверно, все они имеют право на существование, если достигается одна из главных целей иллюстрации — помочь читателю лучше понять прочитанное. Конечно, надо иметь в виду, что не всегда количество иллюстраций определяется художником, часто оно устанавливается издательствами. Но, думается, если бы Кравченко сам решал этот вопрос, вряд ли число его гравированных иллюстраций резко увеличилось бы, потому что немногословность заключена в самой природе гравюры, заставляющей концентрировать внимание на основных моментах изображения, не отвлекаясь на второстепенные детали. В книгах, иллюстрированных рисунками («Шагреневая кожа» О. Бальзака, «Дон Жуан» Дж. Байрона и др.), Кравченко более подробно передает перипетии сюжета, позволяет себе останавливаться на эпизодах, не представляющих существенного значения для повествования.

К сожалению, не все созданные художником иллюстрации были изданы. Прекрасные рисунки к «Дон Жуану» Дж. Байро-



Гравюра к роману Л. Леонова «Барсуки», 1932



Иллюстрация к «Египетским ночам» А. С. Пушкина, 1934

на, заказанные ему издательством «Academia», так и не увидели света. Гравюры к «Пиковой даме» А. Пушкина только теперь намечаются к изданию. Остались неизданными иллюстрации-фронтисписы к пьесам Шекспира и некоторые другие работы.

Большинство авторских досок художника цело, но многие не сохранились. Пропали доски гравюр к «Повелителю блох» Э. Гофмана, отправленные накануне войны во Францию, где предполагалось выпустить библиофильское издание этой книги с гравюрами Кравченко. Не вернулись из Франции и доски гравюр к рассказу Лескова, заказанных журналом «Иллюстрасьон». Большинство досок-иллюстраций к произведениям Н. Гоголя и А. Франса, издававшимся на Украине, погибло во время войны.

В 1977 году в ГДР издательство «Ферлаг дер национ» выпустило «Повелителя блох» Гофмана с иллюстрациями Кравченко, очень неплохо отпечатанными с клише, сделанных с сохранившихся оттисков. Несколько позднее там же была издана в воспроизведении гравюр Кравченко повесть «Окасен и Николет».

Книги, иллюстрированные Кравченко, теперь являются библиографической редкостью. Наиболее редки из числа изданных, начиная с 20-х годов, восемь томов Избранных сочинений А. Франса, «Похождения Хаджи-Бабы» Д. Морiera, «Юлия, или Встречи под Новодевичем» Ботаника Х., путеводитель по Москве на испанском языке, «Маршруты экскурсий на 1927 год», «Бытовой музей 40-х годов» Б. Шапошникова и тоненькие книжечки, предназначенные главным образом для детей,— «Товарищ Ленин» Горюнова, «Круглый год» Новикова, «Слепой и его подруга» В. Короленко, «Генерал Топтыгин» Н. Некрасова и другие. Очень редки, несмотря на большие тиражи, такие издания, как «Дело Артамоновых» М. Горького, напечатанное в одном из выпусков «Романгазеты» в 1927 году, «Шагреневая кожа» О. Бальзака и «Страдания молодого Вертера» И. В. Гёте, вышедшие в серии «История молодого человека XIX столетия», которая издавалась по инициативе Максима Горького Журнально-газетным объединением в 1932 году.

Кравченко был страстным книголюбом. В течение всей своей жизни, всегда и везде, где бы он ни бывал, его влекли к себе книжные магазины, в особенности лотки букинистов— будь то у Китайгородской стены в Москве или на набережной Сены в Париже. Для него было наслаждением рыться в старых книгах и, раскрывая их, вдыхать аромат столетий, гладить роскошный марокен, потертый кожаный или перга-

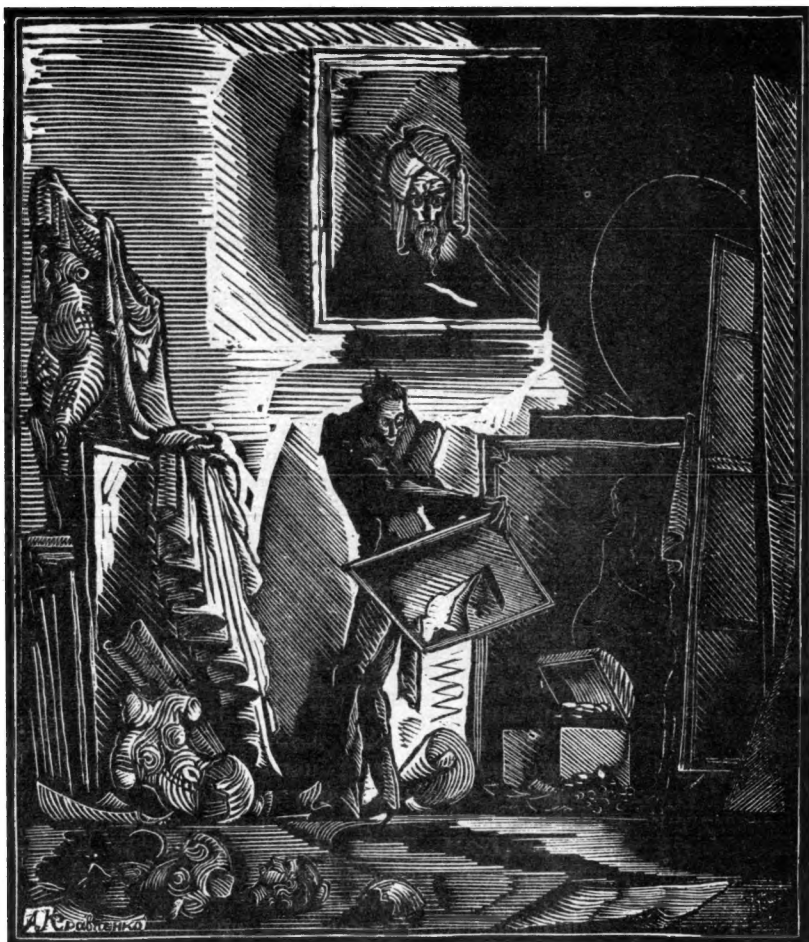


Иллюстрация к повести Н. В. Гоголя «Портрет»

ментный переплет. Каждый раз, возвращаясь от букинистов, он приносил домой целую связку книг. Нельзя сказать, что его библиотека была хорошо подобрана, но в ней было много ценных и интересных книг, как русских, так и иностранных.

Естественно, что его не могли не привлекать библиофильские издания. Еще в начале 20-х годов он задумал сделать

небольшую книжечку стихов своего хорошего знакомого М. Зенкевича, в которой и иллюстрации и текст, написанный от руки, должны были быть литографированы. Он сделал 25 страничек, отпечатанных с одной стороны, в том числе несколько иллюстраций, но издание закончено не было. Биограф художника С. Разумовская упоминает о другом издании стихов Зенкевича с иллюстрациями и книжными украшениями, выполненными цветным офортом (пять досок), и текстом, вырезанным на линолеуме. В архиве художника никаких следов этой книжки нет, что заставляет сомневаться в ее существовании. В 1920 году художник предполагал издать в количестве 200 экземпляров гравированную книжечку «Итальянские стихи» А. Блока, на что получил его согласие, но смерть поэта, по-видимому, не позволила осуществить это намерение.

В 1926 году Кравченко стал работать над библиофильским изданием «Опасного соседа» В. Л. Пушкина. Был сделан макет, награвированы титульный лист, одна иллюстрация и первая страница текста с орнаментальной заставочкой, но этим работа над книгой завершилась. Возможно, что художник не имел достаточного времени для гравирования всего текста. А жаль! Издание обещало быть действительно библиофильским!

Через два года вышла упоминавшаяся выше небольшая изящная книжечка Ботаника X. (академика А. В. Чайнова) «Юлия, или Встречи под Новодевичем» с двумя гравюрами на дереве Кравченко, отпечатанная в количестве 300 экземпляров. Это издание принадлежит к числу книжек, давно ставших объектом коллекционирования многих библиофилов. Намечалось переиздать эту и четыре ранее вышедшие «романтические повести» Ботаника X., объединив их в одной книге с иллюстрациями Кравченко. Художник увлекся этим проектом и кроме гравюр к «Юлии» сделал еще восемь гравюр и один вариант. К каждой повести было сделано по фронтиспису, изображающему ее основные эпизоды, и по одной иллюстрации. Среди них — одна из самых блестящих гравюр художника, многократно воспроизводившаяся и ставшая хрестоматийной, иллюстрация к «Необычайным, но истинным приключениям графа Бутурлина», изображающая бегство его через окно, после того, как он нарушил пасьянс Брюса. Несмотря на то что гравюры были сделаны, повести так и не увидели свет.

К библиофильским изданиям с гравюрами Кравченко можно отнести «Египетские ночи» А. Пушкина (1934). Художник много работал: сделал детальный макет, продумал все до

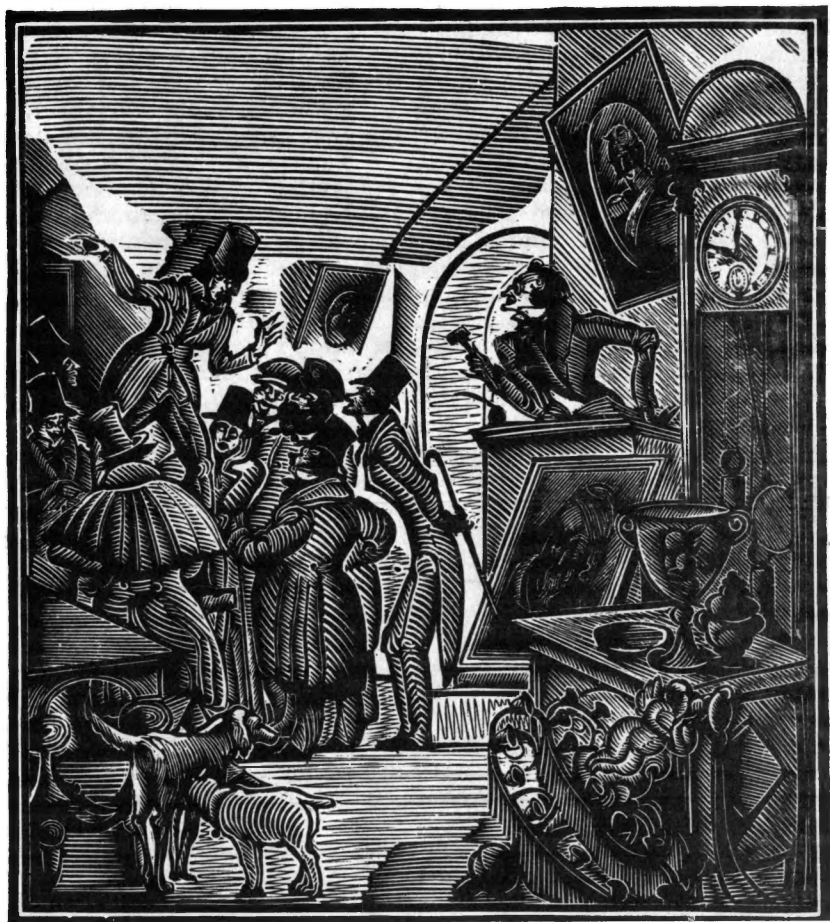


Иллюстрация к повести Н. В. Гоголя «Портрет»

самых мелочей, награвировал титульный лист, иллюстрации, заставки, концовки, буквицы и ряд вариантов, добиваясь большей выразительности и более полного раскрытия образов. Эта книга по праву относится к числу лучших художественных советских изданий.

Говоря о Краченко как о художнике книги, нельзя не сказать и о его книжных знаках. Он один из крупнейших

мастеров советского экслибриса. Первый рисованный книжный знак был создан им еще в 1912 году. Первый гравированный — в 1919 году. Всего им изготовлено 64 экслибриса и знака для коллекций гравюр, включая пять вариантов, три уничтоженных и один незаконченный знак. Почти все они гравированы на дереве.

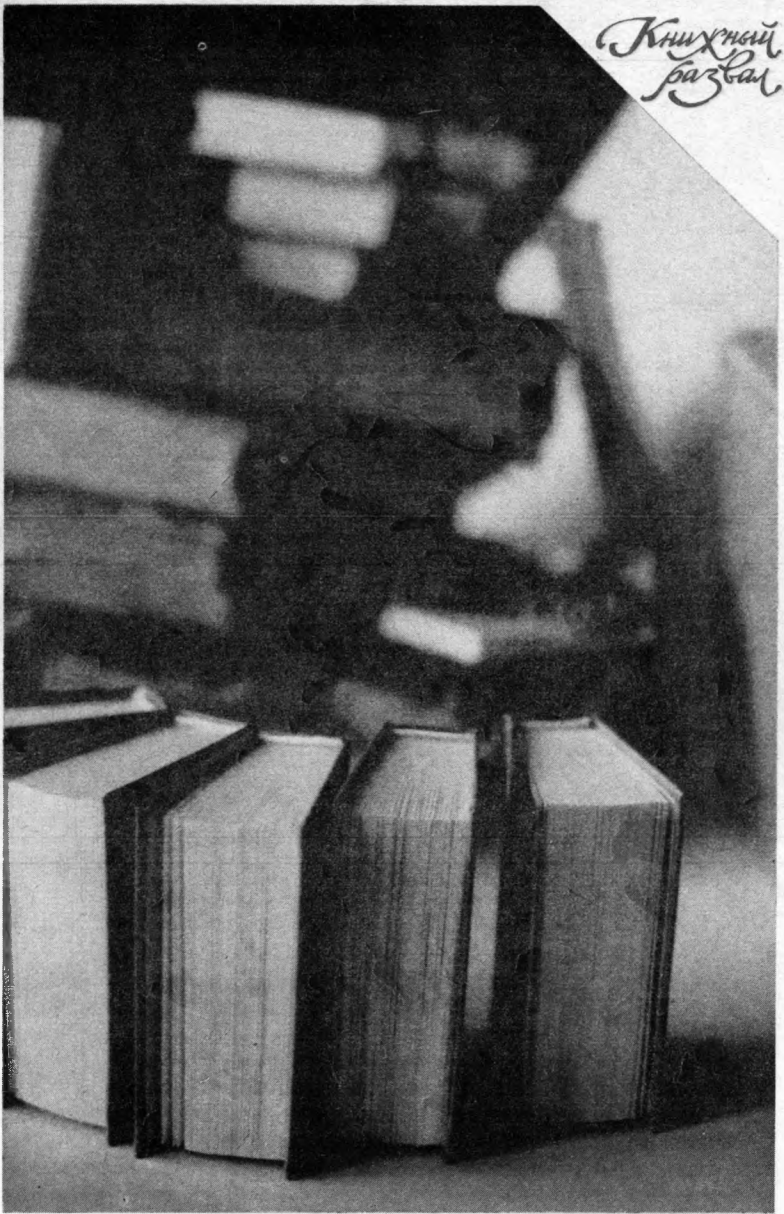
В 1922 году была издана в количестве 525 экземпляров (500 нумерованных и 25 именных) небольшая изящная книжечка «Экслибрис. Гравюры на дереве Алексея Кравченко». В ней была впервые воспроизведена отпечатанная с авторских досок знаменитая «Библиофильская сюита» — 12 книжных знаков, 12 маленьких новелл, посвященных библиофилам. Будучи сам страстным любителем книг, художник рассказывает о библиофилах тепло и сочувственно и, в то же время, с чуть заметной улыбкой. Он изобразил их в книжных лавках, у лотков букинистов, на дружеских беседах, наедине с книгой дома, в парках, на улицах старой Москвы, не обращающих внимание ни на окружающую красоту, ни на проливной дождь.

Во второй части книжечки помещены стихи жены художника, К. С. Кравченко, раскрывающие содержание экслибрисов. Ей же принадлежит стихотворение, открывающее книжечку, «Посвящение книге». Некоторые страницы украшены художником миниатюрными гравюрами (0,5×1; 1×1,2 см), поражающими ювелирной тонкостью и виртуозностью исполнения.

Блестяще выполненная, с занимательными сюжетами, близкими сердцу каждого книголюбца, насыщенная романтикой и поэзией, любовью к книге и мягким юмором, эта сюита была восторженно принята не только экслибрисистами, но и всеми любителями книг и графики.

В 1924 году вышла книжка М. Базыкина «Книжные знаки А. И. Кравченко». В ней, тоже с авторских досок, отпечатано еще 12 гравированных на дереве экслибрисов художника, не вошедших в издание 1922 года. Книга Базыкина была издана в количестве 350 экземпляров, из которых 250 нумерованных, на особой бумаге.

Книжной
развал



О РУССКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ СЛОВАРЯХ

Одной из фундаментальных задач Академии наук СССР, помимо других научных и народнохозяйственных, является изучение русского языка, его истории, создание словарей. Мы хорошо знаем отмеченный Ленинской премией академический семнадцатитомный Словарь современного русского литературного языка (1948—1965), председателем редколлегии которого был член-корреспондент АН СССР Ф. П. Филин. Знаем академический четырехтомный Словарь русского языка (1957—1961) под редакцией А. П. Евгеньевой. Сейчас началось переиздание этих двух крупнейших лексиконов нашего времени. Заслуженной популярностью среди самых разнообразных кругов читателей пользуется однотомный Словарь русского языка С. И. Ожегова. С 1949 года он выдержал 13 изданий, обновлению которых после смерти автора содействует Н. Ю. Шведова. Его словник лег в основу многих русско-национальных и национально-русских словарей.

Успехи современной синхронной лексикографии связаны с давней традицией Российской Академии, которая еще при рождении своем, в 1783 году, считала своей главной задачей создание словарей и грамматик и своим Словарем Академии Российской (1789—1799) положила начало этой постоянной работе в области русского языка.

Жанр исторической лексикографии относительно молодой и не имеет пока столь значительных традиций, крупных, регулярно возобновляемых работ, которыми славится русская синхронная лексикография прошлого и нынешних дней. И все же мы с вами являемся современниками двух крупнейших словарных начинаний исторического плана. В 1975 году в Москве началось издание *Словаря русского языка XI—XVII веков*, рассчитанное на широкий круг читателей-специалистов, интересующихся историей русской культуры. Этот словарь — диахронический, он отражает разное языковое состояние,

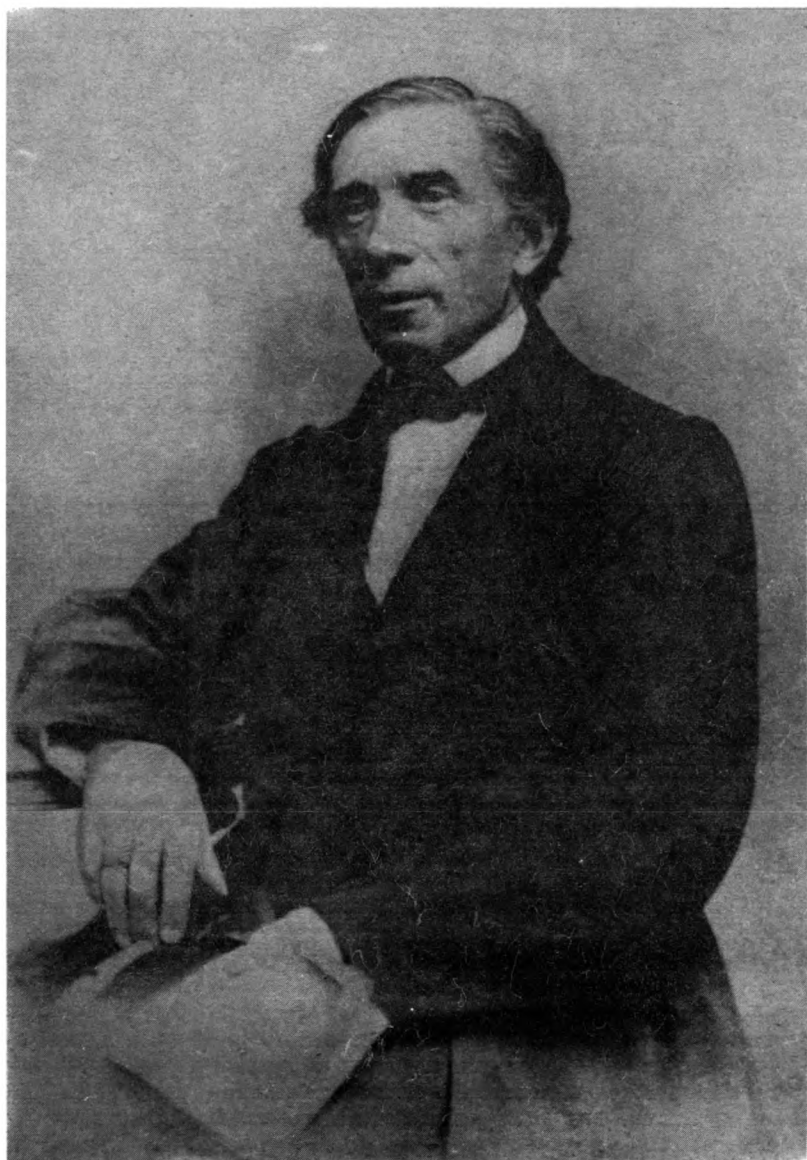


Ф. П. Филин.

Он был председателем редколлегии нескольких словарей: академического семнадцатитомного Словаря современного русского литературного языка (1948—1965), Словаря русских народных говоров (с 1965 г.), Словаря русского языка XI—XVII вв. (с 1978 г.)

соотносящееся и с языком народности и затем с языком нации. В 1977 году в Ленинграде вышел проект, а с 1983 года начнут выходить выпуски Словаря русского языка XVIII века. Возглавляет работу Ю. С. Сорокин. Словарь языка XVIII века отразит динамику изменений в пределах одного века, одного синхронного среза.

Кроме задачи описания языка в его истории, перед исторической лексикографией стоит задача выявления взаимодействия близкородственных языков. Нужно выяснить характер восточнославянской языковой общности по памятникам русской редакции (с этой проблематикой связан вышедший в 1966 г. проект Древнерусского словаря XI—XIV веков под редакцией члена-корреспондента АН СССР Р. И. Аванесова). Нужно выяснить характер праславянской языковой общности — с 1975 года издается Этимологический словарь славянских языков (праславянский лексический фонд) под редакцией О. Н. Трубачева. Словари языка памятников, этимологические, диалектные словари, помогающие воссоздать историю слова, составляют сейчас исторический цикл словарей.



А. Х. Востоков



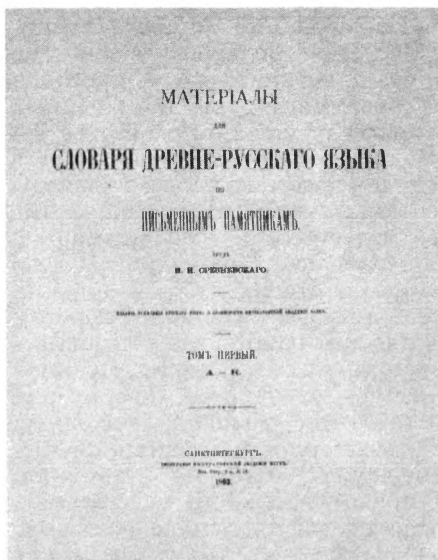
*И. И. Срезневский.
Он был инициатором первых
опытов составления диалек-
тных словарей и создателем
исторической лексикографии
как жанра*

Русская историческая лексикография начала складываться как самостоятельный жанр, имеющий свои общефилологические и специфические задачи, на рубеже XIX—XX веков. Для появления самой идеи создания исторического словаря, для выработки лексикографических традиций этого жанра много сделали историки и этнографы еще в конце XVIII и начале XIX века. Можно назвать Словарь русских суеверий (1782), Родословный российский словарь (1793), «Историческое описание одежды и вооружения российских войск» (1841—1842), «Описание старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов, конского прибора, в азбучном порядке расположенное» П. И. Савваитова (1896) и многое другое. Первоначально это были словари древностей или материалы для словаря терминов. По типу статьи, прежде всего определения слова, это — словари энциклопедические (толковые, объяснительные), чаще всего учитывающие лишь терминологическое употребление слова.

Филологи конца XVIII — начала XIX века пошли по иному пути. Их целью было описание и интерпретация всей лексики, создание общефилологического словаря, включающего все слова, а не отдельные термины. Словарь церковно-славянского и

русского языка 1847 года, в редактировании которого принимал участие академик А. Х. Востоков, включал лексику не только «нынешнего русского», но и «старинного русского» и «церковно-славянского языков», охватывая период «от первых русских памятников до позднейших проявлений словесности». Опыт этого словаря, однако, убедил даже его современников в том, что «нельзя в одном труде соединять... все периоды исторического развития языка» (академик И. И. Срезневский). Необходимость отграничения исторической лексикографии, имеющей свои особые задачи, становится очевидной. Слово начинают изучать в контексте языка эпохи.

Лингвисты XIX века много внимания уделили созданию базы для историко-лексикографической работы, начали приводить в систему письменные источники по истории Древней Руси: летописи, правовую литературу, памятники, содержащие описание ведения хозяйства, торговли, обычаев, обиходных правил. Активно исследовалось письменное наследие кирилло-мефодиевой эпохи и русско-церковнославянские источники: жития, сборники христианско-нравоучительного содержания, литургическая литература. Было положено начало изучению деловой письменности: грамот — *вотчинных, выкупных, жалованных, купчих, меновых, раздельных, судных* и прочих, книг — *долговых, кормовых, платежных, приходных, родословных, сыскных*, начато описание «хожений за три моря», паломничеств, посольств, путешествий. Особенно много сделали для изучения источников А. Х. Востоков, И. И. Срезневский. С другой стороны, объектом наблюдений стали говоры, устная речь. Начиналась систематизация, осмысление и сопоставление говор с памятниками письменности. И. И. Срезневский был инициатором первых опытов создания диалектных словарей, редакторскую работу вел А. Х. Востоков. В 1852 году вышел Опыт областного великорусского словаря, в 1858 году «Дополнение» к нему. Все это подтолкнуло исследователей к изучению языка в развитии, в диахронии. В первую очередь для этого необходимо было собрать воедино письменный материал. Почти 40 лет готовил И. И. Срезневский «палеографическое обозрение памятников древней русской письменности» и выписки «для русского словаря преимущественно по этим памятникам». Он составлял со своими учениками словарики к отдельным источникам, делая пробные заготовки словарных статей на отдельных алфавитных отрезках, пробный набор. После смерти И. И. Срезневского накопленная им сокровищница была издана его детьми О. И. и Вс. И. Срезневскими как Материалы для Словаря древнерусского языка по письменным источникам. Они издавались

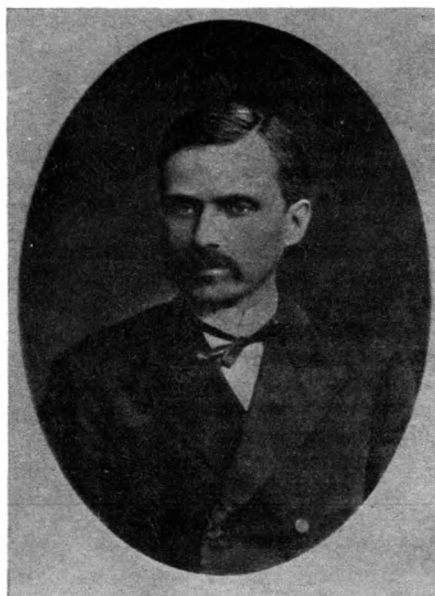


Титульный лист первого тома Материалов для Словаря древнерусского языка И. И. Срезневского.

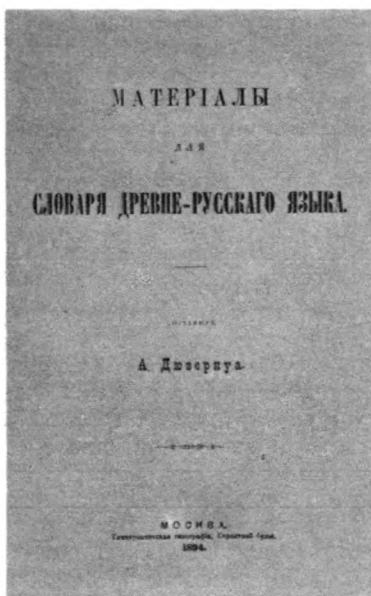
С предельной для своего времени полнотой ученый смог отразить в Материалах словарный состав языка русской письменности XI—XIV вв.

под наблюдением академиков А. Ф. Бычкова и А. А. Шахматова 22 года (1890—1912). Это уникальный по своей обширной базе труд. Около 39 тысяч слов, обильно документированных выписками из памятников письменности (всего их около 120 тысяч), расположенными в каждой статье в хронологическом порядке, составляют трехтомный свод. С предельной для своего времени полнотой И. И. Срезневский смог отразить словарный состав языка русской письменности XI—XIV веков.

Событием была публикация в 1894 году Материалов для Словаря древнерусского языка А. Л. Дювернуа. Базой послужили документы Московской Руси XV—XVII веков (19 памятников). В словаре 6 тысяч слов, все они снабжены латинскими толкованиями. Публикация Материалов для Словаря древнерусского языка И. И. Срезневского и А. Л. Дювернуа впервые ввела в научный оборот лексику письменных памятников XI—XIV и отчасти XV—XVII веков, дала первое представление о словарном составе русского языка этих периодов. Даже незавершенность лексикографической обработки фонда не умаляет значимости «Материалов» как первой попытки создания общефилологического словаря исторического жанра. Значительное количество слов, зафиксированных в памятниках письменности этих периодов, не попало в литературный язык нового времени, утратилось, отступило в пассивный запас под



А. Л. Дювернуа



Материалы для Словаря, составленные А. Дювернуа

натиском заимствованных слов петровской эпохи или продолжало жить только в устной речи, в народных говорах, диалектах. Живой язык хранил немало слов, случайно не попавших в памятники письменности. Свыше 50 лет собирал лексику народных говоров В. И. Даль. Его Толковый словарь живого великорусского языка (1863—1866) содержал свыше 200 тысяч слов. Диалектный словарь подобной полноты давал лингвистам базу для наблюдений над особенностями устной формы бытования слова, его местными фонетическими вариантами, лексическими эквивалентами. Свидетельства памятников письменности и народных говоров дополняют друг друга и дают возможность этимологии разобраться в происхождении слова, ибо «вопрос о происхождении слова только тогда получает твердую культурно-историческую базу, когда он опирается на исследование всех этапов смысловой эволюции слова, всех обстоятельств его бытования в разных социальных говорах, наречиях и родственных языках»,— писал академик В. В. Виноградов¹. Практически первыми научными этимологическими словарями были Сравнительный этимологический

словарь русского языка Н. Горяева (1896) и Этимологический словарь русского языка А. Преображенского (1910—1914).

Исторические и диалектные словари и этимологические разыскания XIX и начала XX века поставили задачу воссоздания истории слова лексикографическими средствами, определения исторических закономерностей изменения значений, связывающих судьбу отдельного слова с общим ходом развития всей семантической системы языка или тех или иных его стилей» (В. В. Виноградов). Публикация Опыта областного словаря и Толкового словаря В. И. Даля, Материалов для древнерусского словаря И. И. Срезневского и А. Л. Дювернуа в значительной мере предопределили содержание наиболее полного из этимологических словарей «Russisches etymologisches Wörterbuch» Max Vasmer (1953—1958) в трех томах, русское издание (1964—1973) в четырех томах, перевод с дополнениями О. Н. Трубачева. В таком тесном взаимодействии и взаимозависимости рождались жанры лексикографии — исторической, диалектной, этимологической, совершалось вызревание жанров изнутри, в переходе от «материалов», «опыта» к «словарю». Но для этого собственно историческая лексикография нуждалась в большой подготовительной работе.

Завершение в 1912 году публикации Материалов для древнерусского словаря И. И. Срезневского поставило перед лингвистической наукой новую задачу — продолжить накопление выписок по всему древнерусскому периоду. Академик А. И. Соболевский предполагал собрать несколько картотек: «а) Материалы для словаря древнего церковнославянского языка; б) Материалы для словаря как церковнославянского, так и древнерусского языка, пополняющие «Материалы» Срезневского, т. е. словарные извлечения из памятников русского письма, составленных или переведенных не позднее XIV века, по спискам XI—XII столетий; в) Материалы для словаря старого языка Московской Руси по памятникам литературы, законодательства и делопроизводства, оригинальным и переводным XV—XVII веков; г) Материалы для словаря старого языка Польско-Литовской Руси по памятникам XIV—XVII веков»².

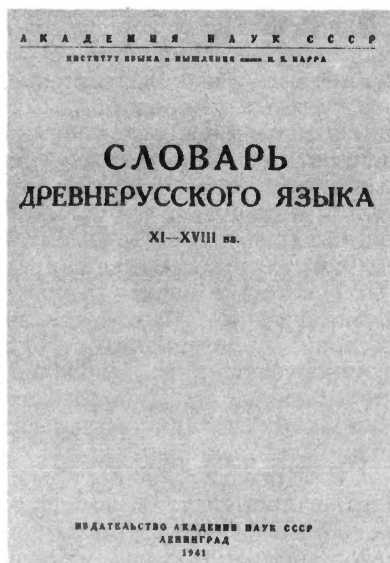
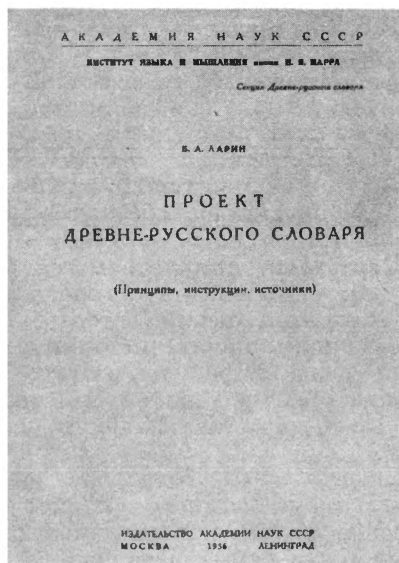
В 20—40-е годы XX века разработка идеи исторического общезнаменитого словаря была связана с именами А. И. Соболевского, Б. А. Ларина и Л. В. Щербы и получила в их трудах дальнейшее развитие. А. И. Соболевский, а затем и Б. А. Ларин пошли по пути расширения периода наблюдения над историей слова. За нижнюю границу был принят XI век, время появления первых памятников письменности, за верхнюю — XVIII век, век начала работы со словом русской

академической лексикографии. Начало создания Картотеки древнерусского словаря было положено в 1925 году. Для выписки привлекался широкий круг источников разных жанров, разных территорий. Составители Картотеки понимали, что для словаря, построенного на данных памятников письменности (а данные письменности даже при сплошном расписывании слов в конечном счете всегда фрагментарны), важна полнота корневой группы, гнездовой фон слова, обеспечивающий объективность семантических решений. Б. А. Ларин и его сотрудники для пополнения Картотеки «привлекали тексты, в которых нашел отражение народно-обиходный, деловой язык, а также язык средневековой поэзии (песни, заговоры, пословицы, поговорки)»³. Использовали в качестве источника древнерусские лексикографические труды (алфавиты, азбуконики, лексиконы), фоновый материал к гнезду давали выписки из поздних словариков к древним памятникам письменности, из областных словарей.

В Проекте древнерусского словаря, 1936 года, предполагалось найти пути «к раскрытию историко-языкового процесса во всей конкретности—в тесной связи с социальными отношениями и базой материальной культуры». Предполагалось «обогащение ДРС реально-историческими комментариями», и даже иллюстрациями реалий, данными диалектологии, ибо «без диалектологических материалов нельзя дать правильного и сколько-нибудь полного представления об истории слов в разных классах общества, нельзя дать исторической перспективы». «В таком синтезе узкофилологического словаря с историко-терминологическим и со словарем культурных реалий» видел Б. А. Ларин «новый этап в области исторической лексикографии».

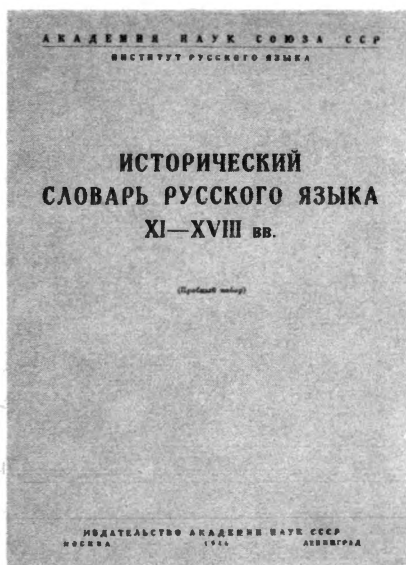
В эти годы разрабатывается и теоретическая модель исторического словаря, который академик Л. В. Щерба (участник работ по составлению Картотеки и член редколлегии словаря) представлял следующим образом: «Историческим в полном смысле этого термина был бы такой словарь, который давал бы историю всех слов на протяжении определенного отрезка времени, начиная с той или иной определенной даты или эпохи, причем указывалось бы не только возникновение слов и новых значений, но и их отмирание, а также их видоизменение...»⁴

Первые попытки лексикографической обработки накопленных материалов в пробных наборах (Словарь древнерусского языка. Л., 1941; Исторический словарь русского языка XI—XVIII веков. Л., 1946) показали, что словарь, осложненный множественностью задач и стремлением полно, как в



Материалах И. И. Срезневского, документировать историю слова по такому большому периоду, грозит вырасти в научно неосуществимое при жизни одного поколения предприятие. А насыщение одного жанра (исторической лексикографии) данными другого жанра (диалектной лексикографии) могло подорвать ход работы в самом начале. Ведь, по-существу, в 40—50-х годах сами традиции этих жанров еще только складывались. В пробных наборах Исторического словаря в 1941 и в 1946 годах виден поиск типа словарной статьи, переход от принципа Материалов к принципу Словаря. С перемещением Картотеки из Ленинграда в Москву (она насчитывала к тому времени 1,5 млн. карточек-цитат) началась полоса поиска варианта словаря, оптимально учитывающего богатства Картотеки XI—XVII веков; начался расчет объема работ по менее сложному, чем у Б. А. Ларина, плану. Отдельные картотеки по периоду XI—XIV веков и по XVIII веку стали собирать в Москве и Ленинграде, чтобы полнее выявить специфику этих двух периодов в истории развития русского языка. Идея соединения в одном словаре данных памятников письменности и живого говора стала разрабатываться на территориально ограниченном псковском говоре (с 1967 года, после 15-летнего периода накопления Картотеки,

Проект и пробные наборы исторических словарей древнерусского языка



издается Псковский областной словарь с историческими данными, вып. 1—3, А—*взяться*, 1967—1976).

Не менее выразительными были дискуссии среди диалектологов за утверждение дифференциального принципа в диалектной лексикографии: отбора для сводных словарей только тех слов и тех значений слов, которые не фиксируются в литературном языке и составляют собственно диалектную основу говоров. Словарь русских народных говоров (вып. 1—18, А—М, 1965—1983) является крупнейшим из современных собраний собственно диалектной лексики.

Так постепенно словари исторического цикла уточняли предмет своего описания, свои задачи. Появилась возможность сделать обозримыми сроки изданий, уменьшить их объем и не прерывать традиции, что неизбежно связано со сменой поколений, работающих в словарях. Создатели Словаря русского языка XI—XVII веков, определяя тип словаря, учитывали и эти опасности, учитывали сложный и в чем-то печальный опыт европейской исторической лексикографии. Deutsches Wörterbuch, начатый как исторический словарь братьями Я. и В. Гримм, выходил более ста лет (с 1852 по 1960 год). Он состоит из 32 томов, 380 выпусков. Исторический нидерландский словарь публикуют с 1863 года. В 1964 году закончен



Проекты новых изданий исторических словарей

23-й том, работа еще не завершена. Шведский исторический словарь выходит с 1893 года. К 1971 году опубликовано две трети словаря. Старошотландский словарь выходит с 1931 года. Издано 25 выпусков до Р⁶. Загребский исторический словарь хорватского или сербского языка публиковался в течение 87 лет (1880—1967). И сейчас, как только заканчиваются такие словари, встает вопрос о переиздании их начала.

Словарь русского языка XI—XVII веков составляют с 1963 года. Составительская работа продвинулась до букв *С* и *Т*, редакторы словаря работают над *О* и *П*, редакторы издательства над *Н* и *О* (выпуски X—XI). В 1981—1982 годах вышли из печати выпуски VIII и IX (*К—М*). Новые слова, новые поступления в картотеку регистрируются. Коллектив словаря надеется закончить работу к 1990 году. За каждым томом (выпуском) в среднем на 3—4 тысячи слов стоит огромная работа не только составителей, но и редакторов. В выпуске от 12 до 18 тысяч цитат. Все они должны быть сверены по изданиям или рукописям и датированы в соответствии с последним словом науки. Многие слова требуют консультации у специалистов. В «Хожении за три моря» Афанасия Никитина 1472 года описываются злоключения людей, терпящих бед-

ствия от «обезьян и маймунов». *Маймун, маймуна* упоминается еще в одном тексте XVII века: «...покрали клетку с маймуном». В турецком языке слово известно и сейчас, оно проникло в болгарский, и даже в современных рассказах фигурирует джин Маймун. Специалисты-языковеды, специалисты по древней культуре смогли объяснить, что этим словом обозначались не только крупные обезьяны, их облик древние ассоциировали и с нечистой силой, дьяволом. Или другой пример: сорт яблок *белый налив* знают и сейчас, а *малет* — редкий волжский сорт яблок фиксируется в пределах XVII—XVIII веков, но чтобы получить эту справку пришлось обращаться к специалисту, для которого история сортов яблок — хобби, однако подобное хобби позволило ему собрать лучшую в Москве библиотеку по этой отрасли знаний. Охотно помогают нам специалисты из Зоологического музея, Музея архитектуры имени Щусева, Исторического музея (отдел драгоценных металлов, отдел тканей), из Оружейной палаты, Минералогического музея и даже Московской консерватории. И все же самые надежные сведения по массовому языковому материалу таят в себе словари и справочники. Комплексное, одновременное создание диахронического общепилологического Словаря русского языка XI—XVII веков, сводного Словаря русских народных говоров, этимологических словарей (по праславянскому периоду — под редакцией О. Н. Трубачева, по современному русскому языку — под редакцией Н. М. Шанского) гарантируют прочтение истории слова с необходимой для разных кругов читателей мерой подробности и позволяют сделать словари относительно компактными без потерь в информативности. Продолжают свою работу и историки по созданию терминологических словарей. Как правило, они преследуют цель дать читателю-специалисту указание на контекст, содержащий этот термин: Материалы для терминологического словаря Древней Руси Г. Е. Кочина (1937), *Materialy do Słownika terminów budownictwa staroruskiego X—XV w.* A. Poppe (1962). Любопытен вышедший в 1970 году в США Словарь русских исторических терминов от XI столетия до 1917 года, составленный С. Г. Пушкаревым. Он предназначен для англоязычного читателя, работающего с русскими и английскими источниками по русской истории, в нем использованы энциклопедические определения (по Брокгаузу и Ефрону) и определения, почерпнутые из трудов советских и зарубежных историков, конкретная лексика (*блюститель, бобль, бочка, богдыхан, богохульник, братанич*), «не включает он такие абстрактные понятия, как национальность, соборность». Цитатной документации в словарной статье нет.



Г. А. Богатова и Г. Я. Романова в словарной картотеке Института русского языка АН СССР

Словарь русского языка XI—XVII веков ставит перед собой задачу зафиксировать с возможной на сегодняшний день полнотой лексику и основные значения слова, документировать статьи и наметить в них контуры истории слов. В своих последних выпусках словарь значительно шире показывает устойчивые сочетания: около 150 сочетаний дано на слово *грамота*, около 100 — на слово *книга*. Статьи обогащаются культурно-историческими сведениями. Например, в статье *Море* даны основные названия морей на русской территории: море *Варяжское* (Балтийское), *Евксинское*, *Понтийское*, *Русское*, *Черное* (Черное), *Меотийское*, *Меотьское* (Азовское), *Дербентское*, *Хвалынское*, *Хоросанское* (Каспийское), *Пежское* (Охотское) и другие. *Морем* именовали и озеро Байкал, и Ладожское озеро. *Синее море*, *Студеное*, *Большое*, *Великое*, *Среднее* могли относиться и к Средиземному морю, и к Северному Ледовитому океану, и к Белому морю.

Молодость исторической лексикографии как жанра усложняет работу ученого, так как некоторые приемы описания еще

только создаются⁶. Если учесть к тому же, что лексика XV—XVII веков практически обрабатывается впервые (лексика XI—XIV веков обследовалась в словарях Ф. Миклошича, А. Востокова, И. Срезневского), то составитель должен вести (и ведет) большую предварительную исследовательскую работу по истории значений слов, их этимологическим судьбам и связям. А за судьбой слова стоит история, судьба народа.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Виноградов В. В. Чтение древнерусского текста и историко-этимологические каламбуры.— Вопросы языкознания, 1968, № 1; Филин Ф. П. Проблема локализации древнерусской лексики и историческая лексикография.— В кн.: Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии. М., 1975. См. также: Сорокин Ю. С. Что такое исторический словарь?— В кн.: Проблемы исторической лексикографии. Л., 1977; Богатова Г. А. Соотношение картотеки и словаря.— В кн.: Вопросы практической лексикографии. Л., 1979.

² Докладная записка А. И. Соболевского о составлении словарей древнерусского и старорусского языка.— Вопросы языкознания, 1960, № 2.

³ Ларин Б. А. Проект древнерусского словаря. Л., 1936.

⁴ Щерба Л. В. Опыт общей теории лексикографии.— Известия Академии наук СССР, Отделение литературы и языка. М., 1940, № 3.

⁵ См.: *État des principales entreprises lexicographiques européennes*.— В кн.: *Tavola rotonda sui grandi lessici storici* (Firenze, 3—5 maggio 1971). Accademia della Crusca, Firenze, 1973.

⁶ Богатова Г. А. Историческая лексикография как жанр.— Вопросы языкознания, 1981, № 1.

«СТИХИРЫ» ФЕДОРА КРЕСТЬЯНИНА

«Глаголю же про Федора попа, прозвище Христианин, что был зде, в царствующем граде Москве, славен и пети горазд знаменному пению. И мнози от него научишася и знамя его и доднесь славно». Так писал неизвестный автор «Предисловия, откуда и от коего времени начася быти в нашей Рустей земли осмогласное и на оба лика в церкви пети» об одном из знаменитейших древнерусских распевщиков XVI века Федоре Крестьянине, имя которого стало таким же символом высшего художественного начала в древнерусской музыке, что и имя Андрея Рублева в живописи.

«Открытие» Федора Крестьянина научной общественностью произошло еще в середине прошлого века, когда В. М. Ундольским и М. П. Погодиным были опубликованы списки вышеупомянутого «Предисловия», которое остается основным источником сведений о древнерусском мастере пения и до настоящего времени. Сведения эти крайне скупы. Известно, что Крестьянин был учеником новгородского распевщика Саввы Рогова. Однако деятельность Крестьянина проходила в Москве, о чем свидетельствуют упоминания о распевщике как в «Предисловии», так и в других источниках, где он называется «московитином», а переводы (распевы) его — «московскими». В годы опричнины Федор Крестьянин вместе с Иваном Носом и, как предполагают, с Саввой и Василием Роговыми был призван Иваном Грозным на службу в Александрову слободу. Автор «Предисловия» пишет об этом так: «И бяху с ним в любимом его селе, в слободе Александрове».

На этом сведения о жизнедеятельности Федора Крестьянина исчерпываются. Других архивных материалов о нем пока не обнаружено.

Вместе с тем в рукописных собраниях страны хранятся рукописи, содержащие произведения Крестьянина. В настоящее время выявлено десять книг, в которых имеются указа-

ния на то, что Федор Крестьянин был автором или редактором таких песнопений, как «Стихиры евангельские»¹, «Давыд провозгласи тя чистая»², «Хвалите имя господне»³, «Во вертеп вселился»⁴ и др.⁵

Открытие этих памятников имеет огромное значение, поскольку, как писал музыковед-медиевист М. В. Бражников, «до настоящего времени были известны лишь имена выдающихся древнерусских певцов — распевщиков, но их произведений, полных и значительных по объему, отыскать не удавалось. Впервые обнаруженные рукописи с песнопениями Федора Крестьянина позволяют подойти к изучению личного творчества русских музыкантов средневековья».

Действительно, исследование «Стихир евангельских» Федора Крестьянина М. В. Бражниковым стало первой работой, посвященной анализу творчества знаменитого мастера и поставившей перед исследователями целый ряд проблем, главная из которых, на наш взгляд, — проблема проявления личностного, индивидуального начала в древнерусском певческом искусстве. Расшифровка «Стихир евангельских» и исполнение этих произведений с концертной эстрады познакомили с образцами музыки русского средневековья тысячи слушателей.

«Стихиры евангельские» стали первой находкой в перечне произведений Федора Крестьянина. Последними найдены стихиры «Да молчит всякая плоть» и «Придите новокрещени рустии собори». Первая из названных стихир была обнаружена нами в рукописи конца XVI века⁶, хранящейся в Государственном историческом музее (Синодальное певческое собрание, № 1357); другой же памятник был выявлен в рукописи конца XVI — начала XVII века, принадлежащей Государственной библиотеке им. Ленина (ф.178, № 766). В настоящее время это наиболее ранние списки произведений Федора Крестьянина, поскольку другие его произведения обнаружены лишь в списках XVII века.

Особенно следует подчеркнуть уникальность списка стихир «Да молчит всякая плоть» из рукописи Исторического музея, поскольку эта рукопись была написана еще при жизни распевщика.

Примечательно, что обладателем этой рукописи, как явствует из владельческой записи, был патриарх Никон, который «пожаловал» книгу в «своего строения Воскресенский монастырь что в Московском уезде на реке Истре». Этот небольшой, в шестнадцатую долю листа сборник, содержащий избранные песнопения «Обихода», «Трезвонов», «Стихиры евангельские» и «Строки из владычных праздников, триоди и страстей», не случайно был высоко ценим таким знатоком церковного

пения, как патриарх Никон. Сборник привлекает внимание прежде всего тем, что в нем содержатся четыре варианта одной и той же стихирь «Да молчит всякая плоть». Первый вариант помечен как «Троец<кий>», то есть здесь представлен роспев Троице-Сергиева монастыря. Второй вариант обозначен как «Зуев<ский>». Это вторая по счету рукопись, в которой выявлен этот роспев⁷. В настоящее время еще не установлено, связано ли обозначение «Зуев» («Зуевский») с именем роспевщика или монастыря.

Третий роспев обозначен как «Пер<евод> Крестьянинов», и четвертый вариант песнопения, не содержащий определенного обозначения, изложен путевой нотацией.

Изложение одного и того же текста различными роспевами было явлением для конца XVI века не столь уж редким. Однако традиция проставления атрибутирующих помет, приписывающих то или иное песнопение определенному автору, нетипична для XVI и более свойственна XVII веку. Исходя из этого, можно предположить, что атрибутирующие пометы, проставленные в рукописи на полях, были сделаны в следующем столетии.

При сравнении на семейнографическом уровне «перевода» Крестьянина с вариантами «Троицким» и «Зуевским» нами не было выявлено кардинальных различий между ними, то есть все три памятника соотносятся между собой на уровне разных редакций. Рукопись (ГБЛ, ф. 178, № 766), в которой обнаружено другое произведение Крестьянина, стихира Борису и Глебу «Придите новокрещению рустии собори», уже привлекала к себе внимание исследователей в связи с находящимся там роспевом другого древнерусского роспевщика Василия Рогова. Роспев же Федора Крестьянина до сих пор оставался вне поля зрения ученых. Вместе с тем, данный памятник представляет несомненный интерес, поскольку это первое из известных произведений роспевщика, посвященное древнерусским святым. Интересна и атрибутирующая помета при этом песнопении, «Христианиново знамя», поскольку в других известных нам рукописях этот мастер называется Крестьянином.

На текст стихирь «Придите новокрещению рустии собори» в рукописи помещено два роспева, второй из которых приписывается Крестьянину. При сравнении роспевов между собой выясняется, что они также соотносятся на уровне редакций, правда, разнящихся между собой в значительно большей степени, чем рассмотренные выше редакции на текст стихирь «Да молчит всякая плоть».

Таким образом, рукописи ГИМ (Синодальное собрание № 1357) и ГБЛ (ф.178, № 766) не только пополняют список

произведений знаменитого мастера, но и содержат интересный материал, который может быть использован при изучении проблемы художественного метода древнерусских роспевицков.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 ИРЛИ, Усть-Цилемское собрание, № 404.

2 Там же, коллекция М. В. Бражникова, № 25.

3 ГПБ, Кирилло-Белозерское собрание, № 642/889.

4 Там же, Соловецкое собрание, № 690/751.

5 Произведения Крестьянина обнаружены также в рукописях: ГИМ, Синодальное певческое собрание, № 219 и № 1357; ГПБ, Погодинское собрание, № 1925; ГПБ, Софийское собрание, № 492; ЦГАДА, ф. 181, № 600.

6 Приносим глубокую благодарность сотруднице Государственного исторического музея Т. В. Диановой, оказавшей помощь при датировке рукописи.

7 ИРЛИ, Пинежское собрание, № 146.

Юрий Хон

В ЗНАК МНОГОЛЕТНЕЙ ДРУЖБЫ...

История автографа

В одно из моих посещений квартиры писателя Сергея Маркова меня заинтересовала аккуратная подборка книг Леонида Мартынова. На каждой — дружеский автограф автора. Но самая ценная из них — тоненькая небольшая книжка «Леонид Мартынов. Стихи и поэмы. Омск, 1939» с лаконичной надписью: «Сергею в знак многолетней дружбы — Леонид. 10/VII—39, Омск».

О многом может напомнить эта первая книга стихов Л. Мартынова: о славном литературном дебюте ее автора на страницах журнала «Искусство», издававшегося в Омске в 1921—1922 годах, о первых публикациях в «Сибирских огнях» и «Сибири», о поисках тем, своих интонаций в поэзии.

Сергей Марков выделил в сборнике следующие стихотворения: «Море было», «Ермак», «Пленный швед», «Подсолнух», «Помню я с товарищами рослыми», «Искатель рая». По его словам, в начале 20-х годов в глухом Акмолинске он впервые прочел в журнале «Сибирские огни» стихотворение Л. Мартынова «Море было», поразившее его «точной образностью, слиянием прошлого, настоящего и будущего». Через некоторое время в редакции «Сибирских огней» состоялось их знакомство, перешедшее затем в дружбу, продолжавшуюся не один десяток лет.

Незадолго до этой встречи в № 5 журнала «Сибирские огни» за 1924 год были опубликованы стихи Л. Мартынова «Адмиральский час» и С. Маркова «Сонет» за подписью Сергей Вологодский (литературный псевдоним поэта).

Надо отметить, что С. Марков всегда внимательно прислушивался к наставлениям своего старшего собрата по перу. Писатель вспоминает: «Убери эти две строфы, они лишние, — советовал он мне... — сделай из них отдельное стихотворение. Береги их. Любая строчка может пригодиться для нового стихотворения, которого ты и не ждешь».

Эта творческая связь поэтов особенно заметна при сопоставлении их рассказов в стихах, посвященных теме гражданской войны в Сибири.

В «Адмиральском часе» Л. Мартынов находит точные детали, образы для передачи атмосферы разложения, царящей в армии Колчака:

Моторов шум, торговцев крик...
Капризничают интервенты,
Коверкать английский язык
Пытаются интеллигентны.

Уже здесь заметно умение Л. Мартынова воссоздать историческую эпоху через сюжет.

Морозным утром город пуст.
Свободно, не боясь засады,
Под острый, звонкий, снежный хруст
Вступают красные отряды.

Такие же рассказы в стихах создает и С. Марков: «Отступление интервентов» (1928), «Омск, 1919» (1929), «Конец авантюриста, 1921» (1929). По справедливому замечанию современного критика, «на памяти многих любителей поэзии — чеканные строки Маркова» о бегстве из Омска колчаковской армии:

Сторожат револьверы
Вход в особый вагон,
Пьют в купе берсальеры
Голубой самогон.

В современной критической литературе не полностью освещена поэтическая работа Л. Мартынова и С. Маркова в конце 20-х годов. А между тем именно в то время молодые писатели постигали смысл социалистических преобразований в стране, внимательно следили за приобщением к новой социалистической морали малых народов Сибири и Средней Азии.

Так, в 1932 году в Москве вышла книга «Песни киргиз-казаков», составленная из поэтических переводов Павла Васильева, Леонида Мартынова, Сергея Маркова, Николая Феоктистова.

В этот период Л. Мартынов выпускает очерковые книги «Грубый корм» (М., 1930), «Орденосцы» (Омск, 1937), а С. Марков — сборники рассказов «Арабские часы» (М., 1931), «Соленый колодец» (М., 1933).

Размышления над нравственными истоками русского народа, совершившего величайшую социальную революцию, привело Л. Мартынова и С. Маркова к историческим темам и жанрам. И здесь у них много общего.

В 30-е годы С. Марков опубликовал очерки, посвященные истории освоения Севера, начал сбор материалов, положивших основу его знаменитой тихоокеанской картотеки, пишет стихи на исторические темы. Перед самой войной, по свидетельству Г. П. Марковой (жены писателя), им были в основном закончены рукописи о Загоскине, Пржевальском, Миклухо-Маклае.

Л. Мартынов во второй половине 30-х годов в журнале «Омская область» публикует серию исторических очерков, создает замечательные исторические поэмы и повесть «Крепость на Оми» (1940).

В беседе с автором этих строк Г. П. Маркова рассказывала, что Л. Мартынов часто навещал С. Маркова, переехавшего в Можайск. Одна из таких встреч и состоялась в 1939 году. Жаль, что время не сохранило письма писателей тех лет...

Вот почему так ценен этот первый автограф Л. Мартынова, сбереженный Г. П. Марковой и свидетельствующий о дружбе писателей, которая продолжалась не один десяток лет.

Много лет тому назад в Переделкино я познакомился с Корнеем Ивановичем Чуковским. Собирали в среде писателей и издателей книги для детской библиотеки, созданной и построенной Чуковским. Наше издательство «Малыш» тоже отобрало почти сотню книжек главным образом для детей дошкольного возраста, и мы поехали в Переделкино.

Приехали на улицу Серафимовича. В библиотеке нас встретили очень милые и приятные женщины. Они были благодарны за привезенные детские книги.

Пока мы знакомились с библиотекой, небольшой, но очень уютной и, самое главное, видимо весьма любимой читателями, одна из сотрудниц вышла. Я рассматривал висевшие на стенах портреты писателей, подаривших библиотеке свои книги с дарственными надписями. Вернулась библиотекарша и сказала: «Товарищ Боронецкий, Корней Иванович хотел бы с вами поговорить».

Мы пересекли небольшой дворик, прошли на территорию дачи, и я с волнением поднялся на второй этаж.

Человек разностороннего таланта — поэт, историк, беллетрист, лингвист, переводчик — этот человек сидел передо мной на покрытом ковром диване.

— Да! Да! Садитесь! Очень рад! — как-то быстро сказал он и взмахнул рукой. Потом он молитвенно сложил руки и, выгалкивая слова, произнес: — Забыли Чуковского, совсем забыли!

Я, видимо, покраснел и пробормотал что-то невнятное.

На стенах висели фотографии, одна особенно привлекла мое внимание — семейный снимок Чуковских вместе с Ильей Репиным. На огромном письменном столе, прижатом к большому окну, были разбросаны письма, рукописи, книги.

Потом мы говорили о детской литературе, вернее я слушал, а Корней Иванович говорил.

Я спросил его, не будет ли он возражать, если издательство начнет переиздание его произведений. Он дал согласие, но предупредил, что рисунки к своим произведениям будет сам просматривать.

С тех пор прошло более пятнадцати лет. Издательство привлекло много ведущих и молодых художников к иллюстрированию произведений К. И. Чуковского. Так, В. В. Андреевич, один из старейших художников, создал интересную книжку-игрушку «Телефон». Он очень удачно сделал на обложке вырубку места под игрушечный телефонный диск. Рядом нарисовал Корнея Ивановича, сидящего у телефонного аппарата.

Первая книга К. И. Чуковского в нашем издательстве вышла в 1965 году тиражом 150 тысяч экземпляров. Она называлась «Топтыгин и Лиса». Объем ее составил всего 2,5 печатных листа.

Художник В. В. Андреевич и далее продолжал иллюстрировать произведения К. И. Чуковского. В 1966 году выходит книга «Доктор Айболит» с его рисунками тиражом 150 тысяч экземпляров. В 1967 году с оригинальными иллюстрациями художника Мая Митурича выходит «Краденое солнце». Чуковский требовал от художника показать с помощью иллюстраций, что солнце и жизнь неразрывны и если вдруг кто-нибудь посмеет украсть солнце — мир погибнет; но обязательно найдется кто-то, кто освободит и снова подарит солнце всему живому.

Художник Май Митурич блестяще справился с задачей. В следующем году он заново иллюстрирует «Бармалея».

В 1970 году Май Митурич вновь обращается к творчеству К. И. Чуковского и создает иллюстрации к замечательной сказке «Муха-Цокотуха», а издательство выпускает книгу тиражом в 200 тысяч экземпляров.

Это же произведение в 1975 году иллюстрирует молодой, ныне лауреат международного конкурса в Братиславе БИБ-81, художник Олег Зотов.

К творчеству К. И. Чуковского обращаются все новые и новые художники. Так, художники В. Курчевский и Н. Серебряков иллюстрируют книжку «Крокодил» в 1980 году, а в 1981 году заслуженный художник РСФСР Анатолий Елисеев создает к книге «Радость» свои своеобразные рисунки.

Блистательные иллюстрации к книге «Доктор Айболит» создает в 1976 году художник Виктор Чижиков. За эту работу он награждается дипломом на Всесоюзном конкурсе. Всеми любимая книга в целофанированном переплете выпущена шестисоттысячным тиражом. «Крокодил» — тиражом в 300

тысяч экземпляров. «Муха-Цокотуха» с иллюстрациями Мая Митурича и Олега Зотова вышла в разные годы общим тиражом около полутора миллионов экземпляров.

Одним летом я отдыхал в Доме творчества в Переделкино. Рано утром выходил на улицу и, проходя мимо дачи Чуковского, видел его сидящим на балконе-башенке, углубленным в свои размышления. Иногда он замечал меня, махал рукой, и мне было приятно подниматься к нему в башенку. Мы говорили о детской литературе, о своеобразном психологическом климате, который должны взрослые создать вокруг ребенка.

— Вы поймите! — громко произносил он. — Если вы будете говорить с ребенком тоном взрослого, в иронической манере, дети вас не поймут и отвернутся. Ребята сами создают мир своих увлечений. Несколько стульев — а это уже поезд, кусочки газетной бумаги — это билеты, и они видят вокзал, слышат звонок, шум колес, и для них это не игра, а на полном серьезе поездка в далекие края.

Интересно было наблюдать за его встречами с детьми. Ежегодно такие встречи устраивались в Переделкино на импровизированной сцене на поляне его дачи. Выходил Корней Иванович, и тихо становилось на поляне. Ребята думали: вот сейчас он будет читать стихи, прозвучат сказки, и вдруг Корней Иванович спрашивает, кого зовут Ваня? Что, разве ни одного нет мальчика с прекрасным русским именем Иван?

Вот такой неожиданный вопрос и создавал атмосферу полного взаимного доверия.

Хочется еще раз подчеркнуть огромную распространенность книг К. И. Чуковского среди ребят.

Издательство выпустило книжку-игрушку «Телефон» тиражом более шестисот тысяч экземпляров не только на русском языке, но и на финском, болгарском, монгольском, испанском, немецком, румынском, английском и других языках. «Доктор Айболит» был издан на семи языках. Всего издательство выпустило более пяти миллионов экземпляров книг К. И. Чуковского.

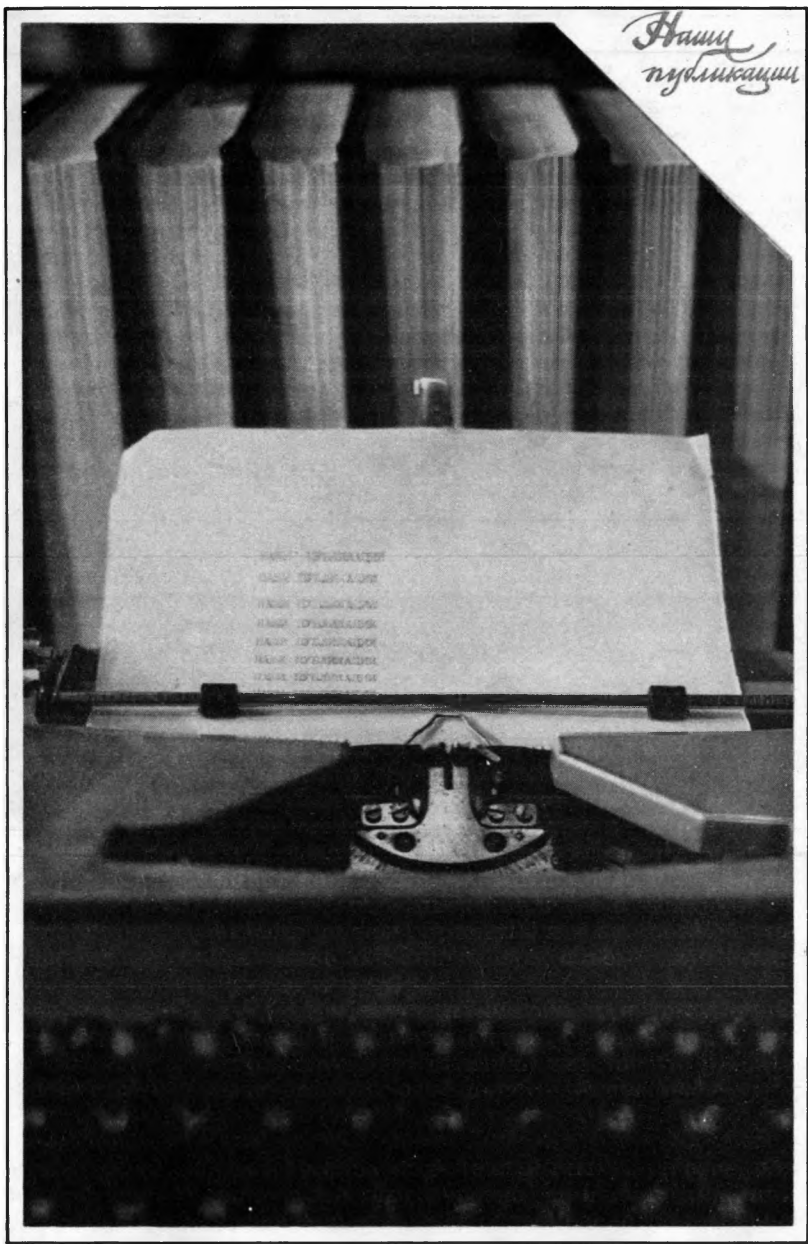
Сегодня все новые и новые поколения ребят читают Чуковского с таким же интересом, с каким много лет тому назад читали его их родители, их дедушки и бабушки.

Александр Жиляев

ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА

В моей квартире собраны миры.
Они стоят на стеллажах и полках.
Они стоят, застывши до поры,
Но быть открытыми желанья полны.
Я каждый мир любовно обвожу
Мечтающим в него проникнуть взглядом
И каждый раз вздыхаю, ухожу,
Завороженный милым книжным рядом.
И дни бегут, событиями полны,
Влекут меня по жизни за собой.
И снова не до тех мне, что на полках
Образовали неразрывный строй.
Мне стало стыдно обводить их взглядом,
Но я уверен — это до поры:
Настанет день — я ближе к книгам сяду,
И вот тогда — да здравствуют миры!

*Наша
публикация*



ИЗ ТЕТРАДИ КНИГОЛЮБА *

Много помет проставлено в книге, и одна из главных — название издательства, которое ее выпестовало. Распознать его можно и по особому знаку — издательской марке, украшающей либо титульный лист, либо авантитул, либо обложку, либо переплет, либо форзац книги. Да, украшающей, потому что издательская марка являет собою произведение малой графики, выполненное с предельной экономией изобразительных средств.

Лаконичный аллегорический рисунок, четкая эмблема, строгий символ — традиционные виды издательского знака. Не так-то уж их много. Но даже при неизбежном повторе отдельных графических деталей трудно спутать издательские марки.

За примерами, как говорится, не надо ходить далеко. Просматриваю ряд книг с ближних полок... В центре четырехлучевой звезды — земной шар, покрытый сеткой меридианов и параллелей: это марка издательства «Мир». Две ели и рулон бумаги — знак на книгах, выпущенных издательством «Лесная промышленность». Миниатюрное изображение «Дискобола», знаменитой статуи древнегреческого скульптора Мирона, помещенное в «опрокинутом» равнобедренном треугольнике, — знак издательства «Физкультура и спорт». Романтическую марку имеет издательство «Судостроение»: над раскрытой книгой проплывает трехмачтовый парусник. А в прямоугольнике марки Верхне-Волжского издательства, что в Ярославле, — плывет древнерусская ладья, мачты и паруса которой образованы из двух букв «В». Слово «Алтай», а над ним — страницы развернутой книги: на левой — колос, на правой ель. Сей знак принадлежит Алтайскому книжному издательству. В общем, что ни книга — то встреча с новой маркой...

* Начало см.: Альманах библиофила, вып. 13, с. 220—235.

Современная ИЗДАТЕЛЬСКАЯ МАРКА — родная дочь типографской. А первая ТИПОГРАФСКАЯ МАРКА была проставлена на Псалтыри Иоганна Фуста и Петера Шеффера, отпечатанной в 1457 году в немецком городе Майнце.

Красивые типографские марки проставлялись на книгах, выпущенных прославленными династиями печатников. На марке немецких типографов Фробенов (династия основана в конце XV века) помещалось изображение голубя на перевитом двумя змеями жезле. Так символично олицетворялась власть книги. У французских типографов Этьеннов (родоначальник этого семейства выпустил первую книгу в 1502 году) марка изображала книгу в виде дерева с плодами мудрости, которые срывает человек...

Марка другой типографии, открытой в 1555 году в Антверпене французом Христофором Плантенем, «предлагала» иной символ — руку, держащую циркуль, и девиз: «Трудом и постоянством». Эту марку применяли, чуть-чуть изменяя, в ста вариантах! Знаменитая фирма Эльзевиров (основана в 1592 году в Голландии) тоже имела несколько различных типографских марок. Главная из них — с изображением орла. Довольно часто на марках европейских типографов изображалась сова — птица, символизирующая мудрость.

В старые времена типограф и издатель нередко совмещались в одном лице. Таким универсалом был и Альд Мануций. На закате XV века он основал в Венеции типографию, которая в начале следующего столетия стала одной из лучших в Европе. Книги, вышедшие из типографии Мануция, раскупались охотно, что вызывало зависть конкурентов. Участились подделки книг «под Альда», но Мануций нашел способ борьбы с ними: начал проставлять на книгах отличительный знак своей типографии. Символика знака — дельфин, обвивающий якорь, — выражала древнюю мудрость: «Поспешай медленно».

Спустя три века типографская марка Альда Мануция обрела новую жизнь... на английских книгах. Выдающийся издатель Уильям Пикеринг, высоко ценивший качество книг, изготовленных в печатне знаменитого венецианца, заимствовал у него и опыт и марку.

Еще любопытнее то, что прослеживается связь марки Мануция с первым русским типографским знаком. В феврале 1574 года Иван Федоров выпустил во Львове второе издание «Апостола», поместив в конце книги свой знак. Он прост: излучина реки в форме зеркального отражения буквы «зело» увенчана наконечником стрелы. Зигзаг излучины напоминает изогнутое тело дельфина на знаке Альда Мануция. Это дало повод ряду историков книги предположить, что русский перво-

печатник оттолкнулся от марки венецианского типографа. Она могла быть известна Ивану Федорову. В молодости он встречался с другом выдающегося печатника — Максимом Греком, почти сорок лет прожившим в Московии, и, возможно, видел книги, изданные Мануцием. Однако, если даже Федоров и знал о марке с якорем и дельфином, великий мастер печатного дела на Руси не скопировал знак Альда, как это сделал Пикеринг, а выразил девиз «Поспешай медленно» по-своему.

Переплетались судьбы людей, переплетались судьбы издательских марок... На смену типографским они пришли в нашей стране в пушкинское время, но первая из них появилась на книгах Типографической компании — книгоиздательства на паях вкладчиков во главе с Николаем Ивановичем Новиковым в конце XVIII века.

Издательские знаки — эти миниатюрные «визитные карточки» — достойны серьезного изучения. Они могут навести книголюба на путь интереснейшего многолетнего поиска...

Увидел я у приятеля «Воспоминания о Марксе» Вильгельма Либкнехта, отпечатанные в Одессе летом 1905 года. На титуле стояла марка издательства «Буревестник»: «между тучами и морем» реет гордая птица... Тогда-то и задумал я составить альбом издательских знаков. Да не составил — спешные дела отвлекали. А собирать марки типографий и издательств наверняка не менее увлекательно для молодого любителя книг, чем коллекционировать почтовые марки для филателиста.

«Ритм жизни участился, мы даже книгу выбираем в спешке», — посетовал при встрече один из моих знакомых.

Да, именно в спешке. Когда в книжные магазины поступает товар, новинки раскупаются буквально в считанные минуты. Поток жаждающих так густ, что неторопливое перелистывание какой-то одной свежей книги становится рискованным: за это время другие издания, возможно более необходимые и желанные, будут распроданы.

При таком накале книжной торговли просто неоценима помощь аннотации — заметки всего в несколько строк, помещаемой или на оборотной странице титульного листа, или в конце книги, или на отвороте суперобложки.

АННОТАЦИЯ кратко излагает содержание печатного труда, а порою отваживается и на критическую оценку его, называет круг читателей, которым предназначена книга, рассказывает нечто важное об авторе. В общем, это сжатая характеристика, выданная книге издателями, и ориентир при выборе книги.

Слово *аннотация*, переводимое как *заметка и примечание* (от латинского *аннотаре* — *замечать*), пришло к нам еще в эпоху Петра Первого, но означать пояснительную заметку в книге стало без малого два века спустя, когда аннотация в том виде, в каком ее знаем, получила широкое распространение в издательской практике.

Теперь мы так привыкли к аннотации, что трудно представить, как обходились без нее книжники в прошлом. Но ведь обходились... Честно говоря, если предъявлять большой счет, восторгаться аннотацией рановато. Бывает она умной и толковой, а бывает и пустышкой. Составить емкую и яркую аннотацию не так-то просто, а читательские требования чрезвычайно возросли...

Прочитана аннотация — и, словно магнит, притягивает наше внимание начальная страница: велик искус не мешкая насладиться первыми фразами книги... Не будем торопиться, однако: не пропустить бы ненароком теплое авторское посвящение, взволнованное предисловие, глубокий по мысли эпиграф — они вдруг с неожиданной стороны могут осветить всю книгу...

Итак, ПОСВЯЩЕНИЕ — две-три строки с именем человека, которому автор выражает признательность и оказывает честь или чью память желает почтить... За то, что был поддержан в трудную минуту, за то, что смог завершить свой труд. Но кто же он, близкий автору по духу человек, чем знаменит, что связывало его с автором? И тут опять может сработать пружина библиофильского поиска...

Помню, попались мне в руки «Нездешние вечера» — книга стихотворений Михаила Кузмина, выпущенная в июне 1921 года издательством «Петрополис». Сборник как сборник: есть стихи посильнее, есть послабее... Заинтересовали меня два посвящения: Я. Н. Блоху — перед стихотворением «Адам» и А. М. Кожебаткину — перед кантатой «Св. Георгий». Кто эти двое, почему им посвящены поэтические строки?

Круг знакомых автора «Нездешних вечеров» был весьма широк, потому что Кузмин — личность многогранная. Он известен не только как поэт, но и как прозаик, переводчик, художник и композитор.

Первый ключик к разгадке я нашел в самом стихотворении «Адам»:

Сине плывут осколки,
корежится листва...
От дыма книги, полки
ты различаешь едва...

Ага, книжные полки! Не станет же поэт понапрасну упоминать про это: наверняка книги сближали Кузмина с Блохом. И действительно, судьба сводила их в лавке кооператива «Петрополис», который занимался издательской деятельностью и книжной торговлей. Секретарем правления «Петрополиса» четыре года работал Яков Ноевич Блох, литературовед и переводчик, а одним из продавцов книжной лавки, по свидетельству букиниста П. Н. Мартынова, «был известный петербургский поэт Михаил Кузмин».

Тайну второго посвящения раскрыть было легче,—я уже крепко держался за «книжную нить». Александр Мелентьевич Кожебаткин избирался в двадцатых годах вторым товарищем председателя Русского общества друзей книги и, хотя жил в Москве, наезжал по делам Общества в город на Неве. Он, безусловно, заходил в лавку «Петрополиса».

Оставалось, наконец, выяснить вот что: принадлежал ли сам Кузмин к братству собирателей книг? Судя по посвящениям, да. Но требовалось найти доказательство. Оно встретилось в «Записках старого книжника» Ф. Г. Шилова: «...Кузмин был большим любителем книг, но собирал немного... и покупал главным образом издания изящные издания». Немного, но все-таки собирал!.. Так завершились мои поиски, связанные с разгадкой двух посвящений.

Посвящение старо как мир. Посвящением в честь покровителя открывались рукописи античных авторов. С веками выковался особый вид посвящения—самостоятельный, уважаемый поэтами литературный жанр. Спутать крупное поэтическое произведение с несколькими словами перед текстом книги невозможно, хотя книжное посвящение не всегда было кратким.

Обильные на похвалу и лесть, адресованные знатным людям, занимавшим высокое положение в обществе, посвящения в русских книгах XVII—XVIII веков растекались на целые страницы. «Они писались и помещались неспроста,—отмечал исследователь старопечатной книги А. И. Анушкин.—У издателей и типографов на то были веские соображения: отблагодарить мецената, субсидировавшего издание, или прикрыться именем важного лица и могущественного вельможи как своеобразным щитом и обеспечить распространение книги, в какой-то мере оградить ее от преследования властей». И приводил любопытный факт: в тираж книги «Евангелие учительное» Каллиста, отпечатанной в 1616 году близ Вильнюса, было поочередно заверстано... пять посвящений разным влиятельным особам того времени!

Вот и я тоже пишу строки посвящения: *«Всем, кто любит*

книгу». Ничего лишнего в нём нет, но меня могут упрекнуть: мол, не по правилу оно помещено, затерялось в тексте. А по-моему, самое место ему среди строк, посвященных посвящению!..

Когда возникает необходимость заранее уведомить читателя о чем-то важном в предлагаемой книге, печатают ПРЕДИСЛОВИЕ к основному тексту. Перечислить все виды предисловий я не берусь. Каждое пишется по особому поводу и ради определенной цели: рассказать историю создания книги, подчеркнуть отличие нового издания от прежнего, заострить читательское внимание на затронутых в книге проблемах... и так далее, и так далее.

Предисловие может быть написано автором, чтобы загодя перекинуть мостик к сердцам читателей; может вылиться из-под пера того, кто был причастен к выпуску книги,— переводчика, редактора, издателя; или того, кто счел профессиональным долгом отметить книгу,— критика, литературоведа, коллеги по писательскому цеху; или, наконец, из-под пера добровольца, пожелавшего сказать теплое слово об авторе и его труде.

Неволью припоминается полное доброты предисловие Леонида Леонова к «Временам года» — первой книге Дмитрия Зуева. Фенолог-самоучка и натуралист по зову души, Зуев написал проникновенные заметки о природе среднерусской полосы. Крупный писатель, автор «Русского леса» разглядел в Зуеве и единомышленника, и тонкого рисовальщика и не поскупился на дружеское напутствие зуевской книге: «Это плод подлинной, жаркой, патриотической любви к родной природе...» Изданные в 1956 году «Времена года» быстро разлетелись по стране и стали библиографической редкостью — были у книги крепкие крылья леоновского предисловия.

Конечно, не всякое предисловие блещет новизной и ярким слогом. Да и шаблонный заголовок может отпугнуть: «От переводчика», «От составителя», «От редактора»... И хотя суть предисловий не в заголовках, один из них вызывает у меня всегда недоумение: «Вместо предисловия». Вроде и предисловие это, а вроде и не предисловие — считайте, мол, как душе угодно... Ну как тут не вспомнить Владимира Даля, который с предельной точностью озаглавил предисловие к своему словарю — «Напутное слово»!

Предмова — так называлось предисловие в старопечатных русских книгах. Затем, отнюдь не сразу, появилось чопорное *предуведомление* — продукт эпохи народившегося чиновничества. Частый «постоялец» в изданиях XVIII столетия, оно

сохранилось до пушкинских времен и стало постепенно исчезать с книжных страниц.

Вот начало авторского предуведомления из книги 1813 года: «Позже, нежели я сначала полагал, выходит в свет сие сочинение. Кроме других причин, препятствовавших его изданию, довольно напомнить токмо о военных действиях, относящихся до всего рода человеческого (о войне с Наполеоном.— Ю. М.)». Четверть века спустя предуведомление заметно сдает позиции предисловию. «Картины России и быт разноплеменных ее городов из путешествий П. П. Свиньина», изданные в 1839 году, уже открываются «Предисловием сочинителя»: «Многие обстоятельства и неожиданные случаи содействовали к возбуждению во мне желания обозреть красоты и достопримечательности обширного нашего отечества...»

Язык и стиль обоих отрывков почти одинаков, но предуведомлению суждено «сойти в тень»: одно из уходящих последних предуведомлений было едко спародировано Козьмой Прутковым осенью 1859 года.

Но создатели Козьмы Пруткова переоценили силу пародии — старая форма предисловия оказалась живучей... Неожиданно я встретил «Краткое предуведомление» в книге М. Булгакова «Жизнь господина Мольера», изданной «Молодой гвардией» в 1962 году! Написано оно профессором Г. Бояджиевым. Впечатление было такое, будто мне в Клязьме попала на удочку кистеперая рыба...

Совсем недавно выудил я «доисторическую рыбу» в книге А. Давидсона и В. Макрушина «Зов дальних морей», изданной в 1979 году. Книгу эту тоже открывает предуведомление, но оно носит подражательный характер, ибо события, описанные на книжных страницах, относятся к XVIII веку.

У предисловия есть двойник — *послесловие*. Разница между ними лишь во времени: первое провожает читателя в дорогу, второе — встречает его в конце пути.

Болгарский писатель Антон Донеv усомнился в эффективности этих двойников. В цикле рассказов «Фантастический юмор», написанном в 1966 году, он применил новую форму обращения к читателю — *посредисловие*. Приведу его начало: «Дорогой мой брат читатель!

Не сердись, что я обращаюсь к тебе так интимно... Писал-писал до сих пор и вот решил поговорить с тобой. Если бы я написал предисловие или послесловие, то ты бы, наверное, не прочитал его. Между нами говоря, и я не читаю эти вещи...

Именно поэтому я решил написать *посредисловие*. Если уж ты дочитал до сих пор, продолжай читать — может быть, я расскажу тебе что-нибудь интересное».

Конечно, Донеv добродушно подшучивает. Но шутка шуткой, а ведь может случиться так, что и посредисловие приживется.

Про *эпиграф* (*надпись* в переводе с греческого) и *мотто* (*острота* по-итальянски) скажу совсем коротко. Будучи цитатами из прозы, отрывками из стихотворений, пословицами, афоризмами, они играют в книге одну и ту же роль, поясняя замысел и идею всего произведения или отдельных глав. Но это актеры разного возраста и темперамента. Эпиграф — старец из древней Греции, мотто — юное существо из эпохи Возрождения. Эпиграф — серьезен, как философ в тоге, мотто — щедро на улыбку и не прочь иной раз спародировать своего серьезного коллегу...

А сейчас пришла пора поговорить о начальной странице. Кстати, сколько в книге начальных страниц? Одна — в том случае, если книга — цельное произведение. А если оно состоит из частей, разделов и глав, по их числу и определится и число страниц-«начальниц».

НАЧАЛЬНАЯ СТРАНИЦА, коль с нее берет разбег основной текст книги или раздела и коль под ее «началом» десятки, а то и сотни рядовых страниц, оформлена наряднее, чем остальные. Верхнее поле начальной страницы, как бы спустившись, образует широкий пробел (полиграфисты называют его *слуском*). Он бывает открытым, когда ничем не занят, и закрытым, когда на нем размещают заголовок.

Пробел этот — как бы дорожный знак для читателя, путешествующего по книге. «Приготовьтесь: переход к новому разделу!» — предупреждает он. А чтобы читатель отправился дальше с хорошим настроением, сверху начальную страницу довольно часто украшает заставка — рисунок, отвечающий духу книги, а первый абзац — красивая буква.

На книжной странице внимательного книголюбa привлечет не только текст — это само собой. Кое-что поучительное он найдет, например, на полях... Слово *поле* означает пустое, полное, открытое место. Однако оно имеет и другие прямые и переносные значения, и одно из них прочно скреплено с книгой.

С четырех сторон прямоугольник текста на книжной странице окружен полями — крайними участками страничной площади. Поля как бы подсвечивают текст и, выдерживая бесчисленные прикосновения пальцев, предохраняют его от размыва.

Самое узкое ПОЛЕ — то, что примыкает к основанию книжного блока. Оно называется корешковым или боковым

внутренним полем. Несколько шире его — верхнее поле, еще шире боковое внешнее, а наиболее широкое — нижнее. Это классическая пропорция полей книжной страницы, но в зависимости от характера издания возможны варианты.

Полиграфисты все смелее отходят от наскучившей классики, и любое поле, включая корешковое, может превосходить по ширине остальные. Разные книги — и поля разные. Очень узкие поля у справочников и словарей: и при убористом шрифте приходится экономить площадь. Научно-популярные книги и учебники — те выходят с обычными полями. Надбавку по ширине получают поля книг, рассчитанных на долгосрочную службу (можно не раз переплести заново) или особо изысканных по оформлению.

Издания с широкими полями выпускаются в меньшем количестве и реже, чем с умеренными: уменьшение текстовой полосы ради привольного поля ведет к увеличению числа страниц и, стало быть, к большему расходу бумаги, к удорожанию полиграфических работ и в конечном итоге к повышению стоимости книги. В общем, зависимость экономических выкладок от размеров полей в книге очевидна. Но это еще не все.

Поля книжной страницы — места прописки небольших, но важных элементов архитектоники книги. На нижнем и верхнем полях поселяется постраничный порядковый номер — колонцифра, хотя ей не заказаны и боковые поля. На верхнем поле размещается колонтитул, на боковых располагаются маргиналии — заголовки отдельных частей текста, вставки в него и мини-иллюстрации. Нижнее поле занимают примечания к тексту. Здесь же, но на строго определенных страницах, указывается *сигнатура* (порядковый номер книжной тетради) и рядом с нею *норма* — сокращенное название книги или фамилия автора, или номер типографского заказа, помогающие переплетчикам быстро подбирать готовые тетради в блок.

Вот три образца умелого, с выдумкой и отвагой использования площади книжных полей. Приятно раскрыть любую из шести книг Игоря Акимовича «Мир животных»: широкие внешние боковые поля на одном развороте сменяются на следующем широкими корешковыми полями. На тех и других — обильные маргиналии и цветные рисунки.

Изобретательно, творчески оформлены занимающие почти треть страницы внешние поля книги К. Сушкова и М. Бесчетновой «Розы», изданной в 1972 году в Алма-Ате. На них размещены фоторепродукции, рисунки, маргиналии в виде заголовков, памяток, советов, лозунгов и разбросанного по страницам текста «Календаря розовода».

Свежо и нарядно выглядит книга И. Вольпера «Легенды и быль о продуктах» (она вышла тремя годами раньше алмаатинской в Москве). В ней широкими оставлены верхние поля, на которых не без фантазии сгруппированы рисунки, диаграммы, колонтителы и колонцифры...

Листаешь книгу — будто по улице идешь. Страницы что дома: каждая под своим номером. Никак нельзя заблудиться: слева порядок четных страниц, справа — нечетных...

Страница по-латыни — *pagina*, поэтому нумерацию книжных страниц принято называть пагинацией. В большинстве книг ПАГИНАЦИЯ производится арабскими цифрами, но бывают в ходу и римские цифры. А мастера старопечатных русских книг применяли буквенную пагинацию: вместо цифр на страничных полях печатали буквы кириллицы. Приглашая читателя к счету, над буквой ставился особый знак — титло.

Для страховки буквенной пагинации прибегали к помощи *кустоды*. Кустода (латинское *кустос* — сторож) — слово или слог, с которых начинался текст на правой странице, заранее, так сказать, предупредительно проставленный под последней строкой левой страницы. Кустода как бы караулила переход текста на соседнюю страницу и не давала переплетчикам возможность ошибиться, если они по причине невысокой грамотности были не в ладах с буквенной пагинацией.

Число употребляемых пагинаций довольно велико. Все, может быть, запоминать и не следует, но знать некоторые виды — нелишне.

Наиболее распространенная — порядковая, или сплошная, пагинация. Про нее говорят, что она насквозь пронизывает книгу. Кто же придумал и ввел в практику сплошную пагинацию? Одни историки книги указывают на Альда Мануция, который был крупным реформатором книжного дела, другие — на братьев Венделина и Иоанна да Спира, тоже известных итальянских типографов XV века. Возможно, что правы обе стороны: многие изобретатели независимо друг от друга находили одинаковое решение. Как бы там ни было, первопечатники придумали доброе новшество, и с двадцатых годов XVI столетия порядковая пагинация становится привычной.

Часто применяется в книгах смешанная пагинация (страницы вступительной статьи обозначены римскими цифрами, а пагины с основным текстом — арабскими), а также продолжающаяся, т. е. переходящая из тома в том.

Издаются книги с пагинацией двояной, при которой обе

страницы книжного разворота имеют общий порядковый номер (на них следует параллельный текст на двух языках), и с пагинацией встречной, когда один из параллельных текстов — предположим, арабский — читается справа налево и, естественно, нумерация страниц арабского текста спешит навстречу пагинации, проходящей по страницам с европейским текстом.

У пагинации есть родственница — *фолиация*, полистная нумерация (*фолиум* по-латыни — *лист*). Случается, что они соседствуют в одной книге — такой, как атлас, справочник по черчению...

Порядковый номер, проставленный на книжной странице, — КОЛОНЦИФРА. Слово это возникло в нашем языке под влиянием немецкого *колумненциффер*, первая часть которого, в свою очередь, образована от латинского слова *колумна* — *столп, опора*. К нему восходит и *колонна*, что также пришла к нам с Запада. Потом уже появилась русская *колонка*: так стала называться у нас полоса печатного текста, хотя до сих пор удерживается и другое, более старое, но не менее точное название наборной полосы — *столбец* (уменьшительное от *столпа*, синонима *колонны*).

Раньше колонцифра обозначала лишь номер столбца. Но при однополосном тексте номер колонки и страницы совпадали, и колонцифре приходилось выполнять функции постраничного номерного знака. И теперь выполняет — независимо от того, на сколько столбцов разделен текст на странице. Правда, во многих справочных изданиях, например в энциклопедиях, колонцифра по старинке проставляется над каждым столбцом.

Колонцифру справедливо называют опорной: она помогает нам ориентироваться на всем протяжении текста. Размеры и форму ее подбирают согласно общему замыслу издания. В книгах, которые являются постоянными нашими советчиками — словарях, энциклопедиях, атласах, путеводителях, — стараются выделить колонцифру, чтобы легко было находить нужные страницы. Ее нередко печатают цветной краской. Поистине радует глаз крупная, красивого начертания, красного цвета колонцифра, помещенная на границе нижнего поля с корешковым, что проходит по страницам книги Мишеля Монтеня «Об искусстве жить достойно», изданной в 1973 году.

Место колонцифры на странице строго не определено. Она печатается по углам и посередине любого из четырех полей, окружающих текст, и даже в окошке, прорубленном в тексте.

Давайте перелистаем одну из книг, которая повидала виды, не спеша прогуляемся по страничным полям: не встретятся ли на них иные достопримечательности, нежели типографские... Встретились! Кто-то из первых владельцев книги оставил на полях пометы карандашом,— рукописные маргиналии.

МАРГИНАЛИЯ... Что-то завораживающее и таинственное слышится в этом слове, и само собой всплывает в памяти имя героини романа Дюма... И недаром всплывает: в основе *маргиналии* лежит латинское слово *марго*, означающее *берег, край, оком* и ставшее когда-то личным именем.

Самая краткая рукописная маргиналия — *нотабене*, или *нотабенька*, в кругу книголюбцев — знак из начальных букв латинского выражения *нота бэнэ* — *хорошо заметь*. Однако бывает, что одной пометы «NB» недостаточно, и тогда поля страниц обрастают словами, строчками и целыми фразами: маргиналии одобряют или оспаривают книжный текст, развивают его положения... Давно признано, что заметки на полях — ценный материал для исследователей домашних библиотек и для биографов.

В июне 1977 года Хельсинкский университет подарил Академии наук СССР более 50 книг из личной библиотеки М. В. Ломоносова. На пожелтевших страницах сохранилось множество карандашных и чернильных маргиналий, сделанных рукою великого помора. Они помогли исследователям установить источники «Российской грамматики» и трактата «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке», написанных Ломоносовым, познать стиль его работы с книгой. «Враки», — оставил он лаконичную маргиналию в книге Бланкура «Искусство стеклоделия», выражая несогласие с автором. На страничном поле книги Мерана «Рассуждение о льдах», оспаривая тезис, что соль влияет на замерзание воды, Ломоносов заметил: «Где больше соли, как в море; однако зимой ветры с моря оттепель приносят...»

С 1957 года библиотефилы Германской Демократической Республики издают специальный журнал «Маргиналии», в котором публикуются статьи о пометах, оставленных в книгах выдающимися людьми и проливающих новый свет на жизнь тех, кого помнят потомки.

Изучение маргиналий — это вопрос, по существу предрешенный бывшим владельцем книги, чей карандаш пробежал по страничным берегам. А вот оставлять ли заметки на полях теперешнему ее владельцу? Все зависит от характера книголюбца, давних привычек, манеры чтения и... уровня культуры.

Кто-то, оберегая книгу, предпочитает делать выписки из нее, а кто-то, не моргнув глазом, жирно подчеркнет авторучкой чуть ли не каждую строчку текста...

Слово *текст* — усеченное латинское *текстум*, что в переводе означает *связь, соединение*. Тексты разных книг, не говоря о содержании, отличаются по размерам и форме шрифта, по способу набора в печати, по цвету и его яркости, по расположению на страницах. Резкие особенности книжного текста заметит даже малоопытный глаз, а с этого, собственно, и начинается полиграфическое самообразование книголюба.

В каталог моего книжного собрания занесено учебное пособие по истории древней русской литературы. Написано оно В. Кусковым, издано в 1977 году. ТЕКСТ пособия отпечатан в три краски: заголовки, буквицы и цитируемые отрывки из произведений древних писателей — красной, авторское повествование — светло-черной, маргиналии на полях с названиями рукописей — черной. Эта книга — *полихром* (слившиеся в одно два греческих слова: *поли* — много, и *хром* — цвет). Главное в том, что трехцветный текст быстрее и прочнее запоминается, чему наверняка рады студенты.

Некоторые книги идут текстом, расположенным только на нечетных или только на четных страницах. Текст на правой странице называется *ректо* (*прямо* — в переводе с латинского). Действительно, нечетная, правая страница всегда прямо перед нашими глазами. Текст на левой — *версо* (т. е. *на обороте*). Книга с ректо, или с версо при противоположном варианте, носит греческое имя — *анопистограф*. Предполагаю, что тут слились приставка и два корня: *ан* — без, *опе* — зрение и *графо* — пишу. Можно решиться и на вольный перевод: *слепое письмо, или книга, наполовину утратившая зрение*. Наполовину потому, что одна из страниц анопистографа остается без текста, образно выражаясь, незрячей...

Современный анопистограф мне покуда не попадался. Печатать книгу с текстом через страницу — один разор. А бывают ли книги без текста — с чистыми страницами? Про такую, созданную воображением писателя, я читал в рассказе Г. К. Честертон.

Есть еще книги с двумя текстами, наложенными друг на друга. Очень старые, они вряд ли когда-либо окажутся в домашней библиотеке, но иметь о них представление, наверное, нужно.

Книгу с двойным текстом — *полимпсест* (в переводе с греческого — *не раз выскобленный*) — породила нехватка пис-

чего материала в раннем средневековье. Монастырские переписчики соскабливали с пергамента кодексов античные тексты, дабы вписать вместо них богословские.

Гуманисты Возрождения сделали попытки восстановить первоначальный текст в полимпсестах, чтобы вернуть к жизни произведения античных авторов. В дальнейшем, однако, смыывание более свежего текста химическими растворами часто приводило к гибели обоих текстов.

Лишь в наше время, сообщается в пятом томе КЛЭ, усовершенствованные способы фотографии позволили, не повреждая позднейшего текста, прочитать дотоле неизвестные, уцелевшие на пергаментных листах полимпсестов труды древних писателей.

Не трудно отличить книгу с полным текстом от книги, издателя которой прибегли к его адаптации. Адаптация в книге заслуживает, на мой взгляд, пристального внимания.

Юнцом я собрал самодельный радиоприемник и мечтал снабдить его мотором и адаптером (так раньше назывался звукоснайматель), чтобы проигрывать граммофонные пластинки. Но могут спросить, при чем здесь книга с адаптированным текстом? При том, что английское слово *адаптер* и русское *адаптировать* имеют одного прародителя, латинский глагол *адаптаре* — *приспосабливать*. Выходит, АДАПТИРОВАННАЯ КНИГА — упрощенное издание известного произведения — снимает главные мысли с текста оригинала. Однако считать ее изданием второго сорта было бы ошибкой.

У адаптированной книги — свои цели, свои задачи, свои читатели. Адаптируют тексты на иностранных языках, чтобы облегчить перевод изучающим их, перекладывают для детей популярные книги.

Адаптирование — сложный труд, и за него берутся талантливые и опытные литераторы, которые бережно сохраняют дух подлинника. Вот как отзывается исследователь творчества Джонатана Свифта В. С. Муравьев о пересказе Николая Заболоцкого «Гулливер у великанов» — адаптированной книге, впервые изданной в 1937 году: «Это поразительная и в своем роде гениальная работа. Заболоцкий сохранил первое лицо рассказчика и сумел упростить язык в нужном направлении, не внося в него элементов чуждого подлиннику стиля... У Заболоцкого ребенок не просто слушает сказку о Гулливере, а играет вместе с ним... Это пока что уникальный случай во всей многотрудной истории попыток отдать „Путешествия Гулливера“ в детское ведение».

Ряд талантливых переложений образцов мировой литературы сделал Корней Иванович Чуковский, подарив детям «Робинзона Крузо» Дефо и «Приключения Мюнхгаузена» Распе и Бюргера. Я помню эту адаптированную книгу: тогда мне было восемь лет. И я с превеликим удовольствием читал о приключениях находчивого барона.

Порою мы замечаем, что в книжный текст вкраплено многоточие, заключенное в остроугольные скобки. Это знак купюры — произведенного по каким-либо мотивам пропуска или сокращения части текстового материала.

КУПЮРА (от французского *купер* — *отрезать*) применяется, например, при перепечатке давнего издания, в котором отдельные положения потеряли актуальность, перегружены второстепенными фактами, перестали быть понятными. Так, примечание к двухтомнику «Избранного» Н. А. Рубакина (1975) с предельной четкостью поясняет применение купюр: «Произведения Н. А. Рубакина печатаются с сокращениями. Опущены места, имеющие, как образно говорил сам Рубакин, «интерес пункта и момента», т. е. подробности, важные для того времени, но утратившие ныне свой интерес, излишне детальные статистические данные, списки имен и названий, ныне явно устаревшие, мало говорящие современному читателю. Пропуски отмечены знаком <...>».

Появление купюры в переизданиях диктуется и другими причинами. В том же году, в котором вышел двухтомник Рубакина, этого «лоцмана книжного моря», издательство «Молодая гвардия» выпустило к 150-летию со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина его однотомник. Желая включить в книгу как можно большее число произведений, дающих молодому читателю представление о творчестве великого писателя, ее составитель прибегнул к помощи незначительных купюр, что позволило при малом объеме книги выполнить поставленную задачу.

Обращаются к купюре и в том случае, когда стремятся выделить главную мысль приводимой в книге цитаты, убрав из цитируемого отрывка все то, что вводило бы в сторону от сути вопроса, затемняло бы основное.

Использование различных шрифтов для набора, отвергающая шаблон верстка придают книжному тексту особую выразительность. Это прекрасно понимали зачинатели и продолжатели книгопечатания. Венецианский типограф Альд

Мануций, о котором я вспоминал и наверняка опять вспомню, придавал «великому маэстро Шрифту» первостепенное значение. По его заказам были изготовлены красивые, убористые и удобные для чтения шрифты. Один из них — минускул, особый курсив, буквы которого в границах слова не отделялись друг от друга, поэтому печатные строки походили на рукописные, выполненные отменным каллиграфическим почерком.

В числе тех, кто резал пунсоны новых шрифтов для Мануция, был ровесник Альда, переживший его на три года, золотых дел мастер, медальер и живописец из Болоньи Франческо Франчя (1450—1518). Альд умел привораживать к своему делу талантливых людей, понимающих, что в шрифте таится огромная сила!

ШРИФТ (от латинского *шрифтум* — письмо), по справедливым словам мастеров печатного дела, наполняет страницы красками, музыкой, пластикой... «Текст как бы продекламирован шрифтом — громко, с пафосом, с резко подчеркнутыми интонациями...» Видите: «великий маэстро Шрифт» умеет и декламировать. Конечно, все свершается по воле шрифтовиков, постоянно ищущих новые формы печатного «письма», и верстальщиков, чья фантазия тоже неистощима.

Пятьдесят один пример высокого художественного оформления книжного текста приведен в интереснейшем исследовании Б. Валуенко «Выразительные средства набора в книге», изданном в 1976 году. Пятьдесят один — от рукописной книги 1403 года до печатной, помеченной 1968 годом. И хотя исследование предназначено художникам, посвятившим себя оформлению книг, оно доступно и книголюбу. Ничто не мешает ему совершить увлекательную экскурсию в страну шрифтов и печатного набора, откуда прямая дорога в мир иллюстраций.

С первого взгляда очаровывают нас классические образцы книжной иллюстрации. И если новое издание когда-то прочитанной книги по скупости издательской лишено их, мы сразу ощущаем нехватку близких сердцу спутников текста. Словно в чем-то проигрывают строфы «Корабля дураков» Бранта без гравюр Альбрехта Дюрера, «Дон Кихот» Сервантеса без гравюр Густава Доре, «Робинзон Крузо» Дефо и «Путешествия Гулливера» Свифта без привычных рисунков Жана Гранвилля... Как-то не верится, что «Белые ночи» Достоевского некогда издавались без проникновенных иллюстраций Мстислава Добужинского, «Медный всадник» Пушкина — без полных поэтической глубины работ Александра Бенуа, а «Легенда об Уленшпигеле» де Костера — без сочной графики Евгения

Кибрика, заслужившей похвалу Ромена Роллана. Кажется, всегда эти превосходные иллюстрации сопровождали текст наших любимых книг...

Иллюстрировать печатные издания начинают с 1461 года, когда немецкий типограф Альбрехт Пфистер впервые отважился поместить в книге оттиски с гравюр на дереве. Слово ИЛЛЮСТРАЦИЯ могло образоваться под влиянием двух латинских: глагола *люстаре* — *освещать, прояснять* и существительного *иллюстраментум* — *украшение*. И в самом деле, иллюстрация и поясняет текст книги, и украшает книгу.

Видов книжной иллюстрации — этих больших и малых вершин художественного оформления — что-то около четырех десятков. Особенно щедро на разновидности гравюра, которая первой заняла место в книге.

Иллюстрациям, породнившимся с печатным словом, посвящены солидные труды искусствоведов, и если книголюб загорится желанием постичь роль иллюстративного материала на печатных страницах, пусть он обратится поначалу к обстоятельной работе О. Подобедовой «О природе книжной иллюстрации» (1973), которая, вне сомнения, заронит семена еще большего интереса к собираемым книгам, а семена в большинстве своем дают всходы. И пусть не смущают его скептические утверждения некоторых максималистов, что книжная иллюстрация якобы отживает век, что, мол, художник-иллюстратор — «третий лишний» между автором и читателем, подавляющий читательскую самостоятельность своим прочтением книги. Тезис, мягко говоря, странный... Можно спорить с художником, проиллюстрировавшим книгу, можно наотрез не соглашаться с его трактовкой героев и событий, но считать художника «третьим лишним» и исключать из числа соавторов — было бы несправедливостью.

Совершим путешествие по домашней библиотеке.

Кажется, все-то в ней привычно до последней книжицы, но не будем, как мы не раз убеждались, поспешать с выводами. И привычное может вдруг обернуться неожиданной гранью.

Прежде всего — о названии книжного собрания. Термин *библиотека* составлен из двух древнегреческих слов: *библиос* — книга и *тэке* — короб, хранилище. В русский язык он проникал дважды: в древности — непосредственно из Греции, и на рубеже XVIII — XIX веков — через посредничество французского и польского языков.

БИБЛИОТЕКА... С детства милое сердцу слово, принятое

и понятное без всякой расшифровки. Но теперь и его «пробуешь на зубок». Загадочно вот что: почему в нашем языковом обиходе наравне с синонимами *библиотеки* — *книгохранилище* и *либерия* (от латинского *либер* — книга) — не возникло понятие *книготека*, которое, казалось бы, само собою напрашивалось? Прижились же у нас и *картотека*, и *фильмотека*, и *фонотека*, и *дискотека*, и даже *изротека!* Наверное, потому, что в давние годы сравнительно узкому кругу книголюбцев хватало и трех сходных значений... Но чем хуже слово *книготека*? Да ничем. Я возьму на себя смелость использовать и его, когда повтор слова *библиотека* окажется неизбежным...

Однако пора в дорогу. Первая остановка — *книжный том*. «А чего там судачить о томе? — возразят мне. — Ясно, что всякая приличная книга — том. Отсюда и фраза: „Библиотека насчитывает столько-то томов...“»

Правильно, если рассуждать вообще. Но если говорить конкретно, как подобает книголюбу, формуле «всякая приличная книга — том» не миновать коррективов: она не учитывает существенных нюансов...

Отдельная книга может содержать в себе и два тома какого-либо произведения: четырехтомная эпопея «Война и мир» Л. Н. Толстого, к примеру, издается в двух книгах. И наоборот, один том может состоять из двух самостоятельных книг — полутомов: по такому принципу выпускался «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона. А сборный том — конволют — порою включает несколько книжных единиц. Но это еще не все.

В солидных, чаще всего подписных изданиях и каждый том получает порядковый номер. Последний нередко является справочным томом, а не просто завершающим. Со временем к последнему тому, что случается в издательской практике, может присоединиться дополнительный том. Пример — «Записные книжки» Александра Блока, выпущенные в 1965 году в дополнение к восьмитомнику сочинений поэта, изданному ранее. Том с «Записными книжками» оформлен так же, как и основные, но порядковый номер на нем не проставлен. В 1975 году вышел последний из восьми томов «Краткой литературной энциклопедии». Но подписчики продолжали хранить квитанции: три года спустя им выдали девятый том, на который возложены функции и дополнительного и справочного тома.

Небезынтересно, что само слово *том* — выходец из глубокой античности. Древние греки сочли: многометровые свитки из папируса неудобны и для письма, и для чтения. Поэтому они разрезали папирусы на короткие части, получившие

названия томов (по-гречески *томос*— часть, отрез). В дальнейшем *том* переняли в Риме, из латинского языка слово попало во французский, а уж из Франции в конце XVIII века— в Россию.

Не хочется обходить стороной и другого пришельца— слово, которое еще долго будет мелькать на страницах библиофильских изданий,— ВОЛЮМ. В переводе с французского оно означает и том, и отдельную книгу. И опять же выборочно означает. За подтверждением обратимся к сборнику увлекательных библиографических рассказов В. Г. Лидина «Друзья мои— книги».

В одном из рассказов автор вспоминает: «Я подарил моим спутникам два волюма, отпечатанных на такой отличной бумаге и с такими цветными репродукциями, что журналисты даже не нашлись что сказать». Стало быть, волюм— книга, богато иллюстрированная и превосходно изданная: ведь Лидин подарил журналистам дублеты советских книг, которые демонстрировались на Международной выставке в Италии. Кроме того, волюм— издание крупного формата. Рассказывая о книгах, некогда стоявших на полках его библиотеки, Лидин отмечает: «Огромные волюмы с географическими картами и рисунками напугали меня, они были слишком громоздки для домашнего собирательства». И наконец, весьма существенный признак волюма— роскошный переплет. Обратите внимание на градацию— томик, том, волюм— в отрывке из третьего лидинского рассказа, где описывается одно из «чердачных сокровищ»: «Сверху лежали разрозненные томики классиков в приложении к „Ниве“... пухлые тома Валишевского... огромные волюмы „Живописной России“». А «Живописная Россия» (я видел три книги у знакомых)— это монументальные двенадцать томов, выпущенные издательством М. О. Вольфа в 1879—1901 годах. Они одевались в великолепные тисненные переплеты красного цвета. Кстати, в словаре В. Даля указывается на употребление слова «волюм» в значении «переплет». Но это значение оказалось забытым, а без него куда сложнее докопаться до характерной особенности волюма...

Среди старых книг, у которых, по выражению Михаила Осоргина, «особая прелесть», встречаются любопытные сборники. Под одним переплетом вдруг обнаруживаешь... несколько разных изданий. Нет, это не произвол переплетчика, хотя, конечно, бывало, что не очень-то грамотный переплетный мастер, стремясь выдержать толщину тома, подшивал к основному изданию какую-нибудь случайную книжицу— мне

как-то попался выпуск «Словаря-травника», переплетенный вместе с повестью И. Потапенко... Такие сборники, называемые конволютами, составлялись и заключались в общий переплет по воле владельца личной библиотеки, который по ряду причин (подбор изданий определенной тематики, забота о целостности серии, желание не расплыть издание по книжным полкам и т. д.) объединял книги в одном томе.

Конволют—слово редкое и в популярные словари не включается, хотя бытует в библиофильской среде и в книговедческой литературе. Чтобы расшифровать его, обратимся к знакомому французскому слову *волюм*. Приставка же *кон*—начало латинского глагола *конгрегаре*, что означает собирать. Правильнее было бы говорить и писать *конволюм*, но книголюб, давно внедрив в свой обиход переделанное заимствование, не замечают ошибки. Очевидно, *волюм* изменился на *волют* под влиянием русского слова *переплет* (вернитесь к пояснению Даля) и принял аналогичное окончание...

Как бы там ни обстояло дело с заменой последней буквы, **КОНВОЛЮТ**—оригинал в книжной семье. Особенно ценны те из конволютов, что содержат в себе материалы периодики. Исследователь библиотеки поэта Владимира Жемчужникова, одного из создателей «Сочинений Козьмы Пруткова», А. Анушкин сообщает в частности: «Из выпускаемых Обществом истории и древностей сборников („Чтений“.— Ю. М.), которые поэт регулярно получал и прочитывал, он изымал основные материалы и составлял из них искусственные сборники (конволюты), писал к ним оглавления и отдавал в переплет».

Писатель Евгений Осетров приводит такой факт: «Другоднополчанин показал мне конволют, который нынче представляется мне ценностью особого рода. Некогда на страницах „Красноармейской правды“, одной из популярных фронтовых газет, печатались главы из „Теркина“. Легко западавшие в память строфы читались и перечитывались, а затем один из бесчисленных поклонников книги, создаваемой на войне, вырезал их из газет и отсылал домой. Позднее он одел эти газетные вырезки в бесхитростный переплет—и вот перед вами „Теркин“ в том виде, в каком его читали солдаты на походных привалах».

У меня хранится книжечка «Ростов Великий» А. А. Титова, библиофила и краеведа прошлого века. Издана она в 1883 году в Москве. Ее пришлось, наоборот, извлечь из конволюта, в котором она затерялась среди брошюр, лишенных всякого интереса. И так бывает... Десятки выдающихся произведений древней русской литературы были обнаружены в

конволютах, общее содержание которых не подавало и намека, что среди рядовых рукописей вплетена драгоценность...

Понятно, что конволюты — заманчивые книги для собирателя. Ряд конволютов минувшего столетия успел собрать и сохранить для истории Н. П. Смирнов-Сокольский, чья библиотека восхищала и будет восхищать полнотой многие поколения книголюбов...

— Вчера я купил **ОДНОТОМНИК** Пушкина, — сообщает приятель.

И сразу представляешь книгу, в которую включены лишь избранные произведения поэта — разве под силу одготомнику вобрать все, что написано Пушкиным! Конечно, выходят и одготомники, содержащие полный свод сочинений какого-либо автора, если его творческое наследие невелико.

Но можно ли в одном томе издать, к примеру, все творения такого литературного гиганта, каким был Шекспир? Можно, ответят многие, а про себя, наверное, подумают, что это будет фолиант размером в три дорожных чемодана, уложенных друг на друга... Ничего подобного: одготомник Полного собрания сочинений Уильяма Шекспира — книга самого ходового, среднего формата и обыкновенной толщины. Отпечатан он фотонаборным способом по заказу лондонского издательства «Книги Пингвина» в 1969 году. На его 1461 странице уместился текст тридцати восьми томов предыдущего шекспировского издания, а также даны иллюстрации, комментарии и справки. Предназначенный для студентов, выполненный на специальной бумаге и изящно оформленный, одготомник этот спустя два года заслуженно получил высокую оценку на Международной выставке книжного искусства в Лейпциге — золотую медаль.

Одготомник Шекспира — одна из первых ласточек предельно компактной книги. Недалеко время, когда на наших книжных полках вместо громоздких «многотомий» встанут не менее полные по собранию одготомники сочинений лучших авторов прошлого и настоящего.

В трудный второй послевоенный год, когда, казалось, не до Свифта было, в Москве вышло новое издание «Путешествий Гулливера», выполненное — и это поразительно для тех дней — на очень высоком полиграфическом уровне. Оно почти повторило чудесные издания бессмертного свифтовского творения, предпринятые в тридцатых годах: тот же отличный перевод

под редакцией А. Франковского, те же классические иллюстрации неистощимого на воображение Жана Гранвилля... Жаль только, что экземпляр, который я приобрел, где-то потерял два начальных листа.

Книги, подобные упомянутой, называются акефалическими, в прямом переводе — книгами «без головы»: греческое слово *кефале* — голова. **АКЕФАЛИЧЕСКАЯ КНИГА** — страдалница. Утраченные начальные листы обрекают ее на жалкое существование, а то и на гибель: кому нужна она такая... Нужна, если переписать недостающие страницы от руки, перепечатать на машинке, перефотографировать их, наконец, с разысканного у друзей дублета и вклеить восстановленные листы. Все это не вернет книге того облика, какой она имела при выходе из типографии, но акефалическая книга останется на полке вашей библиотеки и многократно отблагодарит вас. Книги, как и люди, на добро отвечают добром...

Следующая остановка — **библиохром**: в вольном переводе с греческого — цветная книга.

Иногда, чтобы выделить в книге какую-то часть и привлечь к ней внимание читателя, ее печатают на бумаге разного цвета. Такое пестрое издание и есть **БИБЛИОХРОМ**. Он требует известной выдумки и больших материальных затрат, поэтому семья библиохромов увеличивается медленно. Но все же растет. Вот, например, образец библиохрома наших дней — шестой том историко-биографического альманаха «Прометей», выпущенный в 1968 году издательством «Молодая гвардия». Четыре части тома отпечатаны на бумаге голубого цвета, а для печати пятой, преобладающей доли избрана белая бумага. Контраст белого и голубого цветов придал альманаху оригинальность, как бы приподнял его над массой обычных книг.

Между прочим, попадают книги, на обрезах которых просматриваются слои белой, желтоватой, серой печатной бумаги... Это, увы, библиохромы поневоле, оставляющие в душе при взгляде на них неприятный осадок. Они появляются из-за небрежности типографских работников, когда в книжный блок вкладывают тетради из разных партий тиража.

Второй экземпляр книги одного и того же выпуска — **ДУБЛЕТ**. К нам этот термин пришел из французского языка, а французы, в свою очередь, заимствовали его из латыни: *дуплус* — значит двойной. Книжные двойники буква в букву повторяют друг друга, они — братья по тиражу, но могут и отличаться все-таки: по степени сохранности (спустя какое-то время), по цвету переплета, по изменениям, пусть незначи-

тельным и вроде бы малозаметным, внесенным по каким-либо причинам в часть тиража, по огрехам печатников. Некоторые собиратели книг даже коллекционируют дублиеты со следами типографского брака. Что ж, всякие могут быть коллекции...

На стеллажах домашней библиотеки, если она регулярно пополняется, неизбежно возникает полка дублиетов. Их приобретают и намеренно — в надежде обменять на те издания, которые книголюб разыскивает. И дублет становится книгой обменного фонда. В категорию обменных дублиетов переходят также экземпляры книг, замененные лучшими по сохранности образцами.

В ином собрании встретится и ТРИПЛЕТ. «Третий экземпляр книги, пояснять не надо», — скажет некто нетерпеливый. Верно, третий, но не массового издания, а редчайшего, сохранившиеся экземпляры которого можно пересчитывать по пальцам, или очень ценной по каким-то выдающимся признакам книги. В самой же библиотеке триплет — экземпляр единственный, и, скажем, полка с дублиетами из триплетов — это уже из области фантастики. Так что разница между дублиетом и триплетом — огромная. Создавать же залежи из триплетов обычных книг, пусть и с прицелом на грядущий обмен, занятие не только дорогостоящее, но и непрактичное: они отнимут «жилплощадь» у книг, навсегда прописанных в домашнем книгохранилище.

И — небольшой узелок на память. Триплет кажется почти русским словом. Но первая половинка его — совершенно случайное совпадение с нашим числительным три. Родной отец триплета — французский глагол *триплер* — утраивать.

Из поколения в поколение передают книголюбые свои слова и выражения... Вот — ЛАКУНА. Термин, пришедший, как и большинство библиофильских слов, из латыни. Одно из его значений в переводе на русский — *впадина*. Выходит, впадины, провалы, пропуски в каком-то разделе библиотеки или в комплекте книг — это лакуны. Купил собрание сочинений популярного писателя без трех томов — заведомо обрек себя на издание с тремя лакунами. И выглядит оно, издание, как корабль с пробоинами, а заделать их будет нелегко. Или взял знакомый да не вернул, зачитал том — еще одна образовалась лакуна.

Домашняя библиотека с многочисленными лакунами — печальное собрание. А главное — она не годится для работы.

Одна нервотрепка, когда нет под рукой нужной книги: полагали, что есть она, а вместо нее на поверку — лагуна... Потому и совет: остерегайтесь впадин на книжной полке!

Нет-нет да и проскользнет в речи бывалых библиофилов мудреное словцо *кипсек*. Не в моде оно теперь, устарелым считается. По-английски *кипсэк* — подарок на память. С легкой поправкой это слово, обозначающее уже не просто подарок, а дорогую иллюстрированную книгу, вошло в язык русских книголюбов и было довольно распространённым. В самом деле, лучшего подарка, чем красочная книга, не придумаешь!

И. А. Гончаров, большой любитель книг, описывая в своих очерках посещение Южной Африки, упоминает о таком издании: «Развернул я в книжной лавке, в Капштате (сегодняшний Кейптаун.— Ю. М.), изданный там кипсек — стихи и проза. Развертываю местами и читаю: прошли и для нее, этой гордой красавицы, дни любви и неги, миновал цветущий сентябрь и жаркий декабрь ее жизни; наступили грозные и суровые июльские невзгоды и т. д.»

Вполне можно предположить, что Гончаров вышел из лавки с кипсеком: в тот день он «купил некоторые изданные здесь сочинения, собственно о Капской колонии...». Его товарищи по плаванию на фрегате «Паллада» вернулись на корабль тоже с книгами: было о чем поговорить!

Впрочем, есть у библиофилов одна вечная тема при любой беседе. Стоит им встретиться — обязательно зайдет разговор о дезидератах... Загадочно, не правда ли, для непосвященного в книжные дела: о чем же ведут речь собиратели? Да опять же о них, о книгах.

Дезидерата — слово латинское, в переводе на русский — *желанная, предмет желания*, а в более конкретном смысле — *предмет, недостающий для полноты коллекции*. Кстати, такое красивое слово не могло не стать личным именем. Первую жену короля франков Карла Великого звали Дезидератой.

Желанный, желанная, желанное... Книга, которую долго и упорно разыскивает библиофил, и есть ДЕЗИДЕРАТА. А если разыскивается несколько изданий, то составляется список дезидерат, рассылаемый в букинистические магазины и товарищам по увлечению.

В содержательной статье о словарях, опубликованной в журнале «В мире книг», писатель Сергей Львов невольно

задел «большую точку» своего поиска: «В моем списке деизидерат... на первом месте — „Словарь языка Пушкина“. Простить себе не могу, что упустил его!» Да, при формировании домашней библиотеки как целенаправленного книжного собрания без списка деизидерат не обойтись. Имел такой список и известный литературный критик, собиратель книг поэтов XX века, изданных в нашей стране, А. К. Тарасенков. К месту сказать, библиографический труд Тарасенкова «Русские поэты XX века. 1900—1955», увидевший свет после смерти автора, — деизидерата многих книголюбов.

На поиски иной деизидераты уходят годы. Чем труднее достать книгу, тем желаннее она, но и тем радостнее будет встреча с ней. А пока — вкладываются в почтовые конверты списки *желаний*, летят письма в разные города...

«Такую инкунабулу тебе достал — закачаешься! Взамен полбиблиотеки отдашь», — серьезно, без намека на шутку говорит мой гость и достает из портфеля... старую книгу. В его представлении инкунабула — всякая старая книга, а уж рукописная тем более. Только он, начинающий собиратель древностей, ошибается...

ИНКУНАБУЛА — буквально *в колыбели, в пеленках*, если перевести с латыни, — любая из печатных (но не рукописных) книг, изданных в течение второй половины XV века, *в колыбельную* пору книгопечатания, — от первых проб великого типографа Иоганна Гутенберга в конце сороковых годов до издания, выпущенного 31 декабря 1500 года. Кое-кто усмехнется: какая точность! Но ее определили сами первопечатники. Они указывали на книгах год, месяц и даже день выпуска в свет. Ну а книга, отпечатанная 1 января 1501 года, — это уже издание XVI столетия, издание новой книжной эпохи, и инкунабулой его не назовешь.

Подсчитано, что из первых европейских типографий вышло 35—40 тысяч *колыбельных* книг, общий тираж которых составлял от 10 до 12 миллионов экземпляров. Примерно полмиллиона инкунабул сохранилось доньше, разлетевшись по библиотекам и частным собраниям многих стран. По предварительным подсчетам, в Советском Союзе хранится около 8 тысяч инкунабул, в том числе приблизительно 5 тысяч — в Государственной Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. В ряде стран — в ГДР, Польше, Венгрии и других — выпускаются каталоги *колыбельных* книг. Издаются они и у нас. В 1975 году, например, в Вильнюсе вышла книга

Н. Фейгельманаса «Инкунабулы Литвы» — научный каталог 483 изданий.

Рождались инкунабулы в типографиях Германии, Италии и Голландии, Чехословакии, Швейцарии и Франции, Венгрии, Бельгии и Испании, Польши, Англии и Дании, Швеции и Португалии — в странах, где 500 лет назад пробило себе дорогу печатное слово.

Помимо издателей, которые владели городскими печатнями, в конце XV века появились бродячие типографы. Они странствовали, переноса на спине или перевоза на тележках небольшие печатные устройства, и, так сказать, с ходу в каком-нибудь местечке демонстрировали для любопытных искусство книгопечатания. И тем зарабатывали на хлеб. Обладатели переносных печатен были прозваны «детьми Гутенберга», хотя, разумеется, никакими родственниками великому первопечатнику они не приходились. Но вносили свой вклад в пропаганду печатного дела.

Примечательно, что печатный шрифт каждого из типографов эпохи инкунабул напоминал рукописный и выделялся своей индивидуальностью. Отличались первопечатные книги и по содержанию. Среди инкунабул — богословские сочинения, произведения античных литераторов, мыслителей и общественных деятелей, издания по истории, праву, медицине, математике, астрономии, театру, музыке, шахматной игре, кулинаруии...

А в самом конце *колыбельной* поры книгопечатания стали выпускаться труды современников. Печатный станок превращается в мощное орудие гуманистов Возрождения — писателей, реформаторов, ученых.

Разыскать и приобрести инкунабулу в наши дни — почти несбыточная библиофильская мечта. Но можно поставить перед собой задачу поскромнее — собрать сегодняшние книги, судьба которых так или иначе связана с инкунабулами...

В 1480 году был издан «Салернский кодекс здоровья» — поэма испанского философа и врача Арнольда из Виллоновы (1235—1311), написанная им после изучения опыта знаменитой медицинской школы города Салерно в Южной Италии. 390 стихотворных строк этой инкунабулы, содержащей ценные советы средневековых медиков, многократно переводились и переиздавались.

У нас в стране «Салернский кодекс здоровья» в стихотворном переводе с латинского вышел в 1970 году. Издательство «Медицина» сделало книголюбам отличный подарок: книга на удивление хороша по оформлению, от нее так и «пахнет» инкунабулой... А ведь подобных своеобразных копий с *колыбель-*

ных изданий выпущено немало и за них отдавать полбibiотеки не нужно. Радость же книголюбу и они доставят.

Есть книги, которые берешь в руки с нескрываемым душевным трепетом. Все — добротные переплеты, красочные форзацы, перевитые орнаментами титульные листы, превосходные иллюстрации, отменный шрифт — сливается в них с глубоким содержанием текста. Это книжные шедевры — яркие примеры синтеза литературного, изобразительного и полиграфического искусства.

Шедевр — французское словосочетание, означающее в буквальном переводе *образец творения*. В цехах средневековых ремесленников шедевром называлось изделие, которое изготовлялось недавним учеником перед экзаменом на звание мастера. Нетрудно представить, как будущий мастер вкладывал в шедевр все свое умение, достигая совершенной, неповторимой отделки.

КНИЖНЫЙ ШЕДЕВР — тоже нечто необыкновенное среди потока повседневных изданий, — том, в котором каждый элемент, вплоть до закладки, выполнен, по сегодняшним понятиям, со знаком качества.

Вот одна из жемчужин книгоиздательского дела — «Слово о полку Игореве», выпущенное в 1934 году издательством Academia. По совету А. М. Горького оформление «Слова» было поручено палехскому художнику И. И. Голикову. Он работал над «Словом» почти два года: подражая стилю древних рукописей, он исполнил от руки текст книги и снабдил его изящными заставками, концовками и буквицами. Многокрасочные иллюстрации «Слова» были отлакированы, что усилило их сходство с палехскими картинками.

Мне посчастливилось дважды видеть и перелистывать это превосходное издание, гармонично соединившее древнерусский литературный памятник с искусством лаковой миниатюры, искусством, уходящим своими корнями в глубь веков, связанным с развитием иконописного ремесла в Суздале...

Едва это издание «Слова о полку Игореве» вышло в свет, как оно стало библиографическим уникалом.

Библиотека, библиофил, библиография... Добрый десяток схожих слов укоренились в нашем языке, выражая важные понятия, связанные с книгой. Тот, кто приобщается к великому отряду книголюбов, не минует их. Слова эти — греческие

книжные термины: одни вместе с книгами из Греции пришли к нам еще во времена Киевской Руси, другие, кочуя по Европе, проникли в Россию спустя восемь столетий... Легко заметить, что сложены они из двух самостоятельных половинок и что первые совершенно одинаковы.

Своим появлением в древнегреческом языке первая часть слова обязана финикийскому городу.

Тысячи лет назад на берегу Средиземного моря, к северу от столицы теперешнего Ливана — Бейрута, стоял Библ — один из крупных торговых центров Финикии. Отсюда древние греки вывозили муку, финики и папирус, изготовленный в Египте. *Библиос* — такое название закрепилось за писчим материалом, купленным в Библе. И хотя греческие купцы доставляли папирус из разных городов, прилегавших к Египту, и даже непосредственно из страны пирамид, это название папируса прочно сохранялось в Греции. Более того, оно стало означать книгу — свиток из склеенных папирусных полос с размещенным на нем текстом. Позже книгу научились сшивать из листов пергамента, заменившего хрупкий папирус. По сравнению с папирусным свитком, форма и конструкция пергаментной книги принципиально изменились, а вот название осталось прежним, — библиос. И тогда, когда на смену пергаменту пришла бумага, книга не отказалась от древнего имени.

Давным-давно на месте шумного Библа — жалкие развалины. Библ не раз грабили и разоряли римляне, а крестоносцы окончательно разрушили его. Но память о финикийском городе живет в слове, обозначающем книгу, и в словах, к ней причастных — библиогност, библиомания, библиотерапия...

— Книгу надо знать, — говаривал когда-то мой знакомый Александр Александрович Попов, географ, исходивший Кавказ, Тянь-Шань и Памир. Сын его погиб на войне, жена скончалась. Он покинул Ленинград и поселился под старость в нашем городе. Попову шел шестьдесят пятый год, мне — двадцать седьмой, но возрастной барьер не помешал нам познакомиться и дружить. Свели нас книги. Его комната, в общем-то довольно большая, казалась тесной: она была сплошь заставлена книжными стеллажами и шкафами, и лишь посредине оставался свободный квадрат для письменного стола и кресла-кровати. Я часто бывал в этой комнате, удивлялся и восхищался собранными Поповым книгами, слушал добрые наставления их хозяина и уходил от него с той признательностью, с какой уходит студент от профессора, к которому был приглашен на дружеский чай, а не ради зачета.

У старого географа было развито острое библиофильское чутье. В единственном тогда на весь город книжном магазине (в те времена новинки лежали на полках по несколько дней, а то и недель) он безошибочно выбирал необычайно интересную книгу, которую я почему-то не мог заметить. Он предрекал отдельным книгам быструю распродажу, а я не очень-то торопился покупать их и потом жалел, что не поспешил... Он с первого взгляда определял материал переплета, сорт бумаги, способ печати, о чем, как мне думалось, вовсе не следует беспокоиться. Только позже я оценил уроки, преподанные Сан Санычем — так звали Попова его давние знакомые.

— Скучных книг нет, сударь мой, — чуть ли не каждый день повторял Попов и с особой любовью пестовал полки, где стояли энциклопедии, словари и атласы. Про издания, собранные им, он знал буквально все, он помнил сотни авторских фамилий и сотни книжных названий. Он ценил аромат старой книги и не чурался какой-нибудь копеечной новинки. Случалось, что ему приносили на продажу давнюю книгу, и он, едва раскрыв ее, мгновенно определял, когда она издана, заурядна она или чем-то примечательна. И не скупился на деньги, если книга оказывалась желанной, и на добрые слова о ней. А про удачные книжные новинки он с неизменной пунктуальностью писал заметки для районной газеты.

То ли полшутя, то ли полусерьезно Александр Александрович называл себя библиогностом. Чего уж скрывать, я не понимал этого мудреного слова, а расспросить стеснялся. Только спустя годы, уяснив, что греческое *гносис* — знание, я догадался: Попов называл себя знатоком книг.

БИБЛИОГНОСТ... Сейчас это слово почти забыто. В конце прошлого века его начало вытеснять слово *библиограф*, а в нашем столетии вытеснило едва ли не окончательно. И хотя библиограф (описатель книг) понятие более узкое, чем библиогност, оно победило и переживает ныне, если так можно сказать о слове, бурный расцвет. Стоит ли тогда вспоминать о его предшественнике? Слово-то и впрямь полуархаичное, да за ним — человек...

Александр Александрович Попов был заметной личностью в нашем городе. Выпускник Петербургского университета, служитель самой древней на земле науки, эрудированный до блеска, человек высокой культуры, он носил в себе эдакий столичный дух, заражая бодростью других.

Каждое лето географ уезжал на Кавказ побродить по горам, а в остальное время года усердно трудился, чтобы приложить к пенсии дополнительную сумму, необходимую для путешествия на юг. Осенью и зимой на городских улицах

часто мелькала его высокая худощавая фигура с двухметровым черным футляром под мышкой. В футляре лежали отлично вычерченные Поповым карты, схемы и диаграммы — Сан Саныч спешил читать лекции.

Бывало, он тянул за собою на веревочке санки: на них, укрытый брезентовым чехлом, покоился проекционный фонарь. Конструкцию этого аппарата, похожего на фантастический генератор чудес, Попов разработал сам: все детали были изготовлены по его чертежам. Особенность поповского «генератора» состояла в том, что с его помощью можно было проектировать на экран изображение с любого оригинала — фотокадра, диапозитива, открытки, журнальной репродукции, книжной иллюстрации. Диапозитивы Александр Александрович готовил свои, от руки раскрашивая их. Цветной фотографией в городе еще никто не занимался, поэтому демонстрация Поповым насыщенных красками мгновений городской жизни неизменно вызывала восторг аудитории...

Лекции Александр Александрович читал великолепно, даже артистично. С первой же фразы он хитроумно завладевал вниманием слушателей.

— «Что это? Что это такое?..— начинал Попов, протягивая руку в зал, и все невольно оборачивались по направлению руки: а что там, в глубине зала, может быть?

— ...спросил Оленин у ямщика,— как ни в чем не бывало продолжал географ.— «А горы» — отвечал равнодушно нагаец»...

И слушатели, посмеявшись над своей оплошностью (надо же так легко попасться на удочку!), понимали, что ухо следует держать остро, и настороженно ловили слова лектора.

— «В каком ведомстве изволите служить, милостивый государь?..— нацеливался в ряды указательный палец Попова при первых словах другой лекции.

— Я-то? — всякий раз поднимался кто-нибудь из слушателей, оказавшийся под прицелом лекторского пальца, и недоумевая называл свою должность...

— ...спросил Бенкендорф у Пушкина, когда тот вошел к нему в кабинет», — невозмутимо, под оживление всего зала заканчивал Попов фразу. Зато потом — до конца лекции в зале стояла чуткая тишина.

Чтение лекций Попов сочетал с работой за письменным столом. В районной газете, кроме заметок о книжных новинках, печатались его рецензии на спектакли, юбилейные статьи о художниках и статьи о туризме, который он пропагандировал настойчиво. И в подготовке к лекциям и в работе над статьями Попову помогала домашняя библиотека.

— Я могу писать по любому вопросу не выходя из комнаты,— без тени похвальбы говорил он.

И писал. И никуда за справками не обращался— телефона у него не было. Но были полки с книгами.

Библиотека Попова насчитывала около пяти тысяч томов. Обширными были разделы по географии и искусству. На корешках многих книг о живописцах, ваятелях, зодчих отчетливо проступала монограмма «АП»: эти книги перешли к Александру Александровичу от отца, они стали основой собрания и были привезены из Ленинграда. Остальные— накоплены за годы жизни в Вязниках.

Судьба библиотеки старого географа оказалась трагичной. После смерти А. А. Попова в 1965 году ценнейшее по подбору книг собрание расплылось. Уцелело, и то случайно, десятка полтора разрозненных томов. Некоторые я видел, в том числе путевые очерки об Италии Михаила Осоргина...

После службы в армии я поступил на работу в редакцию районной газеты, где и состоялось мое знакомство с Александром Александровичем.

Работа газетчика наложила свой отпечаток на характер моей библиотеки, весьма и весьма бедной по сравнению с большим собранием Попова. Во-первых, быстрее стали заполняться пробелы среди книг русской и зарубежной художественной классики. Во-вторых, у меня появились книги по языковедению, литературоведению и журналистике, каких раньше вообще не было. В-третьих, прилетели первые ласточки научно-популярной литературы. Однако выйти из этого тесного и в какой-то степени однообразного круга я не мог.

От редакции, где я работал, до книжного магазина было две-три минуты ходьбы. И стоило кому-то из сотрудников купить «Золотого осла» Апулея— все тотчас устремлялись в магазин и возвращались с Апулеем. Объявлялась подписка на Собрание сочинений Жюль Верна— и весь редакционный коллектив чуть ли не солдатским строем шествовал в книжный и подписывался на двенадцатитомник в серо-голубоватых переплетах. Плохого, конечно, в этом не было, но наши домашние библиотеки (я говорю о товарищах по газете) повторяли друг друга.

Моя старомодная этажерка ушла в отставку. Одну из стен комнатки, в которой обосновались книги, занял стеллаж о восьми полках. Трижды в месяц, а то и чаще, полки заполнялись новыми книгами. День получения гонорара мы, молодые журналисты, окрестили в шутку «днем книги» и,

ободренные дополнительной оплатой, обязательно навещали книжный магазин. Но в обычные дни были скуднее, а иной раз предавались размышлению: тратить или не тратить на книжные новинки розовую тридцатирублевку?.. Торопиться было незачем, мы были избалованы: книги подолгу лежали на магазинных полках. Ну, а если продадут, почивали мы на мягкой соломе беспечности: в скором времени появятся переиздания... Нам не могло прийти в голову, что спустя двадцать лет мы будем — и поделом! — наказаны за беспечность.

О, благодатные пятидесятые годы!.. Гималаи и памиры из книг на складе и за прилавками магазина. Свободная подписка на все объявленные издания, о которых многократно повторено по местному радио и на страницах «районки»: подпишешься — тебе еще спасибо скажут. Никаких убогих подарочных наборов с нагрузкой. Никакого намека на пресловутый книжный голод... Впрочем, и шестидесятые годы были годами «спокойной книги», если воспользоваться эпитетом астрофизиков. Признаки книжного бума обозначились где-то в начале семидесятых...

Но я несколько отвлекся.

Тридцати лет я стал студентом-заочником московского вуза. Совмещать газетную работу, творчество и учение оказалось тяжело, и мне пришлось оставить редакцию, хотя связи с газетой я никогда не порывал. Новая профессия (неожиданно для себя и знакомых я определился художником-оформителем) внесла свежую струю в поток приобретаемых мною книг: на полку встали пособия по художественным шрифтам, по дизайну (он только что нарождался), труды по истории изобразительного искусства, монографии о мастерах кисти.

В первые годы учения, возвращаясь с сессий, я привозил из столицы главным образом учебники. Помню, что некоторые из них были куплены с лотков у Китайгородской стены возле памятника первопечатнику Ивану Федорову. Бывал я в книжных магазинах на улице Горького, в Столешниковом переулке, на Кузнецком мосту и других, что поближе к центру Москвы, но каких-то особых покупок не совершал. И не потому, что не встречались интересные книги, — просто напросто я не обладал чутьем опытного книжника. «Как же так? — усмехнется кто-нибудь, прочитав эти строчки. — Ведь не юнцом был, за тридцать все-таки перевалило...» А так вот и было.

Процесс созревания собирателя книг, открыток, почтовых марок или чего-то иного сложен. Одни собиратели «попевают» стремительно, не достигнув и двадцатилетия, другие — медленно, на протяжении многих лет. Все зависит от условий,

в которые они поставлены, от окружения, от их уровня культуры, от их кругозора, инициативы, от средств наконец.

Филателист, располагающий деньгами, может сразу купить дюжину кляссеров с марками и в один день стать обладателем солидной коллекции. Только вряд ли такой взлет принесет истинное удовлетворение. Оно приходит тогда, когда перед коллекционером, изучающим скрупулезно каждую почтовую марку, открываются добытые кропотливым трудом познания, обогащающие разум и волнующие душу. Так и с книгами, вернее с домашней библиотекой. На ее окончательном облике скажется жизненный опыт книголюба: из года в год он будет подобно ваятелю, лепящему модель из глины, оставлять отвечающее замыслу и отбрасывать лишнее...

Где-то на третьем курсе института я убедился, что веду «застройку» своего острова Книги довольно-таки сумбурно: скученность «кварталов» отдела художественной литературы соседствует с «пустырями» в отделе книг-справочников. Огорчительные пробелы постоянно напоминали о себе.

Наступило время неизбежных реформ. Они следовали одна за другой — порою скоропалительные, интуитивные. Я поспешил избавиться от ряда подписных изданий, посчитав, что они хороши для исследователей писательского творчества, а на моем острове значительная часть томов, прочитанных однажды, простоит без надобности. Обратное в книжный я сдал тридцатитомное Собрание сочинений Чарльза Диккенса, отягощавшее меня, но наверняка занявшее почетное место в библиотеке литературоведа. Сейчас я бы поступил иначе. Нет, я все равно расстался бы с аккуратными темно-зелеными томами, но обменял бы их на ряд отдельных книг автора «Оливера Твиста» и еще на что-то, давно искомое и желаемое.

«Флюс» из многотомников у моей библиотеки начал спадать. Зато определились отделы природы, географии, истории, религии, философии, искусства, медицины. И вовсе не в погоне за редкостями, а по воле памятного события возникла полка книг с автографами.

Расставаясь с институтом после сдачи государственных экзаменов, мы, вчерашние студенты, обменялись под сенью тополей во дворе старинного дома на Тверском бульваре своими книгами, книжицами и книжечками. И оставили на них теплые дружеские надписи. Мне подарили книги повестей и рассказов бывший авиадесантник Виктор Александров из Киева, строитель из Ялты Евгений Медведев, журналист Геннадий Ларкович из Губкина, учитель из Судиславля Борис Бочкарев, сборники стихов — Валерий Белозеров из Североморска, одессит Станислав Стриженюк, харьковчанин Роман

Левин и другие однокурсники. Забегая вперед, скажу, что к этим книгам присоединились впоследствии новые — с автографами прозаиков и поэтов Верхневолжья.

АВТОГРАФ на книге — добрая память о человеке, начертавшем его... Вот перечитал я синие строчки автографа Дмитрия Карачобана на титуле поэтической книжки «Илк лаф», изданной в 1963 году в Кишиневе, — и как-будто бы снова встретился с товарищем по институту...

Мы познакомились в уютной комнатке студенческого общежития. Вместе зубрили отрывки из комедий Аристофана. Потом отвлеклись и стали расспрашивать друг друга. Дмитрий сказал, что моя фамилия ему известна... Он вынул из чемодана журнал «Днестр» и обратил мое внимание на одну из статей. В статье отмечалась благородная работа русского ученого конца XIX века В. А. Мошкова, который впервые исследовал быт гагаузов, их язык и фольклор. Статью об этнографических изысканиях своего однофамильца я проштудировал за полчаса, а с гагаузом Дмитрием Карачобаном проучился целых шесть лет.

Невысокого роста, черноволосый, с короткими усиками, всегда собранный и невозмутимый, Дмитрий пользовался любовью всех участников нашего поистине интернационального поэтического семинара. В шутку мы называли Карачобана «классиком гагаузской литературы» и чувствовали, что в шутку кроется доля правды. Дмитрий Карачобан первый из гагаузов — маленькой турецкой народности, заселяющей часть молдавского юга, которая, как и вся Бессарабия, много лет страдала под гнетом румынских феодалов и лишь в годы Советской власти получила письменность, а с нею возможность развития самобытной культуры, — окончил московский вуз. И, что примечательно, именно литературный!

«Илк лаф» в переводе с гагаузского — «Первое слово». Оно прозвучало у Дмитрия проникновенно и весомо: он был принят в Союз писателей. Но поэт Карачобан — еще и талантливый скульптор и страстный кинолюбитель. Он создал скульптурные портреты тружеников своего родного села Бешалмы и снял несколько короткометражек. А кинодокументалисты Молдавии сняли фильм о нем...

О полке книг с автографами я когда-нибудь расскажу подробнее, а сейчас нужно вернуться к началу шестидесятых годов. В ту пору я сблизился с Донатом Андреевичем Обиди-

ным, преподавателем немецкого языка, упорным собирателем открыток. Как-то по совету друзей я принес Обидину на проверку контрольную работу — перевод фрагмента из «Седьмого креста» Анны Зегерс. Я застал его за разбором свежей почты: на столе лежали письма и бандероли со всех концов света — их прислали рыцари филокартии, книголюбы, собиратели экслибрисов...

Слово за слово — беседа затянулась до звезд. Было о чем поговорить и было на что посмотреть. По количеству томов библиотека Обидина не уступала собранию Попова, а по насыщенности основных отделов превосходила его. Впечатляла громадная подборка великолепных книг по искусству, включающая французские, английские, итальянские, немецкие, испанские, чешские, венгерские и другие зарубежные издания. Эта подборка — а по моим масштабам библиотека в библиотеке — могла в любую минуту прийти на помощь коллекции открыток, число которых превысило триста тысяч.

У Доната Андреевича я впервые увидел собранные одна к одной книги таких серий, как «Библиотека поэта», «Литературные памятники», «Жизнь замечательных людей»... Отдельные выпуски серии «ЖЗЛ» блуждали и по моему острову, но здесь, в бревенчатом доме на тихой, заросшей садами улице, стройные полки серийных изданий вызвали потрясение в лучшем смысле этого слова.

Между тем самое важное ожидало меня впереди: на стеллажах обидинской библиотеки стояли книги об издателях, о печатниках, о библиофилах, о выдающихся книжных собраниях, каталоги, справочники, ежегодники с материалами о книгах... Они должны были попасться мне на глаза в магазинах, да не попались, потому что плыл я по книжному морю без карты и компаса...

Библиотека Обидина подивила меня и обилием старинных книг. Дореволюционные издания хранились и у Попова, но я оставался равнодушным к ним. А тут, возле стеллажей Доната Андреевича, в душе натянулась и зазвенела библиофильская струнка: не попытаться ли и мне развернуть поиски свидетелей старины?

Коллекционирование приучило Обидина к строгой систематизации, к привычке пополнять и собрание открыток и библиотеку по четкому плану, к интенсивному обмену с книголюбями больших и малых городов.

Кое-что из практики моего бывшего консультанта по переводам с немецкого я перенял и применил на своем острове, потрясаемом дотоле доморощенными реформами. Времени, размышлял я, упущено много, но есть еще возможность, хотя с

каждым годом трудности возрастут, сделать домашнюю библиотеку такой, чтобы с ней перво-наперво легко работалось, а уж напоследок — легко отдыхалось.

Большим другом книги был великий русский математик Николай Иванович Лобачевский (1793—1856). Шесть раз подряд — с 1827 по 1847 год — он избирался ректором Казанского университета, заведовал кафедрой «чистой математики» и... университетской библиотекой. Лобачевский сам отбирал и закупал книги для библиотеки, возглавляя работу по составлению систематизированного библиотечного каталога и привел солидное книгохранилище в образцовый порядок.

В 1842 году в Казани случился пожар. В городе сгорело почти полтысячи зданий. Пламя охватило квартиру Лобачевского, но в эти трудные часы Николай Иванович желал одного — во что бы то ни стало отстоять университетскую библиотеку. И это удалось. Книги, среди которых было много редких изданий, были спасены.

У книги всегда были и друзья и недруги. Одни открывали и обживали острова, названные в ее честь, другие пригоняли пиратские корабли и палили по островам из пушек... Но во все времена друзей оказывалось больше, чем врагов, иначе книга не сопровождала бы нашу жизнь.

Неужели и теперь, если говорить не отвлеченно, а конкретно, кто-то способен угрожать книге? Да, к великому сожалению, способен... О неприятелях однако — после, сначала — о друзьях.

Кто же они, болеющие за книгу душою? Ее первые читатели — издательские работники, сегодняшние друкари-полиграфисты (в древнем русском слове «друкаръ» так и слышится слово *друг*), не знающие покоя книговеды — историки книги, библиографы, библиотекари, книгоноши, букинисты... И — миллионы рядовых читателей всех возрастов, профессий и рангов.

В многоликом коллективе книголюбов трудится бригада следопытов и искателей — библиофилов. БИБЛИОФИЛ (греческое *φιλε* — люблю) — собиратель книг, для которого, по словам выдающегося исследователя книги Алексея Алексеевича Сидорова, «открыты три основных радости: радость находки или открытия после многолетнего поиска; радость личного общения с книгой, которая ему интересна всем — и содержанием, и

форматом, и бумагой, и оформлением; радость передачи в дар собранного им...»

Все это верно, но теперь так возросла культура книголюбия, что порою резкую линию водораздела между библиофилом и пытливым книголюбом провести трудно (да и нужна ли в таком случае излишняя педантичность?). Кстати, само слово *книголюб*—точнейшая калька с греческого *библиофил*... В нашей стране КНИГОЛЮБ пользуется вниманием и уважением. Сотни тысяч наиболее активных из них объединены во Всесоюзное добровольное общество любителей книги.

Разные люди собирают книги, и, естественно, не тождественны их книжные интересы и принципы организации личной библиотеки. Не всем суждено стать безупречными знатоками книг. Но общение с книгами—это на пользу человека, это его непрерывный духовный рост—лишь бы не забывать, что и при высокой страсти необходимо чувство меры.

Плохо, когда книгособирательство приобретает уродливые формы. Правда, классический БИБЛИОМАН (греческое *манна*—*страсть, близкая к помешательству*) в наши дни не встречается, однако обуреваемых ложным пафосом накопителей немало и сейчас. «Ни дня без книжки!»—провозрашают они и ежедневно увеличивают свои книжные запасы, стремясь опередить соперников...

Слепая, болезненная любовь к книгам, приравнивание книг к дорогим вещам, превращение домашней библиотеки в склад сокровищ порождают «скупых рыцарей», прячущих книги подальше от чужого глаза. В древности таких собирателей называли библиотафами—погребателями рукописей. БИБЛИОТАФ (по-гречески *тафос*—*могила*) копит книги так же, как скряга копит деньги, подстегивая себя единственной мыслью: он—обладатель богатства. А богатство, известно, нарушитель душевного равновесия. Римлянин Симплиций, живший в V веке нашей эры, прославился на многие столетия, тем, что жадно скупал книги и зарывал их в потаенных местах. Современные библиотафы книг в землю не закапывают—хоронят в шкафах, в сундуках и даже в ларях. Я знавал собирателя-пенсионера, который откровенно признавался, что складывает книжные новинки, не читая, в специальные картонные ящики. Пенсию он получал приличную, покупал лишь роскошные издания, отпечатанные на лучших сортах бумаги и одетые в красивые и прочные переплеты. Остальные книги, по его выражению,—«лапша, не представляющая цен-

ности». Редкий, но не исключительный тип. Мода на неперменное личное книгохранилище вызывает нездоровый порыв к неумному накоплению: владельцу разбухшей книжной коллекции и трех жизней мало, чтобы прочитать собранное. Да он и не торопится читать...

Накапливать книги лишь для того, чтобы подчеркнуть интеллект собирателя,—придуманно не сегодня. Псевдокниголюбы жили, к примеру, и в XV веке. Едко высмеял их немецкий писатель-гуманист Севестьян Брант (1458—1521) в одной из сатир своей книги «Корабль дураков».

Герой сатиры Бранта «О бесполезных книгах», который «много ценных книг скопил, хотя читать их не любил», прямолинейно заявляет о книгах и о себе: «Хоть в них не смыслу ни аза, пускаю людям пыль в глаза...»

Нет, я не против крупных собраний и не за то, чтобы ломать шкафы и раскладывать книги на столах, стульях и подоконниках, на стандартной висячей полочке, где и цветочному горшку тесно... К тому же все мы немножко, на какую-то капельку тоже библиофафы. Есть у нас заветная полка в книжном шкафу, есть памятные книги, задвигаемые поглубже, есть очень дорогая для нашего сердца книга, которую мы никому ни за что не уступим, но это не значит, что мы ступили на стезю собирательства нарядных переплетов. Нас и «лапша» привлекает, если она дает пищу уму и сердцу.

Сороку обвиняют в клептомании. Чиста сорока на клюв или нет, судить не мне—орнитологам виднее. Только птица есть птица—какой с нее спрос. Да, небось, белобокая клептоманка (греческое *клепто*—ворую), если и рискнет, так украдет какую-нибудь мелкую блестящую пустяковину. Не унесет же она в клюве тульский самовар!..

А вот БИБЛИОКЛЕПТ—книжный вор—все унесет, едва библиотекарь отвернется: и миникнижку припрячет в карман и здоровенный фолиант затиснет в портфель. Не дает ему покоя подленькая страстишка—пополнять личное собрание за чужой счет. Дома начнет он сводить с титульных листов библиотечные печати, а они не сводятся... В досаде и гнев вырывает вор перепачканные титулы, становясь еще и библиокластом—хулиганом, увечающим книгу...

Библиоклепт и библиокласт—типы неприятные, книжные недруги. Писать о них тошно, а приходится: они, увы, не только тени прошлого. Сошлюсь на статью в «Известиях»: в ней сообщалось о чувствительном уроне, какой нанесли красноярские библиоклепты краевой библиотеке. Некоторые из

этих «сорок» избирали замаскированную форму книжного воровства: получали книги и оставляли их у себя на... вечное пользование. Другие похищали библиотечные тома, не прибегая к маскировке. Грустно, что среди «других» оказалась студентка юридического института: она похитила из читального зала... уголовный кодекс. Статья, кстати, и была озаглавлена — «С кодексом под мышкой...»

Сурового осуждения заслуживает **БИБЛИОКЛАСТ** (по-гречески *клато* — *раздробить*) — эгоист, без всякой жалости калечащий книги. Понравилась ему в библиотечном томе иллюстрация — вырвал, лень переписать из пособия формулы — выхватил несколько листов... Вот что писала заведующая отделом редкой книги Кировской областной библиотеки К. Войханская в газете «Советская культура»: «Повар Татьяна К. (в заметке фамилия приводилась полностью. — Ю. М.) из благородного желания готовить вкусную пищу для посетителей в своей столовой в книге «Дары моря» оставила до 50 «окон», изъяв из книги лучшие рецепты приготовления рыбных блюд...» И мне знакомы подобные «вырезальщики». Встречал и тех, кто, так сказать, бессознательно подражает библиокласту. На плите — горячая сковорода с яичницей, а подставка куда-то запропастилась. Не ставить же сковороду на полированный стол! И вместо подставки используется книга. После (на крышке переплета проступил темный несмыываемый круг) переплетная крышка отрывается «с мясом» и теперь уже постоянно служит подставкой, а изуродованную книгу выбрасывают в чулан...

Или вот еще библиокласты «поневоле» — торговки ягодами. Сколько хороших книг загубили они на кульки! Однажды пожилая торговка свернула мне плотный кулек из листа «Живописной России». Глянул я — и сердце кольнуло. «А другие старые книги у вас есть?» — спросил торговку. «Последнюю в ход пустила, — отвечала она со вздохом. — За пять лет извела десятка четыре. От старика, дай бог ему царство небесное, остались...» С печалью покинул я рынок. Ну как, подскажите, оградить книгу от недругов — явных и бессознательных?..

А книгу хотя бы потому беречь надо, что она — одно из лучших лекарств в мире. И не трактаты о целебных растениях имею я в виду: «травники» давно несут медицинскую службу. Их громадное лечебное значение разъяснять незачем. Я хочу подойти к вопросу с иной стороны.

Есть известный, испытанный метод врачевания —

БИБЛИОТЕРАПИЯ (термин тоже пришел к нам из Греции: *терапия* — *нехирургическое лечение*), когда в качестве исцелителей применяют книги. Говорят, что у невропатологов всегда под рукой список изданий, которые они рекомендуют прочесть больным взамен приема таблеток, порошков и микстур. Утверждают также, что у книг не меньшая оздоровительная сила, чем у лекарственных трав...

Здесь я снова делаю выписку из «Очерков путешествия» И. А. Гончарова. Дело в том, что будущий автор «Обломова», «Обрыва» и «Обыкновенной истории» в начале плавания на фрегате «Паллада», сам того не ведая, прошел курс... библиотерапии. Посудите сами:

«Я в это время,—припоминал Иван Александрович,—читал замечательную книгу, от которой нельзя было оторваться, несмотря на то, что читал уже не совсем новое. Это „История кораблекрушения“, в которой собраны за старое и новое время все случаи известных кораблекрушений, со всеми последствиями. В<оин> А<ндреевич> К<орсаков> читал ее и дал мне прочесть „для успокоения воображения“, как говорил он. Хорошо успокоение: прочесть подряд сто историй, одна страшнее и плачевнее другой, когда пускаешься года на три жить на море! Только и говорится о том, как корабль стукнулся о камень, повалился на бок, как рухнули мачты, палубы, как гибли сотнями люди — одни раздавленные пушками, другие утонули... Взглянешь около себя и увидишь мачты, палубы, пушки, слышишь рев ветра, а невдалеке, в красноречивом безмолвии, стоят красивые скалы: не раз содрогнешься за участь путешественников!.. Но я убедился, что читать и слушать рассказы об опасных странствиях гораздо страшнее, нежели испытывать последнее...»

Прав ли Гончаров? Безусловно. Корсаков неспроста посоветовал Ивану Александровичу проштудировать «Историю кораблекрушений»: нужно было преодолеть боязнь к морю. Никакие порошки не помогли бы Гончарову «перестроить» психику.

Благотворное воздействие печатного слова на психическое состояние больного было не раз подтверждено у нас в грозные сороковые годы. Г. Башкирова в книге «Лицом к лицу» приводит свидетельство доктора технических наук, участника Великой Отечественной войны. Излечить раны ему помогло чтение «Трех мушкетеров»: «Одну-единственную на весь госпиталь книжку читали только тяжело раненным: Дюма считался проверенным лекарством».

Драматург Андрей Макаёнок, автор комедий «Извините, пожалуйста», «Таблетку под язык», вспоминал: «Во время

высадки десанта в Крыму в годы войны я был тяжело ранен. Приговор врачей—ампутация обеих ног. Парень я был горячий—не согласился. Боль терпел ужасную. И вот однажды врач принес мне в палату томик „Энеиды“ И. Котляревского. Сказать по правде, не до чтения мне было тогда. Но книжку раскрыл... И, кажется, боль начала отступать. До выписки знал „Энеиду“ на память. Ноги остались при мне. Прихрамываю, правда. Вот такая история. Так как же мне не быть благодарным книге!»

Я тоже благодарен книгам. Тяжкие болезни трижды приковывали меня к больничной койке. И всякий раз я поднимался на ноги. Бесспорно, мне помогли и лекарства, предписанные терапевтами, и скальпель хирурга, и кровь доноров, и забота медсестер. А еще помогла жажда вернуться к своим книгам: я скучал без них, а они, наверное, скучали без меня. И по книжным «походам» тосковал. И очень радовался, когда друзья, навещая, приносили мне что-нибудь из новинок... Вернувшись домой, я через неделю-другую, с трудом передвигаясь, отправлялся по знакомым книголюбам—узнать последние новости, поговорить о книгах, обменяться книгами... И—какой интерес мне преувеличивать?—куда быстрее, чем ожидали родные, возвращался к прерванным делам. В общем, я обеими руками—за библиотерапию. Недаром же, как пишет бывший военный врач, страстный библиофил Евгений Дмитриевич Петряев, в клубе «Вятские книголюбы», созданном при областной библиотеке в Кирове, обсуждались доклады... о библиотерапии!

Помните, уважаемые книголюбцы, что ваши библиотеки—и собрание обычных книг, и набор чудесных препаратов, укрепляющих здоровье!..

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Абрамов Ф. А. 8
 Аванесов Р. И. 240
 Аввакум, протопоп 71
 Август Сигизмунд 105
 Агин А. А. 59
 Адарюков В. Я. 56, 60
 Азри Сабир 12
 Айвазовский И. К. 51
 Айтматов Ч. 8
 Акиандер М. 64, 74
 Акимушкин И. 275
 Аксаков И. С. 111—113
 Александр I 64, 117
 Александр II 74
 Александр III 61
 Александров В. 299
 Алексей Михайлович 68, 93, 95
 Алексеев М. Н. 8
 Алипанов Е. И. 186
 Анаьев А. А. 8
 Андреевич В. В. 262
 Анненский П. П. 59
 Анушкин А. 286, 271
 Анцыферов Н. В. 26
 Анцыферова С. А. 26
 Аристарх 116
 Аристотель 24, 25
 Аристофан 300
 Асмус В. Ф. 22
 Ахматова А. А. 21
- Бабореко А. К. 134
 Баженов В. И. 183
 Базыкин М. 236
 Байрон Дж. 74, 224, 229
 Бакушинский А. В. 226
 Бальзак О. де 227, 229, 232
 Барановский Ст. 74
 Баратынский Е. А. 124
 Баргнев П. И. 111
 Баторий Ст. 105
 Батый 105
 Батюшков К. Н. 116
 Башкирова Г. 306
 Бегтров К. П. 58
 Белинский В. Г. 16, 152, 154
 Белов В. 8
 Белозеров В. 299
 Белоусов Р. С. 240
 Белошапкин А. П. 135
 Бельи А. 135, 136
 Велякова Г. С. 78
 Бенкендорф А. Х. 296
 Бенуа А. Н. 60, 222, 229, 282
 Бергсон А. 25
 Березовский Ф. 44
- Бернардин де Сент Пьер 56
 Бернардский Е. Е. 59
 Бессчетнова М. 275
 Бестужев А. А. 118
 Бестужев Н. А. 159
 Бетховен Людвиг ван 173
 Бильи С. 80
 Бирон Э. И. 52
 Блок А. А. 19, 21, 234, 284
 Блох Я. Н. 270, 271
 Богатова Г. А. 239, 252
 Богданович И. Ф. 58, 183
 Бодянский О. М. 88, 90, 98
 Боклевский П. М. 59
 Бондарев Ю. В. 11
 Борецкий И. 108
 Борис, князь ростовский 256
 Бородин Ю. 8
 Воронежский И. Н. 288
 Бортьянский Д. С. 167, 168, 170—181
 Ботаник Х. (Чаянов А. В.) 232, 234
 Бочкарев Б. 299
 Бояджиев Г. 273
 Вражников М. В. 255
 Браун Н. 148
 Браун Р. 50
 Брауншвейгский А. У. 211
 Брокгауз Ф. А. 251, 284
 Брунн Бернардина фон 213
 Брюсов В. Я. 19, 121
 Буало Н. 16, 185
 Булгаков М. А. 273
 Булгарин Ф. В. 125
 Бунин И. А. 22, 116—132, 145, 146
 Бунина А. П. 185
 Бунина В. И. 128
 Быков В. В. 148
 Бычкова А. Ф. 244
 Вышковский С. 169, 170
 Бэкон Ф. 25
 Бюргер Г. А. 281
- Валери П. 21
 Валуенко Б. 282
 Васильев В. Н. 53, 58
 Васильев П. Н. 139, 259
 Величко С. В. 98, 103—109
 Верейский О. Г. 140
 Вересаев В. В. 41, 44
 Верн Ж. 135, 297
 Верхоланцев М. М. 57
 Вильбог А. И. 56, 60
 Винецкий А. 93, 94
 Виноградов В. В. 245, 246
 Войханская К. 305
- Волконская М. Н. 155, 156
 Вольпер И. 276
 Вольтер 70
 Вольф М. О. 55, 285
 Воронцова-Дашкова Е. Р. 183, 186
 Востоков А. Х. 184, 241, 243, 252
 Вяземский П. А. 112, 113, 123
 Вяземский П. П. 174, 175
- Гайдн Ф. Й. 173
 Галактионов С. Ф. 58
 Галич А. И. 116
 Галуппи Б. 167, 174
 Ганичев В. Н. 6
 Ганке В. 184
 Гагнин А. 99
 Гегель Г. В. Ф. 25, 29
 Гейне Г. 39
 Гене Х. Б. 172
 Гердер И.-Г. 209
 Герцен А. И. 29
 Гете И. В. 27, 209, 232
 Гинзбург М. 56
 Гладков Ф. И. 44
 Глеб, князь муромский (см. Борис) 256
 Глинка М. И. 181
 Гнедич Н. И. 129
 Гоголь Н. В. 13, 27, 80, 222, 223, 229, 232, 233
 Гойя Ф. Х. 52
 Голеневский И. 182
 Голике Р. Р. 56, 60
 Голиков И. И. 293
 Головатый А. 80, 83, 85
 Головная Г. 169
 Гольденвейзер А. Б. 180
 Гомер 23
 Гончар О. 11
 Гончаров И. А. 290, 306
 Горбатов Б. Л. 41, 44
 Горбунов-Посадов И. И. 200
 Гордиенко Ю. 145
 Городецкий И. 169
 Горчаков А. М. 116
 Горький М. 19, 40, 41, 44, 47, 134, 224, 232, 293
 Горяев Н. В. 245
 Готье В. Г. 55
- Дангулов С. 10
 Девриен А. Ф. 50
 Декарт Р. 25
 Делебарт Ж. 52
 Дельвий А. А. 121, 186

- Державин Г. Р. 131, 183,
 185, 189, 195
 Дефо Д. 282
 Дыра Я. И. 104, 106
 Диккенс Ч. 18, 222, 223,
 229
 Дмитриев И. И. 194, 195
 Добровский И. 65
 Доброхотов Б. 181
 Добужинский М. В. 282
 Дойл А. К. 135
 Домгоруков Г. Ф. 71, 72
 Донеа А. 273, 274
 Донской Дм. И. 88, 184
 Доре Г. 214, 282
 Дорошенко П. и М. 79,
 93—95
 Достоевский Ф. М. 15, 20,
 27, 126, 132, 282
 Дрюбин Г. Р. 113
 Дункан А. 19
 Дунтен Я. фон 213
 Дювернуа А. Л. 244, 246
 Дюма А. 278
 Дюрер А. 282
- Евгенийева А. Н. 239
 Еврипид 61
 Екатерина I 83, 102
 Екатерина II 66, 69, 72,
 102, 161, 212
 Елизавета Петровна 57,
 167, 212
 Елисеев А. 262
 Еселев Н. Х. 162
 Есенин С. А. 19, 21, 140
 Ефрон И. А. 251, 284
 Ешин Л. П. 39
- Жемчужников Вл. 286
 Жуков Д. 10
 Жуковский В. А. 58, 74,
 117, 126, 131, 177, 178,
 184, 188
- Заболоцкий Н. А. 280
 Завадовская Е. М. 126
 Завалишин Д. И. 159
 Загоскин Л. А. 260
 Зазубрин В. Я. 40, 41, 44
 Залыгин С. П. 11, 47
 Звенигородский А. В. 49,
 50, 60, 61, 62
 Зверева М. 41
 Зверева С. Г. 278
 Зегерс А. 301
 Зенкевич М. А. 234
 Зичи М. А. 59
 Зотов О. 262, 263
 Зуев А. С. 54
 Зуев Д. 272
- Ибсен Г. 39
 Иван IV Грозный 64, 254
 Иванов В. Ф. 175
 Игельстром А. 74, 75
 Исаковский М. 139, 143,
 200
 Итин В. 45
 Ишимова А. О. 185
- Каалыма Я. 75
 Кант И. 25
 Караваева А. А. 44
 Карамзин Н. М. 105, 130,
 177, 183, 184, 194
 Карачобан Д. 300
 Кардовский Д. 222, 229
 Карл Великий 290
 Карпович Л. 66
 Кеннеди Дж. 220
 Керубини Л. 173
 Кибрик Е. 283
 Киреевский И. 16
 Клодт М. К. 51
 Кнебель И. 220
 Княжнин Я. Б. 182, 183
 Ковалев К. П. 200
 Коген Г. 25
 Кожебаткин А. М. 270, 271
 Кольцов А. В. 152
 Кондаков Н. П. 60, 61
 Кондратьев А. И. 26
 Коптелов А. Л. 40, 44
 Корнилов Б. П. 139
 Коровин Г. М. 70
 Коровин К. 135
 Короленко В. Г. 134, 224,
 232
 Корсаков В. А. 306
 Косинский К. 92, 100
 Костер Ш. де 224, 282
 Костомаров Н. И. 91, 99,
 105, 109, 110
 Котельников С. К. 183
 Котляревский И. 307
 Кочин Г. Е. 251
 Кочубей В. Л. 106, 107
 Кожовский В. 99
 Кравченко А. И. 219, 222—
 224, 226, 229, 232, 234,
 235, 236
 Крапах Л. 209
 Красовский Н. 200
 Крейтон С. Н. 56
 Крестянин Ф. 254—256
 Крыжановский Т. Р. 56
 Крылов И. А. 183, 184
 Кузанский Н. 24, 25
 Кузмин М. 270, 271
 Кузнецов Ф. 11
 Кулиш П. А. 90, 97, 98
 Купер А. Ф. 135
 Курчевский В. 262
- Кусков В. 279
 Кустодиев Б. М. 219, 229
- Лаврентий 64
 Ладьяжников И. П. 116
 Лансере Е. Е. 222
 Ларин Б. А. 246, 247, 249
 Ларкович Г. 299
 Лаэртский Д. 29
 Ласунский О. Г. 58
 Лебедев А. И. 60
 Лебедев Ю. В. 178
 Левин Р. 300
 Левитан И. И. 126
 Левитов А. И. 154
 Левицкий О. И. 90, 97
 Левченко В. Г. 94
 Лейбниц Г. В. 25
 Ленин В. И. 28, 44
 Леонов Л. М. 224, 228, 230,
 272
 Ле-Пренс И. Б. 52
 Лепехин И. И. 183
 Лер С. П. 53
 Лермонтов М. Ю. 14, 21, 27,
 132
 Лесков Н. С. 15, 224, 232
 Лессинг Г. Э. 16
 Лещинский С. 71
 Либкнехт В. 269
 Ливен К. А. 184
 Лидин В. Г. 285
 Лифарь С. М. 122
 Лихачев С. П. 43
 Личутин В. 8, 12
 Лобанов П. А. 37
 Лобачевский Н. И. 302
 Локк Д. 25
 Ломоносов М. В. 68—70,
 72, 154, 183, 185, 190, 278
 Лондон Дж. 18
 Лосев А. Ф. 22—27, 32
 Лыско Б. Н. 53
 Львов Н. А. 192, 193
 Львов С. 290
 Львов Ф. П. 180
- Магомет IV 83
 Мазепа И. С. 66, 97
 Мазурич А. С. 56
 Макаенок А. 306
 Макаров А. Н. 165, 166
 Маковский В. Е. 51
 Макурушин В. 273
 Максимов С. В. 151—166
 Мамин-Сибиряк Д. Н. 135
 Мандельштам Ю. 74
 Мануций А. 268, 269, 281
 Марков С. Л. (Вологод-
 ский С.) 56, 57, 258—260
 Маркова Г. П. 260
 Маркс К. 85, 110, 215

- Мартынов Л. Н. 258—260
 Мартынов П. Н. 53, 56, 271
 Масютин В. Н. 59, 229
 Матвеев А. А. 71
 Матвеев А. С. 71, 72
 Матэ В. В. 62
 Маяковский В. В. 224
 Медведев Е. 299
 Мезенец А. 169
 Мелетинский Е. М. 22
 Мельников П. И. 151
 Мефодий, патриарх 93, 94, 95
 Микола Ю. 75
 Миклошич Ф. 252
 Миклухо-Маклай Н. Н. 260
 Минин К. 183
 Митрофанов С. 195
 Митурич М. 262, 263
 Многогрешный Д. 93, 94
 Мольер Ж. Б. 273
 Мономах Вл. 91
 Монтень М. де 277
 Мориев Д. 232
 Мопарт В. А. 128, 173
 Мошков В. А. 300
 Мошков Ю. 267
 Муравьев В. С. 280
 Муравьев Н. 21
 Мюнхгаузен Г. О. 210
 Мюнхгаузен И. К. Ф. 207—218
 Мюнхгаузен Х., В. и Г. 210
 Надеждин Н. И. 16, 58
 Наливайко С. 92, 100
 Наполеон I 129, 273
 Наполеон III 60
 Нарышкин В. В. 161
 Наторы П. 25
 Наумов И. С. 53
 Неверов А. С. 43
 Некрасов Н. А. 14, 59, 124, 155—160, 163, 164, 232
 Нелединский - Мелецкий Ю. А. 178, 188, 195
 Нечосы Г. 83
 Никитин А. 250
 Никон, патриарх 255, 256
 Николаев А. А. 111
 Николай I 114, 179, 186
 Нильсон В. 55
 Новиков Н. И. 182, 191, 192, 269
 Новиков-Прибой А. С. 44
 Норквист Ф. А. 74
 Норв П. Д. 56
 Носов М. А. 43
 Обидин Д. А. 300, 301
 Овидий 119
 Овчаренко А. 11
 Одоевский В. Ф. 29, 58
 Ожегов М. И. 200, 202, 203
 Ожегов С. И. 239
 Оленин А. Н. 183
 Оранский (Вильгельм I) 117
 Орлов В. Г. 69, 70
 Орлов Г. 69, 72
 Осетров Е. И. 48, 286
 Осоргин М. 285, 297
 Остеррит А. 62
 Островский А. Н. 154, 155
 Остроумова-Лебедева А. П. 52
 Острияница (Остриянин Яков) 100
 Павел Александров, князь 66, 72
 Павлюк (Бут П. М.) 100
 Панаев И. И. 59
 Паиов М. Ю. 252
 Патерсен Б. 52
 Пашенов П. Ф. 53
 Пашенко В. В. 127
 Пермитин Е. Н. 37, 44
 Перов А. К. 123
 Петр I Великий 63, 68, 71, 102, 103, 106, 129, 189, 270
 Петр II 71, 72, 102
 Петряев Е. Д. 307
 Петцман А. П. 55
 Пикеринг У. 268, 269
 Плантен Х. 268
 Платон 24, 25, 27, 29, 30
 Плетнев П. А. 125
 Плотин 24, 25
 Погодин М. П. 111, 254
 Подкова И. 92
 Подобедова О. 283
 Подъячев С. П. 41
 Пожарский Д. М. 183
 Поленов В. А. 184
 Полищук Г. К. 53
 Полоцкий С. 189
 Полторацкий В. В. 37
 Поп А. (Porre A.—англ.) 251
 Попко И. Д. 8, 87
 Попов А. А. 294—297, 301
 Попов Н. И. 193, 194
 Попов Ф. И. 169
 Портан Г. 63
 Потаненко И. 286
 Потемкин Г. А. 83
 Протежин А. А. 154
 Прасолов Д. 143
 Прач И. 192, 193
 Прегель С. Ю. 123
 Преображенский А. Г. 246
 Пржевальский Н. М. 260
 Пришвина В. Д. 32
 Пришвин М. М. 32
 Прокл 24, 25
 Прокушев Ю. Л. 140
 Проскурин П. 11
 Пуговошников В. 59
 Пуффендорф С. 104
 Пушкарев С. Г. 251
 Пушкин А. С. 14, 20, 21, 39, 41, 47, 116, 118, 119—132, 166, 183—186, 195, 222, 223, 229, 231, 232, 234, 282, 287, 291, 296
 Пушкин В. Л. 234
 Пушкин Л. С. 131
 Пуштин И. И. 116, 118
 Пфистер А. 286
 Пыляев М. И. 50
 Пыпин А. Н. 154
 Пядышев В. П. 174
 Разин С. Т. 93, 110, 200
 Разумовская С. 224, 234
 Ракушка Р. 93—95, 97, 98, 102
 Распе Р.-З. 207, 208, 211, 214, 215, 281
 Рахманинов С. В. 181
 Реден-Харстенбек Сибилла фон 210
 Ренуар О. 52
 Репин И. Е. 83, 261
 Решетников Ф. М. 154
 Рид М. 135
 Римский-Корсаков Н. А. 181
 Ровинский Д. А. 60
 Роговы С. и В. 254
 Розанов И. Н. 47, 204
 Розен А. Е. 155, 156
 Роллан Р. 283
 Ропет И. П. 61
 Роскущенко Р. 95
 Рубакин Н. А. 41, 44, 281
 Рудаков И. 182
 Рудин Н. Г. 158
 Румовский С. Я. 183
 Румянцев П. А. 183
 Руссо Ж. Ж. 70
 Рышарева М. Г. 175
 Саввантов П. И. 242
 Савонько В. С. 56
 Сагайдачный Г. 79, 80, 100, 107, 109
 Сакович К. 109
 Салтыков-Щедрин М. Е. 151—153, 160, 161, 163, 166, 181
 Самчевский И. 101, 102
 Сарти Дж. 174
 Свинын П. П. 273
 Свистельницкий Е. 94
 Свифт Дж. 280, 282, 287
 Семенов В. 74

- Семенов С. Т. 30
Сервантес С. 282
Сердюк П. 97
Серебряков Н. 262
Сидоров А. А. 220, 222, 225, 302
Симаков В. И. 200, 201
Симони П. К. 192
Снягинин Н. К. 56
Скальковский А. 79, 80, 85—87
Сковорода Г. 99
Скоп Ю. 12
Скоропадский 101
Слепушкин Ф. Н. 186
Слепцов В. А. 154
Смирнов - Кутачевский А. М. 201
Смирнов-Сокольский Н. П. 287
Соболев Н. Н. 26
Соболевский А. И. 246
Соколов-Микитов И. С. 148, 149
Соколова-Микитова Л. С. 149
Соллогуб В. А. 58
Соловьев В. С. 26, 29
Соловьев Н. В. 59
Сомов К. А. 56
Сорокин Ю. П. 240
Спиноза Г. 25
Спира В. и И. 276
Срезневские О. И. и Вс. И. 243
Срезневский И. И. 79, 80, 243, 244, 246, 249, 253
Стасов В. В. 60—62, 175
Стасюлевич М. М. 62
Стекачев М. 43
Стельмах М. 8
- Титов В. 189
Титов Г. С. 43, 45, 46
Титов П. И. 43
Титов С. П. 42, 45
Толстая С. А. 180
Толстой А. К. 14, 55
Толстой Л. Н. 9, 15, 18, 20, 30, 39, 40, 47, 126, 134, 180, 222, 284
Толстой Ф. П. 58
Толстяков А. П. 128
Топоров А. М. 37—48
Транквилион Кирилл 66
Третьяковский В. 57, 118
Тренев К. А. 42
Трубачев О. Н. 240, 246, 251
- Трубецкая Е. И. 159, 160
Трусов В. С. 53
Трутовский В. Ф. 192
Тукальский Иосиф, митрополит 93—95
Туманский Ф. 102
Тургенев И. С. 15, 134, 154
Турчанинов П. 174, 175, 180
Тютчев Ф. И. 29, 111—114
Тютчева А. Ф. 111
- Ульянинский Д. В. 56, 60
Ундольский В. М. 254
Успенский Г. И. 135
Успенский Н. И. 154
- Фаворский В. А. 222, 226
Федор Иоаннович 71
Федоров Иван 52, 109, 170, 268, 269, 298
Федотов П. А. 59
Фейгельманас Н. 292
Феокистов Н. 259
Ферсман А. Е. 51
Фет А. А. 152
Филин Ф. П. 239, 240
Фихте И. Г. 25
Флобер Г. 127
Фобвизан Д. И. 183
Франко И. 98
Франковский А. 288
Франс А. 224, 232
Францзя Ф. 282
Фрейд З. 25
Фридрих П. 207, 210
Фрис Л. П. 53
Фуст И. 268
- Хемницер И. И. 183
Херасков М. М. 58, 177, 178, 183, 195
Хмельницкий В. 85, 88, 89, 91—93, 95—97, 101, 105, 109
Хмельницкий Ю. 101
Хон Ю. Л. 284
- Цвейг Ст. 224
Цейдлер Б. И. 159
- Чайковский П. И. 174, 180, 181
- Чернышевский Н. Г. 29, 152
Честертон Г. К. 279
Чехов А. П. 20, 126, 134, 135, 165, 166
Чехова М. П. 135, 136
Чивилихин В. А. 9
Чижиков В. 262
Чистяков В. А. 222
Чуковский К. И. 261—263, 281
Чулков Г. И. 111, 190, 191
Чулков И. Д. 192, 193
- Шаляпин Ф. И. 18, 19
Шанский Н. М. 251
Шапошников Б. 232
Шафарик П. 184
Шахматов А. А. 244
Шведов Н. Ю. 239
Шевченко Т. Г. 88, 103, 104, 106
Шекспир У. 27, 232, 287
Шеллинг Ф. В. И. 25, 31
Шереметев В. С. 56
Шереметев С. Д. 56
Шеффер П. 268
Шиллер И. Ф. 27, 209
Шилов Ф. Г. 271
Ширяевец А. 224
Шишкин И. И. 51
Шипков А. С. 183—186
Шишков В. Я. 148
Шнель А. А. 55
Шолохов М. А. 224
Шопенгауэр А. 25
Шуйский В. В. 128
Шумянский И. 94
- Щерба Л. В. 246, 247
Щербатов М. М. 182
- Эделинк Ж. 52
Эмпирик С. 24
- Юдин Г. В. 50
Юм Д. 25
Юргенсон П. И. 174, 180
- Якушкин И. Д. 151
Ярослав Мудрый 110
Ярцова Л. А. 185
Яскольд-Бучинский А. 104
Яснопольский Л. Н. 26

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Валерий Николаевич Ганичев (р. 1933)

Писатель, журналист. Доктор исторических наук. Лауреат премии Ленинского комсомола. Автор книг «Наследники», «С открытым сердцем», «Устремление вперед», а также литературно-критических статей и работ по истории советской журналистики. Главный редактор журнала «Роман-газета».

Владимир Алексеевич Солоухин (р. 1924)

Поэт и прозаик. Автор сборников стихов «Дождь в степи», «Журавиха», «Имеющий в руках цветы», «Жить на земле», «Аргумент», книг прозы «Владимирские проселки», «Капля росы», «Письма из Русского музея» и др.

Александр Федорович Лосев (р. 1893)

Доктор филологических наук. Профессор Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина. Автор книг «Античная мифология в ее историческом развитии», «Античная музыкальная эстетика», «Гомер», «Введение в общую теорию языковых моделей», «История античной эстетики (ранняя классика)», «История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон», «История античной эстетики (высокая классика)». Переводчик Аристотеля, Плотина, Секста-Эмпирика, Прокла и Николая Кузанского. Редактор сочинений Платона.

Павел Дмитриевич Стыров (р. 1912)

Журналист. Автор книг и многочисленных статей, посвященных вопросам экономики и культуры.

Олег Григорьевич Ласунский (р. 1936)

Писатель. Известный библиофил. Автор книг, многочисленных статей, рассказывающих о поисках и находках в книжном мире.

Галина Сергеевна Белякова

Литературовед и искусствовед. Автор статей и публикаций, посвященных вопросам истории и культуры России.

Виктор Григорьевич Левченко (р. 1951)

Журналист. Автор ряда статей по истории русской советской литературы, книги «Чингиз Айтматов, проблемы поэтики, жанра, стиля».

Артур Павлович Толстяков (р. 1938)

Литературовед, книговед. Кандидат филологических наук. Автор книги «Русские издатели», а также работ по истории русской книги XIX века.

Александр Кузьмич Бабореко (р. 1913)

Литературовед. Автор книги «И. А. Бунин. Материалы для биографии», статей о Л. Н. Толстом, И. С. Тургеневе и др.

Наум Григорьевич Рудин (р. 1904)

Художник. Заслуженный работник культуры РСФСР. Его кисти принадлежат многочисленные работы в области декоративно-прикладного искусства, отмеченные премиями и наградами всесоюзных и международных выставок. Автор ряда статей о русском советском искусстве.

Николай Хрисанфович Еселев (р. 1907)

Литератор и журналист. Много лет работал директором издательства «Московский рабочий». Автор книг «Александр Твардовский», «Писатели-землепроходцы», «Шишков», «Рассказы о характерах».

Юрий Владимирович Лебедев (р. 1940)

Доктор филологических наук. Автор книг «Некрасов и русская поэма 1840—1850 гг.», «„Записки охотника“ И. С. Тургенева», «Роман И. С. Тургенева „Отцы и дети“», «У истоков эпоса», статей о русской литературе.

Константин Петрович Ковалев (р. 1955)

Журналист, историк культуры. Автор ряда статей об истории Москвы, других древнерусских городов, об охране окружающей среды, о музыкальной культуре.

Вячеслав Васильевич Коломинов (р. 1934)

Кандидат исторических наук. Автор статей: «Российская Академия», «Пушкин и Российская Академия», «Забывшие экспедиции Российской Академии».

Виктор Александрович Чистяков (р. 1959)

Фольклорист. Участник ряда фольклорных экспедиций. Автор работ по истории устного народного творчества.

Роман Сергеевич Белоусов (р. 1927)

Прозаик. Его перу принадлежат книги «В тысячах иероглифов», «Тайна Иппокрены», «Из родословной героев книг», «О чем умолчали книги».

Михаил Юрьевич Панов (1906—1982)

Искусствовед. Автор более 150 работ, посвященных творчеству художников и иллюстраторов произведений художественной литературы. Его перу принадлежат книги «А. И. Кравченко», «Н. И. Пискарев», «М. И. Поленов», вышедшие в серии «Книжные знаки мастеров графики», а также библиографический указатель «Литература о книжных знаках»

Галина Александровна Богатова

Лингвист, лексикограф. Кандидат филологических наук. Зав. сектором исторической лексикологии и лексикографии Института русского языка Академии наук СССР. Редактор Словаря русского языка XI—XVII веков. Автор работ по лексикологии и лексикографии.

Светлана Георгиевна Зверева

Музыковед. Автор работ, посвященных различным проблемам древнерусской музыки.

Юрий Леонидович Хон (р. 1948)

Литературовед. Преполагает в Бухарском педагогическом институте. Работает над темой «Советская историческая новелла».

Игорь Николаевич Боронецкий (р. 1909)

Журналист. Много лет был директором издательства «Малыш». Заслуженный работник культуры РСФСР. Член Комитета защиты мира. Автор многочисленных статей о творчестве советских писателей, а также воспоминаний о встречах с ними.

SUMMARIES

V. Ganichev
A PERIODICAL FOR THE PEOPLE

The editor-in-chief of the "Roman-Gazeta" monthly is interviewed by the Almanac's correspondent as to the part the monthly has had in the social and political life of the country.

V. Soloukhin
THE MEMORY OF MANKIND

The popular Soviet writer and poet comes out with his views on the nature of creative process, the significance of reading for creative endeavour at present, on further development of Russian and Soviet literary traditions.

A. Losev
ONE OF THE SUPREME PLEASURES IN LIFE

The collection of the foremost scholar with interest in ancient philosophy and aesthetics, Renaissance and modern culture contains rare editions of books on history, science and arts. The prolific researcher's interview provides a guide to his collection.

P. Styrov
ADRIAN TOPOROV'S LESSONS

The collection "Peasants on Writers" compiled by an exiled school teacher Adrian Toporov had a distinct impact on many literary figures. Himself a devoted bibliophile, he inspired his pupils with this unquenchable passion. German Titov, now a well-known astronaut, was among his pupils.

O. Lasunsky
A LETTER FROM DROGOBYCH

An outstanding bibliophile, the author of many articles and books on bibliography presents V. V. Tarnogradsky, Carpathian book collector.

G. Belyakova
GEMS OF THE HELSINKI COLLECTION

The Slavic Department of Helsinki University Library possesses various Russian books of the XVII, XVIII and XIX centuries. The article traces the history of the most valuable and interesting editions.

V. Levchenko
THE COSSACK CHRONICLES

The article based on newly found documents provide a look into domestic and social life of the Zaporozhe cossacks and their recorded history from the end of the XVIII century onward.

A. Tolstyakov
WAS TYUTCHEV'S "UNIQUE" COLLECTION REALLY UNIQUE?

A well-known bibliologist, editor of "The Book. Studies and Materials" yearbook discusses the abovementioned problem.

A. Baboreko
BUNIN READING PUSHKIN

The pages of a book by A. S. Pushkin bear written remarks in Bunin's hand. The inscriptions shed new light on the outlook of the brilliant Russian writer as well as on the nature and development of his reading habits.

N. Rudin
THE LOST BOOK

The Crimea, 1919... Hard months of the Civil War. The author of the article, then a young Red Army soldier, comes by a collection of Andrey Bely's verse with the poet's inscribed dedication to A. P. Chekhov. N. Rudin appeals to the readers of the Almanac in the hope to track down the lost book.

N. Yeselev
BRIGHT IMAGE OF THE POET

While preparing collections of A. Tvardovsky's verse for publication, the author who is a renowned editor repeatedly visited the great Soviet poet. In the article he recalls their meetings.

Y. Lebedev
HISTORY OF MAKSIMOV'S BOOKS

Works of S. V. Maksimov who was a popular writer in his time have come down to us. The researcher has come across various editions of his books which have had a curious history described in the article.

K. Kovalev
BORTNYANSKY AND PRINTED MUSIC IN RUSSIA

Works of Bortnyansky, outstanding Russian composer of the XVIII—beginning of the XIX century have become an object of growing interest nowadays. The article reveals the role of the composer in the development of music printing in Russia and dwells on the printed music by Bortnyansky himself.

V. Kolominov
PUBLISHING ACTIVITY OF THE RUSSIAN ACADEMY

The article regards manifold activities concerning publication of progressive scientific literature carried on by the famous Russian Academy at the end of the XVIII century.

V. Chistyakov
FROM THE HUKSTER'S STOCK

The Almanac presents an outline of the history of Russian folk songs collections. The article covers the beginning of this century.

R. Belousov
AT THE FAMOUS BRAGGARTS

The Almanac takes its readers on a tour of the castle of Baron Münchhausen, the German folk character.

M. Panov
A. I. KRAVCHENKO'S BOOK ILLUSTRATIONS

New facts from the artistic biography of the renowned book illustrator. The article is supplemented by his illustrations.

G. Bogatova
ON HISTORIC RUSSIAN DICTIONARIES

The article gives an account of how most complete Russian dictionaries were compiled and of their compilers. Illustrated with black-and-white and colour photographs.

S. Zvereva
STIKHERAS BY FEDOR KRESTYANIN

The discovery of another copy of the Gospel stikheras by a remarkable Russian harmonist and composer Fedor Krestyanin.

Y. Khon
IN THE MEMORY OF A LASTING FRIENDSHIP

A small autographed present affords a new look at the friendship of the writers S. Markov and L. Martynov.

I. Boronetsky
NOTES OF THE DIRECTOR OF A PUBLISHING HOUSE

The director of the "Malysh" Publishing House recalls the early years of the Publishing House and his meetings with children writers.

Y. Moshkov
FROM A BIBLIOPHILE NOTEBOOK

We continue our publication of the notes of the late poet from Vyazniki revealing his ideas concerning the art of books.

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА И ЖИЗНЬ

<i>Валерий Ганичев. Издание для народа. Беседу вел Сергей Плеханов</i>	7
<i>Владимир Солоухин. Память человечества. Беседу вел Сергей Бычков</i>	14
<i>А. Ф. Лосев. Одно из самых глубоких наслаждений в жизни... Беседу вел Владимир Лазарев</i>	22

БИБЛИОТЕКИ И БИБЛИОФИЛЫ

<i>Павел Стыров. Уроки Адриана Топорова</i>	37
<i>Олег Ласунский. Письмо из Дрогобыча</i>	49
<i>Галина Белякова. Сокровища Хельсинкской коллекции</i>	63

ПОИСКИ И НАХОДКИ

<i>Виктор Левченко. Казацкое летописание</i>	79
<i>А. П. Толстяков. Уникален ли «уникальный» сборник Тютчева?</i>	111
<i>Александр Бабореко. Бунин — читатель Пушкина</i>	116
<i>Н. Рудин. Пропавшая книга</i>	134

ДЕЛА МИНУВШИЕ

<i>Н. Еселев. Светлый образ поэта</i>	139
<i>Ю. Лебедев. Судьбы книг С. В. Максимова</i>	151
<i>Константин Ковалев. Бортнянский и русское нотопечатание</i>	167
<i>Вячеслав Коломинов. Издательская деятельность Российской Академии</i>	182
<i>Виктор Чистяков. Из котомки офени</i>	187

ПО СЛЕДАМ ГЕРОЕВ КНИГ

Роман Белоусов. В гостях у знаменитого бахвала 207

РЕЗЦОМ И КИСТЬЮ

М. Панов. Книжная графика А. И. Кравченко 219

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

Галина Богатова. О русских исторических словарях 239

С. Зверева. «Стихиры» Федора Крестьянина 254

Юрий Хон. В знак многолетней дружбы 258

Игорь Воронежский. Издательские страницы 261

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Ю. Мошков. Из тетради книголюба 267

В ПОЭТИЧЕСКОЙ РУБРИКЕ

Э. Балашов. Три стихотворения 33

Герман Хессе. Книги. Перевод с немецкого Л. Мотылева 216

Александр Жиляев. Домашняя библиотека 264

Именной указатель 308

Коротко об авторах 312

Резюме на английском языке 315

АЛЬМАНАХ БИБЛИОФИЛА

Выпуск четырнадцатый

Редактор ВОК *К. П. Ковалев*
Редактор издательства *М. Я. Фильштейн*
Художественный редактор *Н. Д. Карандашов*
Технический редактор *Г. Е. Петровская*
Корректор *В. А. Коротаяева*

Н.К.

Сдано в набор 2.11.82. Подписано в печать 10.05.83.
А06093. Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная № 1 80 г.
бумага офсетная № 1, 120 г.
Гарнитура школьная. Офсетная печать.
Усл. печ. л. 18,60+0,93 вкл. Усл. кр.-отт. 41,38.
Уч. изд. л. 19,46+0,82 вкл.
Тираж 55 000 экз. Заказ № 898. Изд. № 3631.
Цена 1 р. 30 коп.

Издательство „Книга“
125047, Москва, ул. Горького, 50
Ордена Октябрьской Революции
и ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография им. А. А. Жданова
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
113054, Москва, ул. Валуевская, 28.

ГРАВЮРЫ Ф. Г. СОЛНЦЕВА В КНИГЕ
«ДРЕВНОСТИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА»



*Титульный лист первого тома
«Древностей Российского государства»*



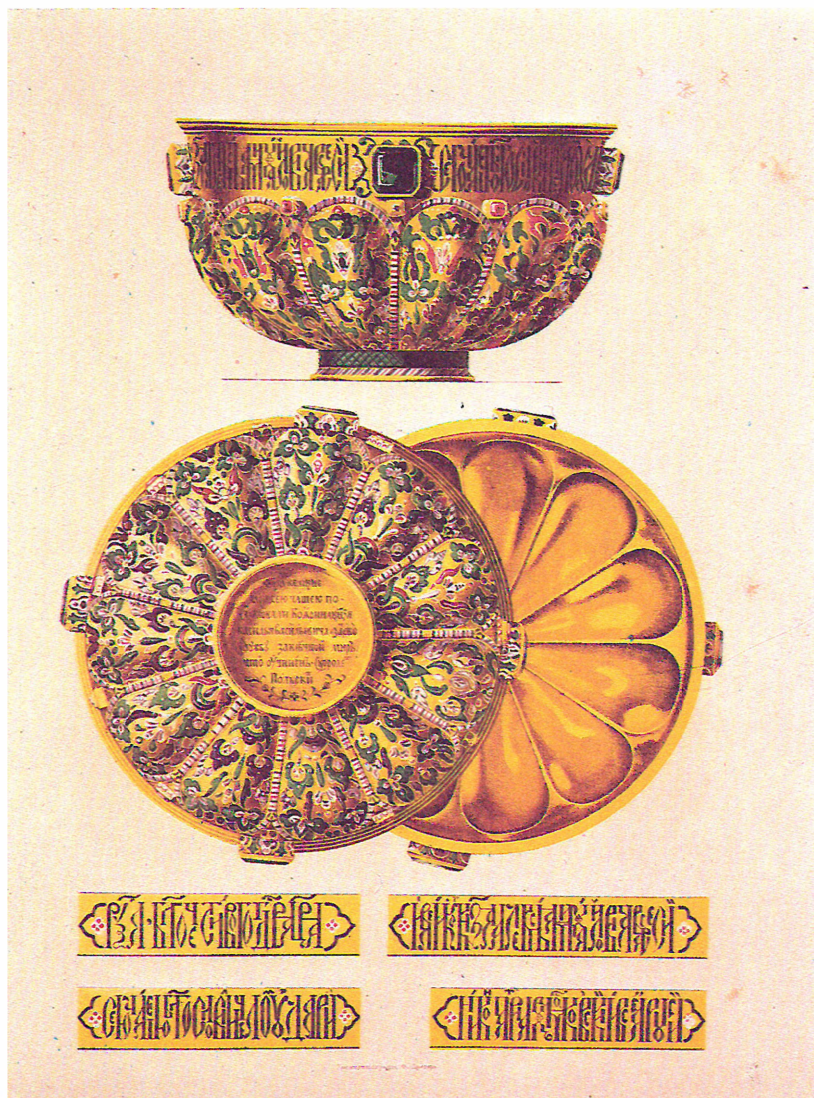
Образец оклада Евангелия



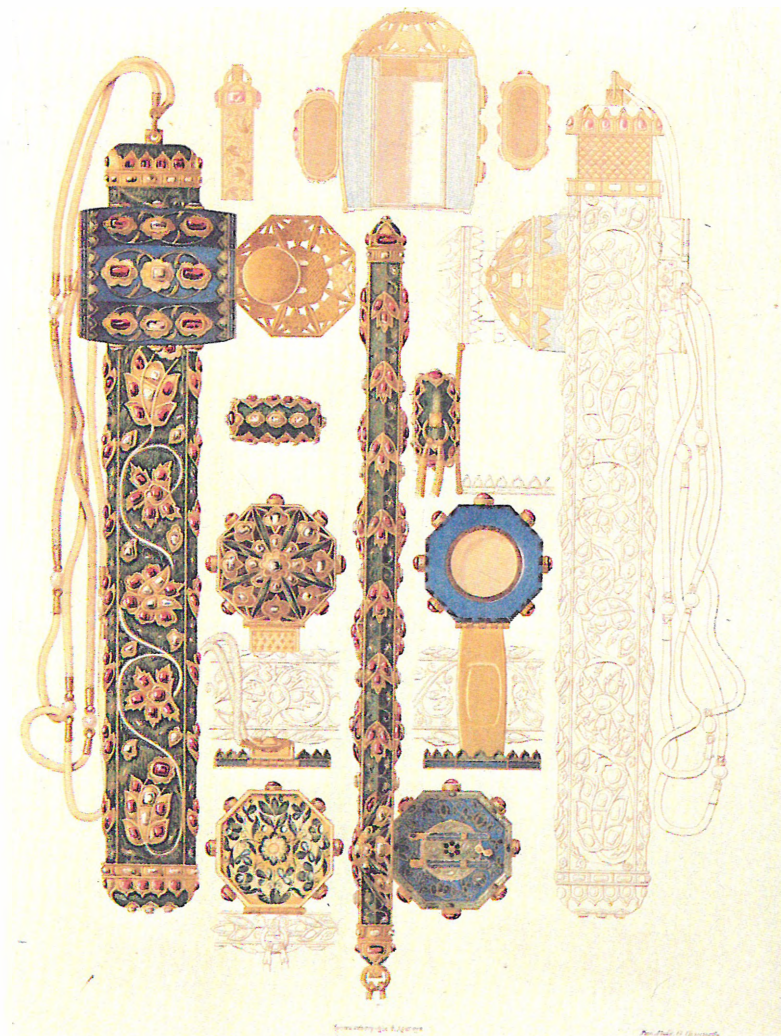
Глобус (серебро)



Серебряная кружка, позолоченная, украшенная эмалью



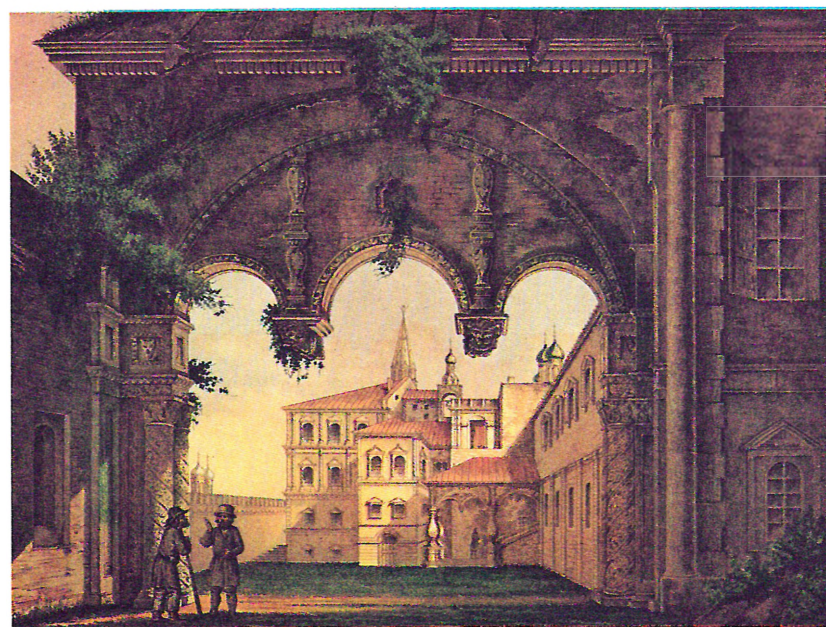
Золотая братина

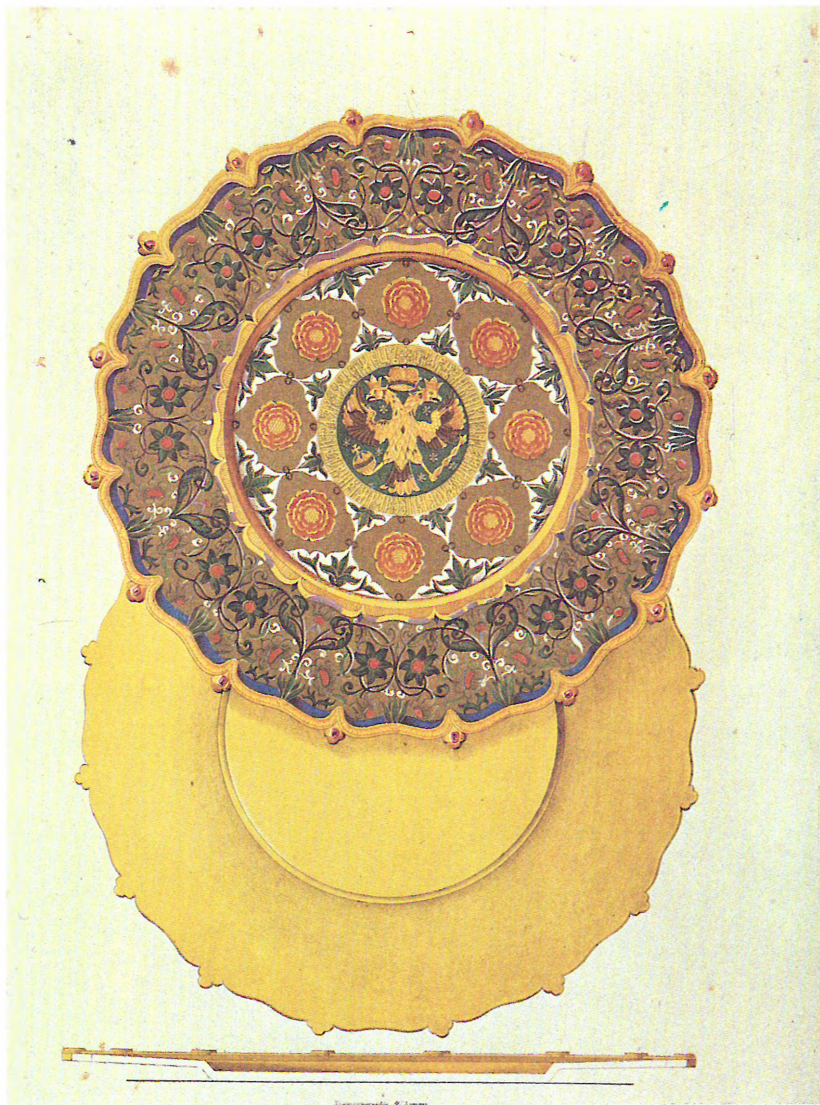


Чернильный прибор

Царицына палата в Московском Кремле

Вид на Патриаршие палаты в Московском Кремле

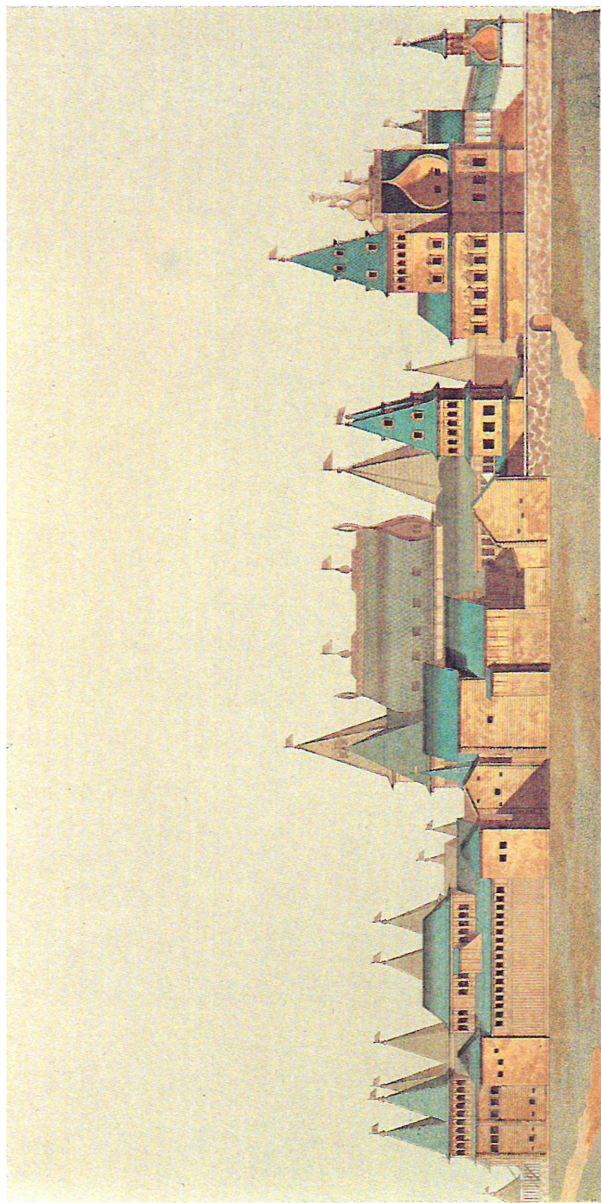




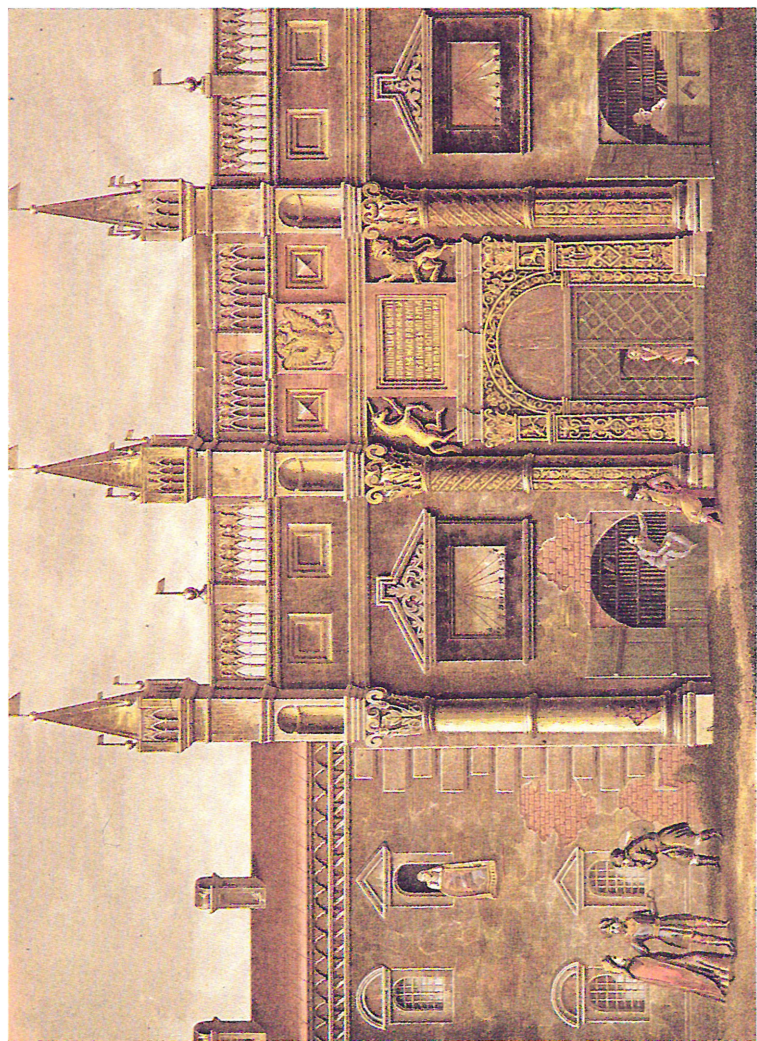
Тарелка (серебро)



Образцы боярских одежд XVII столетия



Вид на дворец в селе Коломенском



Московский печатный двор

К СТАТЬЕ ВЯЧЕСЛАВА КОЛОМИНОВА
«ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ»



*Первый президент Российской Академии
Е. Р. Воронцова-Дашкова.
Портрет неизвестного художника*



*Последний президент Российской Академии,
адмирал, писатель А. С. Шишков.
Незаконченный портрет работы Д. Доу*

К СТАТЬЕ КОНСТАНТИНА КОВАЛЕВА
«БОРТНЯНСКИЙ И РУССКОЕ ПОТОПЕЧАТИЕ»



*Композитор Д. С. Бортнянский.
Портрет работы М. И. Бельского, 1788.
Государственная Третьяковская галерея*

Пластинки с записями произведений Д. С. Бортнянского

*О. Н. Срезневская, И. И. Срезневский, В. Н. Срезневский
и тома Материалов для Словаря древнерусского языка*



К СТАТЬЕ ГАЛИНЫ БОГАТОВОЙ
«О РУССКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ СЛОВАРЯХ»





Исторические словари русского языка



Словари диалектов и говоров русского языка